

ГРАНИ

GRANI

131

1984

Verlagsort: Frankfurt / M, Januar-März

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



**Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов**

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947—1952 Е. Р. Романов

1952—1955 Л. Д. Ржевский

1955—1961 Е. Р. Романов

1962—1982 Н. Б. Тарасова

1982—1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXIX

№ 131

1984

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид БОРОДИН. Расставание. <i>Роман</i>	5
Семен ЛИПКИН. Стихи разных лет	109
Артем ВЕСЁЛЫЙ. Реки огненные. <i>Рассказ</i>	116
Ю. КУБЛАНОВСКИЙ. Повторение. <i>Стихи</i>	162

ВОСПОМИНАНИЯ. ДНЕВНИКИ. ДОКУМЕНТЫ

Раиса ОРЛОВА, Лев КОПЕЛЕВ. Встреча с Анной Ахматовой	166
---	-----

ПОЛЕМИКА

Александр ЮГОВ. Дух противоречия как кон- цептуальный синдром	237
--	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Владимир КОЗЛОВСКИЙ. Заморозки между сверхдержавами	270
Марк ПОПОВСКИЙ. Одноэтажная Америка полвека спустя	282

БИБЛИОГРАФИЯ

Ю. К. «Тайна» Беллы Ахмадулиной	291
Кира Сапгир. «Квадратная капля»	294
Майя Муравник. «Книгоноша»	298
Наталия Кузнецова. Демоны прошлого	302
КОРОТКО О НАШИХ АВТОРАХ	309

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Прот. Кирилл Фотиев. К кончине о. Александра Шмемана

313

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Леонид БОРОДИН

РАССТАВАНИЕ

Роман

Отец Василий! Отец Василий! Божественный ты человек! Зачем пьешь со мной? И пьянеешь. И руками размахиваешь...

Я тебе нравлюсь? И — зря. Мне ли себя не знать. Да приглядишься же! Я говорун, краснобай, на моей физиономии чего только ни прочтешь.

Зря ты пьешь со мной, отец Василий. Чем-то ты для меня уже не тот, что был неделю назад, там, в сельском храме. Там был ты велик, и свят, и недосягаем в своем спокойствии, и голос твой был глухо торжествен, а я рядом с тобой чувствовал себя плебеем, ничтожеством. Это ощущение пришло ко мне извне и не было плодом интеллигентской сопливости, оно пришло и потрясло меня, всю жизнь самолюбивого, всю жизнь уязвимого всякой мелочью... И вдруг я — червь, и это не больно, а радостно и, провалиться мне за этим столом, перспективно! Ведь что значит — „всю жизнь”? Это, в сущности, одно и то же — борьба за свое место, сначала за одно, потом за другое, получше, потом за третье, а дальше уже бессмыслица, повтор, и не спираль, как кажется поначалу, а круг на плоскости без подъема.

А тут что случилось? Это когда я к тебе на службу попал... Будто выбросили меня в детство, и можно все начать сначала, от малого к большому, снова расти и радоваться росту... Это пережито и вспоминается как подарок. Твой подарок.

В детстве, помню, таинственный дед Мороз пришел, вручил подарок, слова произнес радостные, а потом снял бороду и усы и высморкался. На ту лошадь, что он подарил, я, кажется, и не сел ни разу, так и простояла в углу года два, потом куда-то девалась...

Зря ты пьешь со мной, отец Василий. И о политике говоришь банально, как наши службисты в курилках. Что тебе политика, если приставлен ты к вечному? Да если б я такую веру имел, не смешна ли была бы мне тогда суeta людская? Ведь должны тебе люди казаться ползающими по земле, мордами в землю; солнце им в затылок, а они свои тени выщупывают и объективностью именуют! Как же так, отец Василий? Ведь если вера твоя истинна, тогда жизнь без веры — это же слепота какая, юмор уродов, гордящихся уродством. Так ты это должен понимать!

Нет, если б я верил, как ты, я бы был от досады за людскую глупость. Я б им морды их самодовольные к небу повыворачивал, я бы возненавидел людей за ничтожество их страстей, за никчемность их мыслей, за безделицу их дел! А ты — спокоен. Ты пьешь со мной водку, и я тебе нравлюсь, я, дерьмо из дерьма. Да я за жизнь свою ни одного доброго дела не сделал, какое бы мне совсем без выгоды было. Не понимаю тебя, отец Василий! Там, в храме, кажется, понимал. Там ты был больше меня, а теперь, за столом, все уменьшаешься и уменьшаешься, чего доброго — проскочишь мой червячий уровень, и тогда как я буду смотреть тебе в глаза?

А самое главное: почему я тебе нравлюсь — настолько, что дочь свою единственную отдаешь мне и будто не замечаешь моей помятости, потасканности... Я бы к своей дочери такого, как я, близко не подпустил. Почему ты — отдаешь? Спросить?

— А почему вы дочь свою так легко отдаете мне, отец Василий? Ведь не подхожу я ей ни по каким статьям?

Нагло спросил. Хамски. Отец Василий прерывается на полуслове — что-то про Африку молот. Смотрит на меня и хоть бы прищурился умно или взглядом таким пронзил, чтоб мне стыдно стало за пьяное хамство. Нет, только моргает.

— Я и не отдаю тебе. Я дарю тебе ее. Она твое будущее счастье, вот я тебе его и дарю. — Улыбается, шевеля бородой. — Так же мог бы и солнце тебе подарить или море наше священное с берегами.

— Неужто лучше меня не встречали?

— Других встречал, — уклоняется он, — других, а лучше, хуже — Бог ведает.

— Дарите, значит. А в приданое что даете?

— Чего хочешь-то? — опять улыбается.

— Веру бы мне... — отвечаю не без ехидства.

Качает головой.

— Этого — подарить не могу. Не дарится.

Чем-то меня оскорбляет его доверие.

— Дочь твоя верующая, а я кто?

— Бога чувствуешь, но не понимаешь. Душа есть — значит, поймешь.

Меня тянет на ссору, хочется выбить его из этого добродушия.

— А знаешь ли, сколько грехов на моей совести?

Уже я на „ты” перешел. Понесся, как по наклонной. А он — так же улыбается и бородой шевелит.

— Да чего там грехи твои, страсти больше. Нет у тебя никаких таких грехов, чтобы пугаться. Не пугай потому.

Я воспринимаю это как обиду. Что ж я — впустую прожил свои тридцать лет, что и грехов за душой не имею? Ведь только грехами и отличаемся друг от друга, иерархию ведем по степени грехопадения и мерзости. А ведь грехи — это тоже что-то, за ними жизнь, острота, в них изюминка атеиста! И если он мне в грехах отказывает, за кого же он меня принимает, за тварь мычащую? Ну, я ему сейчас врежу, он у меня заморгает! Но что кинуть ему в бороду, какой грех, чтоб заикаться начал? Господи, а ведь он прав! Нечего кинуть. Всё — мелочишки какие-то, ни одного звонкого греха за душой! Вот как раздел меня, как развенчал поп Василий, тесть мой будущий. Ничего за душой, ни хорошего, ни плохого. Для чего тогда прожил я свои тридцать лет? Но жил ведь, какие-то страсти были, нервы истрепаны, а на что? Ничего не вспомнить из своей жизни, как будто не было ее вовсе, где-то я отсиделся в тени да прохладе. Господи, как жалко свою жизнь!

— В город часто езжу, — опять он какую-то ахи-нею замолол, — дорога длинная да прескучная, все на ногах, а уж толкотня да брань... А ездить каждую неделю надо, питаться-то чем?.. И вот забаву себе придумал младенческую. Как ни тесно в автобусе, как ни кидает на поворотах да ухабах, а стараюсь проехать, чтобы никого не толкнуть. И что оказывается? Заметь — меня тоже не толкают. Иногда два часа, и никто не толкнет. Закон, оказывается, такой: свое плечо упредил в толчке — чужое тоже упредил. Локоть прибрал к ребрам — чужой локоть мимо скользнул. А?

Я молчу. Эту философию я на дух не принимаю.

— Вот к чему байка, — улыбается он, — хочешь грехами похвастаться? А зачем, если живешь бережливо, пихаться не стремишься, и тебя пихают не шибко, ведь это уже — добро. А что до Анастасьи, так она тоже понимает, чего хочет. Как же я могу против ее хотения идти, когда знаю, настоящая она у меня...

Ага! Кое-что соображаю, наконец. Значит, и она, и папаша ее во мне оттого души не чают, что я размазня безгрешная, удобно им со мной, безопасно...

— Анастасья! — кричу громко. Никогда раньше ее так не называл. Она появляется на пороге, и меня захлестывает тоска. Что в ее лице парализует меня каждый раз? Нездешняя она какая-то. Может быть, у меня и не любовь к ней вовсе, а действует на меня эта нездешность?

— Анастасья, — говорю с хрипотцой, — за что любишь меня?

— За то, что ты меня любишь, — отвечает.

И эта все про меня знает лучше меня самого.

— А если бы я тебя не любил? Тогда как было бы?

— Никак.

— А просто влюбиться — мы на это не способны?

— Не знаю, не приходилось.

Стоит у двери, чуть оперлась, руки сцепила замочком. Лицо спокойно, вроде бы никакого выражения, но — счастлива, я это чувствую. И отец Василий тоже это чувствует и смотрит на меня влюбленными глазами.

Нет, мне все это не нравится. Меня обезличивают.

— Ты, поди, думаешь, — говорю ей многозначительно, — что я тебя никогда не обижу?

— Обидишь.

— Откуда знаешь? А может, нет?

Она подходит ко мне, кладет руки на плечи сзади, я чувствую ее дыхание и губы где-то совсем ря-

дом. У отца Василия глаза на мокром месте. Блаженное семейство! И это я их обоих осчастливил своим появлением в этих местах? Нет, я себя знаю. Я никого не могу осчастливить. И ничего не имею дать. При мне только моя вечная суета и трепыхание. Я носитель путаницы и непостоянства. Разрушить могу многое, а что создать?

А они счастливы, и это обман, а мне никак не убедить их в этом, ни старого, ни молодую, такую странную и мне позарез необходимую...

Женщины или ласкают, или ласкаются. Она — ни то, ни другое. Ее руки на моих плечах, и я не могу понять, что они дают мне, ее руки. Но дают, это точно. И, уже познав это новое, что может дать женщина, мне иначе не прожить. Я хочу схватить ее руки и держать, чтобы они, чего доброго, не исчезли... Но что в них? Спокойствие? Нет, не только.

У меня уже все было с ней. Но откуда уверенность, что главное впереди, что я еще не открыл в ней чего-то, что должен непременно открыть и сделать своим? Не загадка она для меня, совсем не это. В ней для меня что-то постоянное, всегда необходимое, всегда желаемое. Это волнует и пугает. Я побаиваюсь ее, поповскую дочку, и страх мой — бальзам душе...

У нее такие спокойные глаза, синева их не бросакая, в них ни озорства, ни лукавства... Какой-то философ говорил, что посредством глаз душа не только видит, но и сама видима в них... Я не знаю, что такое душа, и никто не знает, но что-то же я вижу в ее глазах, и увиденное вызывает во мне ответные чувства, радостные и волнующие, и если именно в этом душа, то мне повезло. Я хочу жениться на этой женщине. Связать с ней свою жизнь. Добровольно. В это трудно поверить, тем более, что не о своей жизни думаю, а ее жизнь хочу накрепко привязать

к себе. Я не уступаю традиции брака, я использую традицию в своих корыстных интересах, я хочу иметь эту женщину у себя за плечом на всю жизнь!

И в то же время что-то во мне противится всему, что я делаю, а я хочу надеяться, что тут всего лишь пустая гордость, ведь я так привык носиться со своими чувствами, не могу не считаться ни с одним из них. Потому что каждое есть свидетельство сложности моей натуры, а для интеллигента что может быть важнее? Уберите сложность — и нет интеллигента, есть только служащий такого-то учреждения.

Она чуть лохматит мне прическу, и этот банальный жест доставляет мне хмельное удовольствие, я превращаюсь в кисель...

Нет, пока она рядом, серьезно ни о чем не поговоришь, а мне очень хочется поговорить серьезно, о чем — представляю весьма смутно.

— Поди, Тося, — говорю с сорванным дыханием. — Поди, поговорить надо.

Ее руки соскальзывают с моих плеч, и я всем телом ощущаю, как они удаляются. По глазам отца Василия догадываюсь, что она, уходя, делает знаки ему за моей спиной не давать мне больше пить, и, как мальчишка, тут же хватаюсь за бутылку и наливаю обоим. Но пить мне больше не хочется, умный поп это видит и не притрагивается к рюмке, как бы не замечает моего щенячьего упрямства. Я собираюсь снова испытывать его доброту, но он опережает меня:

— Понимаешь ли, в какой грех вовлек ты жену будущую?

Я ошарашенно моргаю, глядя на его чуть улыбающееся лицо, потом отвожу глаза и чувствую, что краснею.

— Не понимаешь. А она-то ведь понимает. Грехом испытал ты ее любовь. Поможешь ли грех испустить?

Я молчу, а поп не торопит, не ждет моего ответа. Просто, бросил камень в омут и наблюдает круги... Что значит „грех” для поповской дочки — о том я лишь догадываться могу. По какой системе идет отсчет? Если по-писанному — „не пожелай”, „не укради”, „не убий”, — я этого не понимаю, для меня люди делятся на хороших и плохих, то есть для меня хороших и для меня плохих, а говорить о грехах хорошего человека, по мне, чистейшее фарисейство. Разве не все этим сказано — „хороший человек”?

Я пытаюсь выкрутиться, поймать отца Василия на слове.

— Ты сказал, что нет у меня грехов. А у нее — есть? Если на то пошло, вместе грешили.

— Да разве ж с тебя такой спрос, как с нее? — отвечает с искренним удивлением.

— Чей спрос? Кто спрашивает? — задираюсь, обрадованный, что уклоняюсь от опасной темы.

— Да сам человек с себя и спрашивает. Один строго спрашивает, другой иначе. Она у меня строгая,

По правде, мне очень хочется сказать, что это, в конце концов, наши с Тосей заботы, но сказать так я не могу.

— Все будет хорошо, отец, — говорю я почти ласково, а слово „отец” звучит уже в прямом смысле, и нам обоим становится немного неловко; выходит, что я раньше времени в родню набиваюсь. Хотя, чего там, теперь уже не рано, скорее поздно...

— Венчай нас, отец Василий! — говорю выдыхом. Он качает головой.

— Разве ты один в мире живешь? Родители у тебя есть...

— Какие родители! Я сам уже давно мог бы быть родителем, да и нет им до меня дела.

Опять качает головой.

— Спешись. Езжай-ка к себе, в Москву-матушку. Издалека взгляни на все это дело. Проверься.

— Чепуха!

— Тебе — чепуха. Тебе венчание — процедура, а ей, Анастасье-то?

И вдруг я понимаю, что мне действительно придется ехать в Москву. Не могу же я жениться с одним рюкзаком. И о жилье нужно подумать. И еще, Господи, сколько предстоит суетиться! Но даже не это главное. Мне придется Тосю оставить здесь, а этого я никак не могу себе представить.

— Тося! — кричу.

И она снова в комнате. Немного сонная. Видимо, задремала там. Я вскидываюсь со стула, хватаю ее в объятия и зацеловываю ее лицо. Она для меня сейчас до боли красива. Она отвечает чуть-чуть, но я знаю, что скрывается за ее „чуть-чуть”, и трепещу, и говорю хрипло и пьяно:

— Тося, я ведь должен уехать! — И спешу оправдаться. — Ненадолго.

— Конечно, — отвечает она спокойно, и я взрываюсь.

— Тебя это никак не волнует?

— Нет, — говорит она и шурится на люстру, под которой мягко хихикает отец Василий.

— Но, черт возьми... у меня, может быть, в Москве есть женщина, и я могу ее встретить.

— Ты должен ее встретить и объяснить все, — говорит она тихо и щекочет мне лицо своей прядью у лба.

Мне действительно нужно кое с кем объясниться в Москве, но Тося, самонадеянная женщина, вся светится уверенностью, словно исползала все чердаки моей захлавленной души. Я тащу ее за руку к отцу Василию.

— Объясни ей, что нельзя быть такой самонадеянной!

Он пожимает плечами, поглаживает бородку и хихикает счастливо. Я обнимаю его и звонко чмокаю в щеку.

— Блаженные вы оба! — ору ему в ухо. — Оба блаженные! Мне хорошо с вами! Но всегда ли так будет?

— Всегда не бывает, — отвечает он. — Но часто может быть.

Я бегу в Тосину комнату, приношу свой магнитофон, врубаю его на всю мощность, кручу поповскую дочку за руки, отталкиваю, сам впадаю в конвульсии, что в нашем веке именуется танцами. Она чувствует ритм, но движется лишь чуть покачиваясь в такт, поводя плечами едва заметно, а руки держа у подбородка... И все та же у нее сонная счастливая улыбка.

— А что, отец, — стараюсь я перекрычать магнитофон, — в средние века нас всех троих сожгли бы на костре! И за музыку эту, и за танцы, да за одно присутствие при этом. А?

Тося поводит бровями — дескать, причем тут она? Но я знаю цену ее полудвижениям, в них-то и есть настоящий сатанизм, за них-то и продашь душу дьяволу!

— А тебя на медленном огне! — кричу ей. — На самых сырых дровах!

Я смотрю на ее маленькие ноги в мягких домашних тапочках, отороченных дешевым мехом, и ужасаюсь, что бывало такое, сжигали... Вижу эти домашние тапочки — и языки пламени, подбирающиеся к ступням. Вот они лижут ступни, голени, колени... Господи! Озноб останавливает меня, я замираю посередине комнаты, как истукан. Она тоже замирает и с легким беспокойством смотрит на свои ноги. С ними все в порядке. Она подходит ко мне, прикасается и умиряет мое разгулявшееся обра-

жение. Я сажусь на стул против отца Василия, а она — на колени мне.

— Если бы человечество можно было воспринимать как нечто исторически единое, то это единое было бы достойно презрения, — выдаю я отцу Василию не без вызова.

Он вызова не принимает. Он просто не принимает меня всерьез. И вообще в разговоре с ним мое отточенное резонерство не работает. Поп лишь улыбается в усы: забава, дескать! Я образованнее его, он не имеет и сотой доли моих знаний о мире, он и Достоевского не читал, а на равных — не получается. Он в какой-то глубокой конспирации от людей или в самом деле — блаженный. А блаженность — она вне категорий ума, моего во всяком случае.

Магнитофон продолжает орать, я морщусь в его сторону, Тося соскакивает с моих коленей, выключает.

— Время уже много... — намекает она.

У отца Василия покраснели глаза. Встает он рано, я едва успеваю в окно сигануть да на чердак забраться...

Теперь все это выглядит глупо и пошло. Он знает о наших встречах. А как быть сегодня? Ведь я должен к ней прийти... И меня коробит мерзость ситуации, в мир блаженных я сумел привнести нечистоту отношений и поступков. И в этом есть что-то, не понятное для меня.

В том мире, где я подвизался до сих пор, я был не просто своим, я неплохо *котировался*... Но те женщины меня любили не слишком. Мои влюбленности бывали скоротечны, еще скоротечнее оказывались чувства женщин, которые обращали на меня внимание. Я, как правило, очень скоро начинал их не устраивать, они обнаруживали у меня массу недостатков, главным из которых, как я теперь пони-

маю, была моя внутренняя неустроенность, мое небрежное отношение к будущему. Все это, впрочем, могло бы быть притягательным в глазах женщин определенного сорта, но беда в том, что такие женщины почему-то не устраивали меня.

И вот здесь, в райском гнездышке, я, расхлябанный, пропощенный до самой дальней клетки серого вещества, вдруг впервые узнал, как может любить женщина такого, как я, и как я сам могу влюбиться ответно...

Нет, завтра нужно уехать, расстоянием и временем очистить ситуацию и войти в нее по возможности другим человеком. Короче, я завтра начинаю новую жизнь. Я ее уже столько раз начинал — и с понедельников, и с первых дней нового месяца, и с Нового года, — что не очень-то верю в свою новую жизнь, но попробовать я обязан!

— Я приду... — шепчу на ухо Тосе, провожая до дверей ее комнаты. В ее молчании согласие. В пожатии ее руки и радость, и робость, и еще что-то, о чем я мог бы догадаться, но не очень хочу догадываться. Она понимает это как грех. А мне эти тонкости недоступны, непонятны, и я могу себе позволить не ломать над ними голову.

Я возвращаюсь к столу. Отец Василий совсем спекся. Я прощаюсь с ним, выхожу на улицу, но на чердак лезть не хочется, и я выхожу за калитку. Ночь светлая, луна с ореолом висит над озером, и оттуда слышится слабый плеск. Я иду к берегу посидеть немного на перевернутой лодке, но вижу, что место занято, кто-то уже там сидит. После некоторых колебаний я все же подхожу. Человек, кажется, не замечает меня или делает вид, что не замечает. Я пристраиваюсь на другом конце лодки и почти в то же мгновение слышу:

— Вы не верите в Бога и потому не знаете, что за-

губить душу человеческую такое же преступление, как загубить тело. И даже хуже!

Я узнаю этого человека. Это молодой дьяк из церкви отца Василия. Я запомнил его. У него удивительный голос. Из него вышел бы оперный певец, в худшем случае популярный эстрадник. Аккуратная борода, усы, волосы до плеч, прямые и густые. Он красив и тоже, наверное, не от мира сего.

Итак, мы имеем треугольник. Я соображаю быстро, как робот. Мне нравится, как быстро я соображаю. Отсюда, с лодки, дом отца Василия — театральная декорация. И Тосино окошко, в которое я лазил эти ночи, — вот оно, в лунном блеске!.. Моя поповская Афродита купалась в этом бледно-желтом мареве, я специально оставлял на окне часы и посылал ее за ними, и она торопливо ныряла в лунный поток, а я замирал в углу... А несчастный дьяк сидел в это время на разошедшей лодке и страдал...

— Значит, видел?

— Видел, — отвечает он, не пошевелившись.

— И отцу Василию сказал?

— Сказал.

— А он что?

Просил молиться за вас.

— Что значит — „за вас“? За меня или за нас обоих?

— За обоих. — Он опускает голову.

— За меня, наверное, не очень-то получалось?

Он вздыхает, кивает головой.

— Трудно было.

Я сажусь с ним рядом. Что ему сказать? Нормальные люди дали бы друг другу по физиономии. Этот же — молился за меня. Трудно, видите ли, было, но молился. Интересно, как глубоко запрятал он в себе все, что человеку не чуждо? Вот если его за бороду дернуть или за усы потаскать, проснется в нем

человеческое, даст он мне по морде? Какая же у него в жизни сложная и трудная игра! Мальчишка, в сущности, а вошел в роль... Разве это нормально, когда у мужчины уводят женщину, а он молится за похитителя? Это нравственное извращение, шизофрения. Но до чего же удобная для прочих людей болезнь. Для меня, например.

— Понимаешь, — говорю я ему, — по всем законам справедливости, конечно же, дочь попа должна стать женой дьячка. Так?

— Теперь мне рукополагаться на celibате, — говорит он тихо. — А я, понимаете, не готов к этому...

— Но ведь не одна же на свете...

Он прерывает меня торопливо:

— Для меня одна.

— И для меня тоже, — отвечаю. — Как же нам быть?

Он молчит, и я знаю, что сказал бы он, если бы был от мира сего. Он сказал бы, что в моем мире полно красивых женщин, которым я подхожу и которые подходят мне. А для него в его мире одна Тося, воспитанная стать женой священника; в моем мире она будет белой вороной или я перекрашу ее, а это и называется — „загубить душу”. Я просто хам, ворвавшийся в чужой мир. Чтобы получить свое, я использовал приемы, недопустимые в этом мире блаженных, я совратил чистую душу, запалил ее огнем страсти; это ведь нетрудно — взять и подпалить сердце провинциальной девушки, втолкнуть его в ритм другого сердца, другой жизни, заманить, завлечь — и крепко держать в руках пойманную удачу!

Я хам, я само зло, моими руками действует Антихрист, я персонифицированная нечисть человеческая!

Все это было бы именно так, если бы не было чистой неправдой.

Я с трудом подыскиваю слова, мне сложно говорить с влюбленным дьячком, слишком различны наши языки, но я пытаюсь говорить на своеобразном эсперанто:

— Слушай, ты чист, как голубь, и прям, как оглобля. Главное ты в мире понимаешь, об остальном догадываешься. Ты счастлив уже тем, что веришь в истину, для полного счастья тебе не хватает только именно этой женщины. А я? Что такое я? Я грязен и искривлен, как засушенный червь! Я не знаю истины и не верю в нее, у меня нет ни спокойствия, ни благополучия. У меня нет никаких шансов на спасение, кроме одного, — кроме нее. Кому же она нужнее. По твоей вере ты можешь подставить щеку для удара и быть счастливым от сознания своего смирения. Я же от пощечины могу повеситься. Кому же из нас легче отступить? А если говорить о ней... Я искушаю ее другой жизнью. Да! Но с тобой она никогда не познает искушения и не проверит себя. И ведь, может быть, это как раз то, что суждено ей сделать главного в жизни — спасти меня...

Дьяк смотрит мне в лицо и пытается что-то рассмотреть во мне, наивный! И при солнечном свете не рассмотреть человека, где уж при лунном.

— Не понимаю, — качает он головой, — говорите ли вы серьезно или смеетесь. Если смеетесь, то это нехорошо.

— Я не смеюсь.

— Вы образованней и умней меня. Вы научились наряжать свой ум в любые одежды, то есть я хочу сказать, что вы все можете понять и передразнить... Я раньше тоже так умел... Но потом остается одна пустота...

Эге, соображаю, дьяк не так прост, как кажется. Уж не из бывших ли интеллигентов? Я глубоко убежден, что интеллигент никем не может быть,

кроме как интеллигентом. Он просто ни на что другое не способен. Рано или поздно интеллигентность, как ржавчина, сожрет его веру или иную маску... Под мужика, например, весьма любят рядиться интеллигенты... Но — пустое! Рефлексия — безжалостная штука, она допускает только один культ — самой себя. Вообще, интеллигент в современном варианте это на редкость хитрое и, в сущности, жалкое существо. Легко ли в нашем жестком мире, который до последнего винтика подогнан под социальную конъюнктуру, сохранить позу независимой, да еще и мыслящей личности? Современному интеллигенту приходится и голову держать гордо, и хвостом вилять шустро, а корпусом примирять между собой гордость и ловчение. Не всякому такое под силу, и тогда кто-то уходит в игру, в религиозность, к примеру. Я таких встречал. Я их терпеть не могу!

Но таков ли дьяк? Все же едва ли.

Мы оба молчим. Мне нужно бы еще что-то сказать весомое и умное, но беда в том, что я ни вины за собой не чувствую, ни жалости к дьяку. Я слишком счастлив, чтобы кого-нибудь жалеть или в чем-либо раскаиваться.

— Прости, — говорю ему, — но ничем тебе помочь не могу.

— Неужели вы совсем к вере глухи?

Ишь ты, чего хочет! Я и сам с собой на эту тему не говорю, а уж с первым встречным дьяком и по-давно не собираюсь.

— Не будем об этом, — говорю решительно, и дьяк поспешно извиняется.

— Холодноовато... да комары... Пойду, однако...

— Разойдемся, — соглашаюсь.

— До свидания. Храни вас Бог!

— Всего доброго!

Он уходит какой-то своеобразной походкой, чуть согбенный и в то же время прямой, без вихляния, руками не машет и колени будто не сгибает.

Что-то все же накапал мне в душу будущий поп, пасмурно на душе, неуверенность какая-то, и я долго сижу спиной к дому отца Василия, спиной к окну, за которым ждут меня Тосины руки. Я не спешу, я оттягиваю тот поворот головы, когда уже ничего не смогу видеть, кроме этого окна. Какую досаду заронил в меня дьяк-праведник? Ведь ни о чем не жалею... Или очень стараюсь не жалеть? А может, не следовало бы мне оставаться самим собой, а стоило бы присмотреться к миру, куда попал волей случая, да соблюсти его законы, чтобы все получилось чисто?

И сам не заметил, как стою уже у окна, раскрываю его, влезаю на завалинку. Ждал руки, встретил — губы. И я шепчу прямо в ухо:

— Там дьяк сидит. На лодке. Каждую ночь сидит. Ты давала ему надежду, да?

— Нет, не надежду, — отвечает она тоже шепотом, — я обещала стать его женой.

Я отшатываюсь и чуть не соскальзываю с завалинки, руками цепляюсь за подоконник.

— Даже так?

— Он очень хороший, — говорит она, но не оправдывается. — На будущий год должны были венчаться.

Слушай, Тося, — шепчу я громко, даже с хрипотцой, грудь передавлена подоконником. — Не пожалеешь ли ты? Сможешь ли жить в моей жизни? Я ведь совсем другой человек, я своей жизни на день вперед не вижу!

— А меня — видишь?

Ее руки у меня на шее. Но нет, я трезв, я жажду высказаться и хочу, чтобы она разубедила меня в

моих сомнениях, я хочу отпущения грехов, я даже не против, если эти грехи она возьмет на себя. Что поделаешь, я привык к рефлексии, меня хлебом не корми — дай разложить себя на составные. Я не хочу себя оправдывать — пусть меня другие оправдывают, а я буду сопротивляться, вывертываться, чтобы ни одной подлой клетки во мне не осталось не оправданной! Я плох — пусть мне докажут, что не хуже других; я делаю гадости — пусть меня убедят, что я иначе не мог, что любой на моем месте поступил бы так же; я лжив — обоснуйте же, черт побери, что моя ложь объективно необходима и не нужно быть дураком!

— Прости меня, Тося! — шепчу я искренне и страстно. — Я должен был вести себя по-другому. Нельзя было всего этого! — Я стучу кулаком по подоконнику. — Прости!

Конечно же, она простит. Я в этом не сомневаюсь.

И вот она уже обнимает меня и целует, и убеждает, что все было правильно, она сама хотела всего, что случилось, она лучше меня знает, какой я на самом деле. Ну, и слава Богу! Я успокаиваюсь. Ее руки чуть-чуть, совсем слабым движением, зовут меня в комнату. Сейчас я перемахну через подоконник...

— Тося, — говорю я совсем спокойно, — я завтра уеду и не приеду долго, пока все не подготовлю, пока не закончу все свои дела. Я тебя люблю... Я сейчас уйду и уеду утром, ты еще будешь спать, а потом приеду так же рано утром, и ты тоже еще будешь спать... И потом будет все... Да? С тобой у меня все будет иначе! Так ведь? Не случайно же мы встретились...

— Конечно! Конечно! — шепчет она. — Так тебе судил Господь. И мне.

— Я даю тебе слово, я попробую понять то, чего не понимаю. Не из другой же я материи создан!

Я сажусь на подоконник, сжимаю ее крепко, до стона, целую лицо, разжимаю руки, спрыгиваю на землю, бегу, взлетаю на чердак по приставной лестнице, падаю на постель и плачу без звука. Потом, завтра или позже, я все это отрефлектирую и разложу на составные, но сейчас у меня редкий счастливый миг искренности, я так рад ему, я верю, что миг этот может быть продлен, что он может быть вечен.

I

Мой отец для меня хороший человек, потому я и живу с ним, а не с матерью. Мне удобно с ним, и этим он для меня хорош.

Он — человек удивительного здоровья, у него вместо нервов струны от контрабаса. Не существует ничего в мире, что могло бы вывести его из себя. Чем больше я присматриваюсь к отцу, тем больше поражаюсь его уникальности. Весь мир, всех окружающих, все свои дела, личные и служебные, он воспринимает так, как будто в целом свете он — единственная реальность, все же прочее — кинематограф, то есть можно, конечно, позволить себе некоторые эмоции, но предаваться им всерьез по меньшей мере смешно.

Я не встречал второго такого человека, который мог бы так пожимать плечами. В этом неповторимом жесте больше философии, чем в рассуждениях любого из стоиков. Это его пожатие плечами я долго учился копировать, но где там!..

Под конец совместной жизни мать от этого жеста впадала в истерику — получала в ответ такой же точно жест, но теперь уже по поводу ее истерики.

Небывалое равнодушие ко всему миру и к человечеству позволяло отцу довольно часто высказывать весьма трезвые и резонные мысли, которые служили для меня пищей для размышлений. И где-то к двадцати годам мать начала присматриваться ко мне с откровенной отчужденностью и даже враждебностью. Люська, младшая сестра, материн адъютант и единомышленник, та, щурясь презрительно, выносила мне приговор: „Папин сыночек! Такой же толстокожий!” Мать неуверенно защищала, а я не обижался. В материнском равнодушии я тоже не видел истины, про себя же знал — кожа моя тонка и чувствительна, и если я не буду повышать свой болевой порог чувствительности, трудно будет в этом мире, где каждый норовит наступить тебе на ногу, поддеть локтем, уколоть языком.

В эпоху потепления мать с Люськой отчаянно задиссидентствовали. Их однокомнатная квартира на Новослободской гудела голосами и шуршала Сам издатом. Что говорить, это было веселое время! Пахло озоном, а как дышалось! Тарахтели машинки, множа и множа вырвавшееся из бездны молчания человеческое слово. И я закрутился в потоке разномыслия. Отцовская квартира превратилась в перевалочную базу торопливо настуканных машинописных листов. Отец прочитывал все, что я приносил, говорил: „Любопытно” или „Интересно”, а иногда коротко: „Чушь”, и, как мне казалось, через минуту забывал о прочитанном. Ничто не могло поколебать его спокойствия. Он даже не высказывал беспокойства, что могут быть неприятности из-за этой макулатуры, из-за моей суеты, из-за его, пусть косвенной, но все же причастности к диссидентству. Ведь это на его машинке я выколачивал одним пальцем экземпляры вольных стихов, обращений, манифестов.

Мать с Люськой — другое дело. Они носились по Москве, как одержимые, с кем-то знакомились, куда-то кого-то возили, вечерами ахали над страницами Самиздата, с именами диссидентствующих физиков и лириков.

При всем том, Люська продолжала исправно учиться на факультете журналистики, мать трудилась в институте общественных наук, отец преподавал марксизм-ленинизм в одном из технических вузов. Я сам заканчивал историко-архивный и присматривал уже себе тепленькое местечко в солидном музее. Чудное и непонятное было время!

Все прошло. Власть опомнилась. Диссидентство замкнулось на кругах своих. Активисты исчезли — кто на Западе, кто на Востоке. В материной квартире из всего иконостаса вольнодумцев остались лишь фотографии Ахматовой да Пастернака. Книжные полки отца добросовестно сверкали корешками классиков.

Сейчас Люська, единственная пострадавшая, перебивается случайными заработками, халтурой. С матерью ее отношения несколько запрохладились, но живут дружно. По-моему, их объединяет презрение к отцу и ко мне, хотя наши отношения с матерью сложнее. Мы любим друг друга и все же глубоко чужды. Но мать есть мать. Я скучаю по ней, хотя и дня не вытерпел бы совместного житья. Мать агрессивна. И мне удобнее с отцом. Отец щедр. Люська и мать принципиально отказываются от его помощи. Я не отказываюсь и тем доставляю ему даже удовольствие. Много я у него не беру, но чаще всего как раз немного и нужно позарез.

У отца есть женщина, тоже какой-то марксоид из того же института. Отец ее не приводит. Ездит к ней или они где-то встречаются, это не мое дело. Но убывает он из дома часто, так что квартира бывает

неделями в моем распоряжении. Что и говорить, удобно я устроился в жизни. Только мне уже почти тридцать, а все кажется, будто жизнь еще не начиналась, вот-вот должна начаться, но только это начало, как горизонт, отступает от меня ровно на столько шагов, сколько я сделаю в его сторону, и я все еще не живу, все только готовлюсь...

Так было до этой последней командировки.

Я возвращаюсь в Москву новым человеком. Так я провозглашаю самому себе. Новизну я ощущаю во всем, в каждом впечатлении, в каждом намерении. Нет, ничего нового про себя я пока что не знаю, откуда ему взяться, новому! Однако новизна это скорее готовность к новому, оптимизм предчувствий, планов... Мне хорошо!

Сегодня мне нравится Москва. Меня не раздражает теснота в метро, я улыбаюсь красивым женщинам и некрасивым тоже, я, наверное, похож на идиота, но, в конце концов, я не виноват, если улыбка не сползает у меня с рожи.

Два месяца я не был в Москве, но, если руку на сердце, соскучился ли я? Едва ли. Хотя мы очень странные люди — горожане. Когда мы хотим одиночества, мы выходим из своих перенаселенных квартир и ныряем в толпу и умудряемся никого не видеть, ничего не слышать, мыслить под визг тормозов, мы умеем оставаться один на один со своим „я”, работая локтями, выскальзывая из-под машин, ослепляясь рекламами, — мы ненормальны всем своим образом жизни. Но если эту жизнь принимаешь, значит, она — норма.

Когда возвращаешься в Москву, только тогда видишь, как по-разному воспринимаем столицу мы, коренные москвичи, и провинциалы. Мы не чувствуем в Москве столицу страны или государства, Москва в нашем восприятии — политический центр.

Центр чего — сказать трудно. Но в Москве даже случайный чих есть событие политическое, здесь просто не бывает неполитических событий. Эту политику мы чувствуем нюхом и обособляемся от нее в своих мирках, которые создаем, рушим и воссоздаем заново, и Москва для кондового москвича — это несколько квартир, где разнузданный треп, кревоугодие и бахусовы процедуры — как бы микропротивостояние всеобщей вовлеченности в политику, там мы раскрепощаемся, там мы ехидничаем, иронизируем, импровизируем, пошлим, выворачиваем себя наизнанку и, собственно, только эти часы именуем жизнью, которую отделяем от службы.

Есть еще коридоры нашей жизни, личной жизни, они проходят где-то под землей — это телефонные провода. Телефоны — это наше, непосягаемое, неотъемлемое, это наша свобода. Телефон, если он где-то в прихожей, или на подоконнике, или на этажерке — это не телефон, и в такой квартире живут не москвичи. У москвича аппарат около тахты или кушетки на маленьком столике, чтобы не тянуться далеко, не утруждаться неестественной позой, москвич „телефонит” в самой удобной позе, а таковой может быть только одна: это упасть на кушетку (диван, тахту), в зубах сигарета, на столике черный кофе без молока, без сахара, вот так полулежа, свободной рукой снимается трубка, не торопясь набирается номер, голос ленив, спешить некуда, на том конце тоже не торопятся, идет треп — совершенно новый вид искусства, порождение второй половины двадцатого века.

Каждый уверен или, по крайней мере, надеется, что телефон его прослушивается, иначе вы — не личность! Но каждый надеется, или даже уверен, что органы понимают: он человек не опасный, ну, немного иронии, немного вольности, но, слава Богу,

есть настоящие диссиденты, от которых органы могут отличить просто интеллектуальных людей, коим необходима доза вольности для повышения производительности труда; в органах нынче не гробокопатели, не застрельщики сталинских времен, уже не хватают за глотку каждого шипящего, лишь пожурят слегка...

Внешне кондовый москвич немножко левее, чем по сути, а в душе полагает, что если систему можно слегка поругивать, то в такой системе можно жить, то есть считать, что ты живешь сам по себе, что тебе плевать на политику, что ты достаточно свободен, чтобы уважать себя и не уважать кого угодно.

Что до Москвы, то она для москвича — зачастую несколько кварталов, улиц или домов, это какой-нибудь один театр, несколько художников, поэтов, актеров и просто исключительных личностей, за которыми закрепляется понятие Москвы, не Москвы — столицы, но Москвы — микромира высшей категории, за пределами которого суэта политиков и лупоглазие провинциалов.

„Ах, Арбат, мой Арбат!“ Провинциал не поймет этих слов, в которых речь идет не о районе Москвы, где, положим, вырос, а о микромире-фантоме, что сотворен незамысловатой песенкой в противовес лозунгам, портретам и небоскребам; для москвича „наша Москва“ — не город-герой, не источник социалистической мощи, нет, сохрани Боже! Это понимать надо, что такое „наша Москва“!

И неважно, что завтра он выйдет с флажком „посреднесдельному“ на ненавистный Калининский проспект встречать представителей враждебно-дружественной державы, неважно, что послезавтра на партсобрании будет докладывать о готовности своего отдела принять повышенные соцобязательства в честь предстоящего съезда, это все неважно, по-

тому что дома у него на полке „Мастер и Маргарита“, а в прошлом году один диссидент оставил у него на хранение пишущую машинку, а в позапрошлом некоторая часть гонорара за статью ушла, ни больше, ни меньше, в фонд помощи... „Ах, Арбат, мой Арбат!”

Ну, а для меня Москва — любовь или ненависть? Привязанность — вот слово, точное и безоценочное. Привязаться можно к чему угодно, — я привязан к Москве.

Я схожу с поезда, и с первого шага я повязан ритуалом моей московской жизни. На Кропоткинской у выхода из метро я ныряю в телефонную будку и звоню домой. Это правило. Отец, возвращаясь из отъездов, тоже звонит на квартиру. У меня может быть женщина. У него может быть с меньшей вероятностью, но может, и я звоню. Дома никого, и это хорошо. Я почти бегу по улице, в подъезде лишь кидаю взгляд на почтовый ящик. В нем ничего. Значит, отец был сегодня. Щелкаю замком и — дома. Заглядываю в отцовскую комнату. Там порядок, как всегда. В холодильник. Полно. И теперь лишь — к себе.

Пыль. Отец не прикасается к моим бумагам. Отец у меня, что надо! Я разбираю чемодан, швыряю на стол материалы командировки, белье в ванную, точнее, под ванну, чемодан под кушетку. На кушетку падаю сам, а под рукой телефонный провод. Звонить? Нет, что-то не хочется. Обстоятельства моей личной жизни выбили меня из привычной колеи. Комната моя, которую ценил безмерно, изолированная, шестнадцать метров, полная книг, увешанная репродукциями и даже подлинниками, с окном в сквер и на простор за сквером, что-то она сегодня пуста. И я вписываю поповскую дочку в этот интерьер и пытаюсь ее глазами взглянуть на каждую

деталь и на самого себя, развалившегося на кушетке у телефона.

Икона прошлого века рядом с фотографией Солженицына, это вполне по-московски, но я беру икону Тосиными руками и смотрю в угол, где репродукция „Дон-Кихота” Пикассо. Тонкими, гибкими Тосиными пальчиками я осторожно снимаю Рыцаря Печального Образа и пристраиваю на его место икону. С полки антиквариата, из плотного ряда старинных переплетов вынимаю Библию и держу ее в руках, прижав к груди; ее некуда положить, чтобы она была отдельно от прочих вещей и книг, нужна полочка под иконой, и Тосиными руками я уже не могу ее сделать. Впрочем, я и своими едва ли что-то смогу. На редкость умными руками одного моего приятеля я сооружаю полочку в углу, и Библия на месте. Но не у места оказывается журнальный столик, и я сдвигаю его вплотную к письменному столу, стол оттаскиваю к книжной стенке, снимаю навесные полки и навешиваю на другие места; на пол летят картины, репродукции, фотографии, кушетка подперла дверь, телефон у черта на куличках. Я умаян и раздражен. Яставляю поповскую дочку из комнаты, и все снова на своих местах, и обретается некоторое спокойствие, только некоторое, потому что поповская дочка за дверью, а там ей не место, ее место рядом со мной, и поэтому она снова входит в комнату легкими шагами, обводит комнату взглядом, взгляд ее останавливается на иконе, что рядом с Солженицыным, она протягивает к ней руки... и сейчас все начнется сначала! Я хватаю с рычага телефонную трубку, звоню матери.

Приехал? — спрашивает она.

— Приезжают из отпуска. Из командировки прибывают. Здравствуй!

— Здравствуй! Здоров?

— Слава Богу!

— Зайдешь?

— Обязательно!

— Что-нибудь случилось?

— Почему?

— Если *обязательно* зайдешь, значит, случилось.

Мать любит демонстрировать прозорливость.

— Пожалуй, случилось. Женюсь.

— На каком месяце?

— Все не то, мама. Я женюсь не на Ирине.

— Нашел в провинции?

— Нашел.

— Когда зайдешь?

Мать волнуется, я слышу это, и я благодарен ей.

— Она не в Москве. И все будет еще не скоро.

Как Люська?

Мать молчит, и я поеживаюсь.

— Что у нее?

— Не то, что ты думаешь... Приходи.

— Вечером. Хорошо?

Мать рада, что я приду сегодня. Что-то с Люской.

Но, как я понял, не по диссидентской линии. С Люской обязательно должно что-нибудь случиться. Она живет на нервах. Еще в детстве у нее всегда были обкусаны губы. От нее исходит беспокойство, она все кого-то разоблачает, обличает, всегда кому-нибудь предана до умопомрачения. Пока она была девчонкой, я подшучивал над ней, и просмотрел, как она перестала быть девчонкой, и однажды заработал оплеуху, пожалуй, справедливую. Оплеуха сломала наши прежние отношения, новые не возникли, просто я стал побаиваться ее, у ней появилось презрение ко мне. Но родственность — куда ее денешь, и я привык любить сестру на расстоянии. Это вообще, по-моему, самый истинный тип любви, может быть, даже единственный. Я всех держу на

расстоянии. Вовремя подпустить холодка в отношениях — в этом я вижу высшую мудрость поведения.

Кажется, это даже не мой стиль, а отца. Но если я это делаю сознательно, иногда с насилием над собой, вопреки чувству, то у отца все естественно, самой его натурой предусмотрено, для него просто невозможна страстность отношений, чужая страсть отодвигает его ровно настолько, чтоб самому не загореться и в то же время пользоваться теплом чужого огня.

Вообще, отцу я многим обязан. Он был первой моей любовью. Спокойный, серьезный, деловой, уверенный — я боготворил его в детстве! Но именно от него получил первый щелчок по носу. Почувствовав мою неумеренную привязанность, он своей холодной ладонью однажды отстранил меня, всего на йоту, но не понять его жеста было невозможно, и после этого я всегда ощущал пространство, которое он воздвиг между мной и собой. Я на всю жизнь запомнил свои страдания, и еще сопливом решил бесповоротно — никогда не подвергать себя такой боли. И позже, отстраняя от себя других, видя чужую боль, я говорил про себя: учись, дружок, такова жизнь, один раз наколешься, другой раз побережешься!

Заерзал ключ в замке, мягко подалась дверь. Пришел отец.

— Гена, ты дома?

Я выхожу ему навстречу с приветственным жестом. Это все, что мы позволяем себе при встречах. Отец, как всегда, причесан, изысканно одет во все серое, этот цвет идет ему. Он красив, в лице холерность, в глазах ум и спокойствие, в движениях сдержанность, в словах точность и предельная экономия.

— Все нормально? — спрашивает он, и это не пустой вопрос, а по существу, потому что не всегда

бывает нормально, и тогда я так и отвечаю, и у нас возникает полезный деловой разговор. И сейчас я отвечаю ему по обстановке:

— Нормально. Но поговорить надо.

Он понимающе кивает.

— Уже ел или вместе...?

— Вместе.

— Ставь чай, грей котлеты, я переоденусь.

Я могу, конечно, подражать отцу, но это всегда будет только подражанием. Увы, моя порода разжижена материнской эмоциональностью. Я только подыгрываю отцу, но при всей нашей внешней схожести, — вроде бы говорим одни и те же слова, живем одними и теми же принципами, — то, что у него получается легко и как бы само собою, то мне дается непременно волевым усилием, а точнее — насилем над своей натурой.

К примеру, я знаю, какой у нас состоится разговор, — не такой, какого бы мне по-настоящему хотелось.

Я включаю электроплитку, грохочу сковородой и чайником, звеню посудой, я сижу и жду отца. Ну, вот опять же, разве я когда-нибудь приучу себя, придя домой, так педантично переодеваться, развешивать одежду по шкафам, ставить ботинки в гнезда под вешалкой, хотя бы не ступать безобразно домашние тапочки?

Отец появляется в домашнем одеянии, не менее элегантно, заново причесан, на домашних брюках стрелочки. Зачем ему стрелочки на домашних брюках? Но я завидую. Хотя зависть моя — бесплодна.

Я раскладываю котлеты, наливаю чай. Некоторое время мы молча едим. Потом я спрашиваю:

— У тебя как?

— Без изменений.

И это тоже не отговорка. Значит, у него действительно все без изменений в ту или другую сторону.

— Женюсь, — говорю я.

Он перестает есть, смотрит на меня серьезно.

— Не на Ирине, — упреждаю я его вопрос. — Вообще не на москвичке.

Он смотрит на меня полминуты, и этого достаточно, чтобы он понял ситуацию.

— Тебе нужна квартира.

Есть ли еще у кого-нибудь такой отец?

— Однокомнатный кооператив стоит четыре тысячи. Я могу дать две.

Это значит, он больше действительно дать не может. Но разве я рассчитывал на такое! Только почему мне грустно? Он расстается со мной без сожаления, а мне бы хотелось жить вдвоем — и с Тосей, и с отцом, и вчетвером мне тоже хотелось бы жить — с отцом Василием. Хорошо бы и впятером, — с матерью и даже с Люськой, если ее комната от моей подальше. Мне хотелось бы жить большой семьей, кланом. Ведь ужились бы! Тося — с кем она не уживется?

Все эти мысли одного мгновения. Но отец куда дальновидней меня. Дети! Я их хочу. Тося, конечно, тоже. Отцу же никто не нужен. Даже я.

— Кто она? — спрашивает отец.

Отцу врать нельзя. Говорю, как есть:

— Поповская дочка.

Отец удивлен:

— Своёобразно, — отвечает. И, наверное, хорошо. А могла быть и диссидентка. Во всяком случае, это не банально. Мать знает?

— Звонил. Сегодня поеду к ней. А что с Люськой?

Отец не знает, что с Люськой. Она умирать будет — не сообщит отцу. Я вижу в этом жестокость, но его это явно не задевает. Наш отец наверняка доживет до ста лет.

— Она, кажется, по-прежнему крутится с диссидентами? — отвечает он вопросом на мой вопрос.

Я пожимаю плечами.

— Кончится тем, что она выйдет замуж за еврея и уедет в Израиль.

Я пытаюсь уловить хоть какой-нибудь оттенок в его голосе, но нет, это спокойное и выверенное предположение. Такое действительно может произойти с Люськой. И отец к этому готов.

— Ну, а ты, как договоришься со своей женой относительно Бога?

— Постараюсь понять эту идею. — Я пожимаю плечами почти по-отцовски.

Ваше поколение ищет сложностей. В этом есть резон. Он не осуждает и не завидует, он констатирует. — Но женой она должна быть хорошей.

И опять он прав. Тося будет хорошей женой. А чем отцу была плоха моя мать? Мне очень хочется спросить его об этом, но он сам отвечает на мой незаданный вопрос:

— Ум женщины не в образовании, а в умении быть женой и матерью, в умении создавать семью, сохранять ее... Кому нужны ее степени и звания?

Эти слова были бы банальны, если бы не предназначались моей матери. В самом деле, кому нужны ее ученые степени, добытые откровенной халтурой. Ученая степень отца — тоже халтура. И она тоже никому не нужна, кроме него самого. Я ему этого не хочу говорить. А, впрочем, почему бы и не сказать?

— Ну, а твой марксизм, папа?

Не первый раз эта тема у нас возникает. Он еще наливает себе чай, я отказываюсь.

— Все зависит от того, как понимать истину. Разве марксизм — это только Маркс и Ленин? Это теория социализма. А социалистическому идеалу столь-

ко же лет, сколько человечеству. Какая-то часть человечества жаждала и жаждет социалистического бытия, и разве можно отказать в истине тому, что существует тысячи лет? Существующее разумно. Разумно — следовательно, истинно, то есть оно реальный элемент бытия. Кому-то этот элемент не по вкусу, ну и что? Каждая отдельно высказанная истина марксизма может звучать сомнительно, как, впрочем, и любая другая истина, но в целом марксизм или социализм — реальность, к которой и по сей день стремятся миллионы. И где? Именно там, на Западе, то есть, казалось бы, на противоположном полюсе. Социализм в известном смысле биологическое влечение человека, против которого бесильны факты и аргументы, и, следовательно, в нем подлинная истина бытия. Национализация, к примеру, хорошо ли это? Но она неизбежна, это то, к чему человечество идет, влекомое инстинктом. Значит, она тоже истина.

Отец смотрит на меня. Он не навязчив, я знаю, он не скажет лишнего слова, если увидит, что я не слушаю или слушаю плохо.

— Но ты делаешь карьеру на марксизме в стране, где марксизм себя скомпрометировал.

Брови отца в недоумении подлетают вверх.

Скомпрометировал? Ничуть. Напротив, именно в этой стране социализм победил полностью тем, что переработал душу, не оставив ни единой свободной клетки для альтернативы.

Отец улыбается, я знаю эту его улыбку, значит, сейчас он выскажет какую-то болезную для меня истину.

— Социализм победил хотя бы уже тем, что выработал безобидную для себя форму оппозиции. Вот ты, к примеру, разве ты опасен социализму? А ведь ты оппозиционер. Ты не опасен, потому что твоя

оппозиционность не по существу, а в сущности она глубоко эгоистична.

— Диссидентов ты тоже в счет не ставишь?

— Не ставлю, — отвечает он, — по тем же самым причинам. Их инакомыслие не по существу, а эгоизм их сугубо клановый.

— Ты полагаешь, что в тюрьмы могут идти движимые эгоизмом?

Отец прислушивается к моим интонациям. Если обнаружит, что я завожусь, разговор прекратится.

— Я полагаю другое, — осторожно возражает он, — если народовольцы были против царизма, они сражались с ним насмерть, то есть обещали смерть своим врагам и готовы были к смерти сами. Диссиденты же из кожи вон лезут, доказывая, что они не антисоветчики, что политикой они не занимаются, они и сами убеждены, что сажать их не за что. Далеко ли ходить за примером — твоя сестра убеждена, что власть должна к каждому ее слову прислушиваться, к слову-то подчас сумбурному, но должна прислушиваться, потому что, видите ли, она, сестричка твоя, этой власти добра желает! И не смешно ли, подумай сам, власть, покоящаяся на согласии миллионов, пусть на молчаливом согласии...

Тут он перехватывает мою ухмылку.

— ...знаю, хочешь сказать про штыки. Но штыками подавляют бунт, и нет таких штыков, которые могли бы его предотвратить, если он созрел. Не бунтуют? Так не смешно ли, власть эта должна прислушиваться и видоизменяться каждый раз по требованию взбалмошных девчонок! Хорошо, хорошо пусть не девчонок. Но людей, у которых ни программы, ни даже просто цельного мнения о явлении, с которым они пытаются бороться. Власть — продукт целой эпохи, итог тысячелетнего инстинкта, и десяток интеллигентов, не согласных друг с другом, ей не

опасен. Лично я восхищаюсь этой политической системой, она великолепна и грандиозна...

— Лагерями ты тоже восхищаешься? — вставляю я угрюмо.

— Не нужно делать из меня монстра, — спокойно говорит отец. — Но как явление, достигшее в своем развитии оптимальной жизнестойкости, социализм не может не вызывать уважения. Блефы в истории не реализуются, в истории реализуется всегда лишь то, что единственно и необходимо, и всегда по воле и желанию самих людей. Мы получили, что хотели.

А тебе лично, тебе нравится то, чему ты служишь?

Знакомое пожатие плечами.

— Мне пятьдесят пять. Хорошо ли это, как думаешь ты, тридцатилетний? Наверное, в этом мало хорошего. Мне грустно. Но в своем возрасте я нахожу известные преимущества. Мой возраст — это такой же непреложный факт, как социализм, которому я служу. Я не собираюсь натягивать на себя джинсы и рубашки с попугаями, я не ухаживаю за восемнадцатилетними девушками. Я живу в соответствии с реальным фактом моего возраста. Ответил я?

— Ответил, допустим, — я задаю ему еще только один вопрос. — Признаешь ли ты моральное право за действиями Люськи и прочих?

Опять пожатие плечами.

Почему бы нет? А ты, — улыбается отец, — можешь ли утверждать, что у мышки больше морального права выжить, чем у кошки ее съесть?

— Все, что ты говоришь, папа, есть цинизм.

— Нет, — возражает он твердо, — это только реализм мышления. Это реализм без всякой инфантильности. Это серьезно. И если бы Люськины приятели понимали, что имеют дело не с полицейской диктатурой, как они говорят по шаблону прошлого

века, а с жестким реализмом бытия, в котором своя правда, правда именно в том, что ОНО есть и существует, если бы они это понимали, они могли быть более серьезными противниками. Но все дело в том, что они совсем не противники, они всего лишь диссиденты, а их существование может быть вполне регламентировано системой.

Отец смотрит на меня своими светлыми марксистскими глазами, и как мне не завидовать его уверенности, я никогда не знал ее за собой, этой надежной прислоненности к чему-то, что прочнее тебя. Я всегда ощущал себя хиленьким деревцом со слабенькими корнями; всегда был занят тем, что-бы занять позу устойчивости, но меня колебало во все стороны, и я изгибался, как мим, а противоестественность моих телодвижений неглубокими людьми воспринималась как оригинальность; и я спешил уверить их в правильности впечатлений, — кто прошел через это, знает, как можно устать колебаться и изображать оригинальность...

Отец смотрит на меня своими светлыми равнодушными глазами, и я знаю, что у меня такие же глаза, я ведь папин сынок, они у меня только чуть синее, у отца — малость выщвели от пристрастия к марксизму; и вот мы сталкиваемся с ним взглядами, сливаемся своим светлоглазием во что-то единое, родственное хотя бы по плоти; мы смотрим друг на друга, как будто изучаем свое подобие в зеркале, и потом взгляды размыкаются, каждый возвращается в себя, в свой мир, а миры эти чужды, и здесь уже нет родственности, только взаимовыгодная терпимость.

— С работой все в порядке? — спрашивает он.

— В порядке, — отвечаю.

Для меня этот „порядок” может означать многое, для отца лишь одно: умеренность в выполнении.

нии функций, за которые получаешь средства к жизни.

— Посуду уберешь? — спрашивает он, поднимаясь из-за стола.

Я киваю головой. В квартире у нас все определено раз и навсегда. Если я сегодня убираю посуду, то в следующий раз он.

— Когда деньги дать? — это он спрашивает уже в коридоре.

— Не сейчас, во всяком случае.

— Скажешь.

Он уходит к себе, а мне пора подумать о некоторых вещах, требующих немедленных решений. Эти же самые деньги. Нужно доставать еще минимум четыре. Значит, надо срочно искать халтуру. Я перебираю в памяти своих знакомых и останавливаюсь на Евгении Полуэктове, пронырливом очкарике, уже который год живущем на всякие халтуры литературного характера. Кое-что мне перепало от него, то есть он уступал мне свой заработок, если у него был выбор. На него я вышел через Ирину. Долгое время у меня были подозрения, что Женька уступил мне не только заработок, Ирина же все намеки отвергала с негодованием, да оно и несущественно было для того стиля отношений, который сложился у нас с Ириной с первого сближения.

Вот еще Ирина. С ней тоже будет непросто.

Мне хотелось бы ее увидеть. Просто увидеть — не более. Не уходит ничто бесследно из наших чувств, и я больше всего боюсь разжалобиться, когда придет время объясниться с ней. У отца бы мне поучиться, как расставаться с людьми.

Я звоню на квартиру Женьке Полуэктову. Чей-то женский голос бойко диктует мне номер телефона, где Женьку можно застать в течение ближайшего часа. На чужой адрес я звоню голосом размеренным

и деловым и прошу пригласить к телефону Евгения Владиславовича. Это я поддерживаю Женькину марку. Мы договариваемся о встрече в восемь у него дома. Значит, до восьми вечера я могу побывать у матери. Уже четвертый час.

Я не сообщаю отцу, что уйду и когда вернусь. Ему это безразлично. Если бы с кем-нибудь из нас что-то случилось вне дома, ни один не хватился бы другого в течение месяцев. Идеал отношений! От этого идеала меня нет-нет, да потянет к матери. Ее квартира для меня чужая, там всегда какие-то люди, там свои заботы и хлопоты, и каждый раз, когда я, бывало, появлялся там, все почему-то начинали энергично обсуждать свои проблемы, словно подчеркивая саму проблемность их жизни, в сравнении с которой я должен выглядеть убогим мещанином. Особенно старалась Люська. Она начинала кого-то хвалить за гражданское мужество, кого-то за умелую конспирацию, кого-то за отзывчивость к диссидентским событиям. Если я пытался вступить в разговор, Люська меня игнорировала, перебивала, могла, презрительно сощурясь, спросить: „Ты чего пришел?”

Мать изводила по-своему: расспрашивала о моих делах, и если я поддавался на ее расспросы, начинала учить меня жить, ругать отца, доказывать его отрицательное влияние на меня.

В этот раз повезло. Еще когда Люська открывала дверь, я понял, что в квартире чужих нет. Но беспокоило другое — Люськино лицо, и вообще-то узкоскулое и худое, а теперь — кожа да кости. Глаза как в лихорадке. Из-под халата мосла торчат. Губы синие. Растрепана.

Люська открывает дверь и не говорит ни слова. Сует мне под ноги тапочки и уходит на кухню.

— Иди сюда, Гена! — кричит мать из комнаты. И я

понимаю, что мать с дочкой только что поругались, и мое появление очень кстати, через меня они помирятся, по отношению ко мне их обязательно что-нибудь объединит.

Мать тоже выглядит неважно, но в форме. Всегда, когда я вижу ее после долгого перерыва, меня посещает одна и та же иллюзия: теперь все будет по-другому, сейчас мы найдем общий язык раз и навсегда, — и чего нам делить? — и я проникаюсь внезапной нежностью к ней. Мне кажется, и она испытывает то же.

— Ты очень хорошо выглядишь, — говорит она.

Она всегда так говорит.

— Ты тоже, — и я всегда это говорю, хотя иной раз и неправду, как сейчас.

— Кофе будешь?

Я соглашаюсь.

— Люся! — кричит мать. — Сделай нам кофейку, пожалуйста!

Это она делает шаг к примирению, которое им обоим нужно позарез. Сестра, не отвечая, громко звенит посудой, что должно означать: она еще сердится, но готова помириться.

— Ты в этот раз был, кажется, где-то очень далеко?

— Очень далеко. В Сибири.

— Это, наверное, интересно... — не очень уверенно говорит мать.

— Для меня интересно.

— Как отец?

И тут появляется Люська с банкой растворимого кофе. Если речь заходит об отце, она не утерпит, ей обязательно нужно присутствовать и участвовать.

— Да, как поживает папочка?

— Ты могла бы сама спросить у него об этом, — отвечаю я Люське, и у нее от злости краснеют щеки и влажнеют глаза.

Неужели с нашим папочкой никогда ничего не случится? — шипит она, и мать обрывает ее:

— Нельзя же так, в конце концов!

Я знаю то, чего не знает мать. Люська ненавидит отца, ненавидит его так же страстно, как любила в детстве, — и страдает от своей ненависти. Года три назад она позвонила отцу рано утром и попросила его ждать ее дома. Всю ночь Люська готовила объяснение, в итоге которого они должны были помириться, но, примчавшись на такси, только прокричала: „Папка, я люблю тебя!“ и разрыдалась. Отец успокоил ее и выговорил ей за то, что он из-за нее опоздал на работу.

Когда он ушел, Люська устроила дебош в квартире, я еле с ней справился. Она оскорбляла меня, как могла, пыталась добраться до моего лица и на прощанье крикнула уже с лестничной площадки: „Вы оба выродки! Вы нелюди!“ Когда я рассказал отцу, чем закончилось Люськино посещение, он лишь пожал плечами.

— Ну и как, — Люська норовит задеть меня, — наш папа по-прежнему бреется два раза в день?

Я пытаюсь отвечать миролюбиво:

— Шурик твой ни разу не бреется, это же тебя не смущает.

Они обе вдруг затихают.

— Можешь радоваться, — зло говорит Люська, — сейчас он уже бритый.

Я смотрю на мать.

— Посадили месяц назад.

Шурик — фамилию его я, оказывается, и не знаю — многолетняя Люськина любовь. Сначала это была односторонняя любовь: Шурик был женат. В конце концов Люська добилась своего, но я не понимал, почему они не женятся. Именно через Шурика мать с Люськой и занялись диссидентством.

Люська поджала губы, глаза полны слез.

— Понимаешь, что получилось... — начинает мать, — и Люська взвизгивает:

— Не смей! Он ведь будет только рад!

— Ну, почему обязательно рад? — робко возражает мать.

Яжимаю плечами, и по взорвавшемуся Люськиному взгляду понимаю, что мне, наконец, удалось воспроизвести излюбленный отцовский жест.

— Они ничего не способны понимать! — шипит Люська. „Они” — это мы с отцом. — Они роботы!

— Перестань! — резко говорит мать. — Лучше, если Гена все узнает от других?

Люська дергает плечом и выбегает из комнаты.

— Понимаешь, — говорит мать тихо, — Шурик дает показания. И на Люсю тоже. Это так неожиданно...

Я не нахожу, что сказать. За несколько лет — первый случай, чтобы такой активный, такой, казалось, убежденный диссидент, и вдруг...

— Люсю вызывали на допрос. Она ничего не говорила, выгораживала Шурика, а ей устроили очную ставку, и он при следователе убеждал Люсю ничего не скрывать, потому что он, как он сказал, там многое понял и осознал, и теперь раскаивается... Мы никак не можем понять, в чем он раскаивается... Он всегда так страстно и убежденно говорил... Может быть, они его там чем-нибудь напоили?.. или — гипноз?.. как ты думаешь? Ты ведь знал его...

Да, я знал его, я его слушал и читал его статьи, резкие и аргументированные.

— Что тебе сказать, мама... Может быть, он просто трусил. Я бы, например, наверняка трусил там. Я боюсь тюрьмы... Почему не предположить, что он тоже...

Когда Люська появляется в дверях, я не успеваю заметить.

— Нет, вы послушайте, он с собой сравнивает! — Она уничтожает меня своим горящим взглядом. — Ты!.. Да у тебя когда-нибудь были какие-нибудь убеждения?! Ты во что-нибудь верил?! У тебя вообще бывали какие-нибудь чувства, кроме конформизма?!

Мать спешит вмешаться.

— Люся считает, что его держат на наркотиках. Колют какими-то препаратами... Ведь Бухарин в свое время тоже Бог знает в чем признался, да и другие...

— Может быть, — отвечаю я с сомнением, — но, по-моему... Я, конечно, не борец, как вы... По-моему, бояться тюрьмы — это нормально для любого человека, испугаться тоже может любой...

— Чушь! — орет Люська. — Я не боюсь тюрьмы! Вот я, я не боюсь! Ты это можешь понять, плосколобый!

Мать, не давая мне ответить, говорит мягко и растерянно, она в самом деле не понимает, что произошло:

— Ты прав, тюрьма — это ужасно... Но ведь убеждения... Элементарная порядочность... И наконец, ведь он любил Люсю...

— А может быть, он действительно раскаялся?

— В чем? — вскрикивают они обе.

— Ну, понял, что все это бесполезно...

Люська хватается за виски, мотает головой.

— Я не вынесу этого! Прекратите сейчас же! Немедленно прекратите! Мама! Я прошу тебя!

— Хорошо, хорошо, не будем об этом. Давайте кофе пить.

— Мать, — спрашиваю я, — а выпить у тебя найдется?

Она, от растерянности, переадресовывает мой вопрос Люське:

— У нас есть что-нибудь?

— Я тоже выпью, — вдруг тихо говорит Люська.

Вот когда она хоть два человеческих слова произнесет, после всех гадостей, мне хочется обнять ее и потрепать за уши! Но разве ж у нас это возможно?

Она приносит початую бутылку вермута, мать достает рюмки.

— Есть хочешь?

Я не хочу есть. Я хочу выпить. Мне немного тошно. Мне немного тоскливо. Мне немного жалко всех и себя почему-то.

— Так ты, значит, женишься, — говорит мать.

Я жадно заглатываю вино, без спроса наливаю вторую и тоже залпом. Мать смотрит удивленно.

— Это что-то новое! Пить начинаешь?

Я только рукой машу. Люська долго держит рюмку в ладонях, будто согревает вино, потом пьет осторожными глотками, как кипяток, и опять держит рюмку в ладонях.

— Кто она, жена твоя будущая?

— Поповская дочка, — отвечаю уже привычно.

— Шутишь?

— Нет, мама, она действительно поповская дочка, то есть дочь священника.

— И она... верит?.. Она верующая?

— И она верующая, то есть она верит в Бога.

У матери на языке масса каверзных вопросов, но она не решается их задавать.

— А с Ириной, значит, все?

— Значит.

— Ты извини, но я хочу понять, это у тебя серьезно или из области оригинального? Я хочу сказать, это как-то не увязывается...

— Ну, как ты не понимаешь, мама, — опять взрывается Люська, — наш Гена просто не отстаёт от времени. Всякий революционный спад сопровождается ре-

лигиозным бумом. Религия — это безопасно и оригинально! Сейчас самое время жениться на поповских дочках. Это может даже стать модой среди ренегатов!

— Спасибо за ренегата, — отвечаю я, — но между прочим, Солженицын у меня до сих пор висит, а у вас что-то пустовато на стенках.

— Еще бы тебе Солженицына снимать! — Люська, того и гляди, вцепится в лицо. — Он же теперь русский патриот. По тоталитаризму затосковал. Подожди, он еще вернется сюда, твой Солженицын.

— Мой? — я чуть не падаю от изумления. — Да не ты ли...

— Я! Я! — орет Люська. — Трусы и предатели! Настоящие люди дышат в камерах и лагерях! А вы торопитесь жениться на поповских дочках! Чтоб вы пропали в своей похоти, иуды!

Терпению моему конец, я трахаю ладонью по столу. Мать успевает поймать свою рюмку одной рукой и придержать бутылку другой. Моя рюмка летит на ковер. Люська сжимается в комок, когда я подхожу к ней.

— Ну и сволочь же ты! — говорю я, чувствуя, как меня понесло.

— Геннадий! — кричит мать.

— Ну и сволочь. Твоего Шурика посадили не первым. До него уже полно сидело! А когда ты оставалась у него на ночь, вы с ним что, „ГУЛаг” конспектировали? А твои аборты — это итог революционного пафоса, да?

— Геннадий, прекрати, — умоляет мать.

Но нет, раз уж я сорвался, я все выскажу этой истеричке.

— Твой герой оказался болтуном и трусом. Да! Но не в этом дело. А в том, что ты, со своей истеричностью, сумела из всех выбрать именно болтуна

и труса. Он ведь пока один такой. Ты просто дура. Истеричная дура!

Я нагибаюсь над ней, и она вжимается в стул — не столько от испуга, сколько от изумления.

— А мне противно, понимаешь, противно как раз то, чем ты живешь. Игра в героев! Революционная любовь! Терминология твоя противна! Это все уже было! Это как раз и пошло! Я боюсь тюрьмы и не скрываю этого, но я бы тебя не заложил, как твой Шурик, хотя морду тебе набить — это просто с медицинской точки зрения полезно.

Мать вскакивает со стула, хватая меня за плечи.

— Геннадий, немедленно уходи! Немедленно! Я не знала, что ты еще и хам.

Я сглатываю слюну и говорю тихо:

— Я не хам, мама. Но я и не отец. Я больше не приду к вам. Вы ненормальные. Что я вам сделал такого, чтобы меня ненавидеть? Но вы всех ненавидите, кто не ваш, кто не по-вашему живет или думает. Я не герой и не борец, но вы тоже ничего не делаете, потому что задохнетесь в ненависти.

— Геннадий!

— Ухожу. Ухожу.

— Постой, мама! — кричит Люська, поднимается и встает в проходе.

Чего еще она хочет! Пальцы на косяке двери белые, вся трясется, жилы на шее вздулись, некрасивая какая, Господи!

Я стою и жду. Она молчит, только губы дергаются.

— Мама, — говорит она, наконец, — пожалуйста, оставь нас двоих.

— Еще чего! Драки только не хватало. Уходи, Геннадий, я прошу тебя.

Я делаю шаг к двери, но Люська кричит:

— Нет! Он останется. Мама, оставь нас. Слышишь, мама, или мы с тобой поссоримся.

— По-моему, — говорит мать устало, — мы сегодня с тобой только этим и занимаемся.

Она машет рукой и уходит, опустив голову.

Люська делает шаг ко мне. Я на взводе и настороже.

— Генка, помоги мне, — вдруг говорит она, всхлипнув. -- Спаси меня. Я погибаю! Я не хочу жить, Генка!

Она делает еще шаг, и я бросаюсь к ней, обнимаю крепко, целую в худые щеки и в лоб, глажу ее встрепанные волосы.

— Помоги мне, Генка! — шепчет она и плачет.

— Конечно. Конечно. Мы что-нибудь придумаем.

У меня самого уже с глазами не все в порядке.

— Что мне делать, Генка?!

— Я еще не знаю, но я придумаю, честное слово, придумаю.

Я уверен, что есть какой-нибудь путь, не бывает ситуаций, из которых нет выхода. Я уверен в себе. Я успокаиваю ее с чистой совестью. В эти минуты мне кажутся ничтожными наши раздоры, и у меня вновь возникает смутная мечта о большой, дружной семье, и я шепчу Люське:

— Мы должны жить все вместе, все...

Она отстраняется, все еще всхлипывая и дергая плечами.

— О чем ты говоришь! Это невозможно.

Я еле слышу, так тихо она говорит, но я сознаю, что ничего не изменилось, ничего я не придумаю для сестры, и она понимает, что я бессилен... Видно, и ей вражда поперек горла, захотелось на мгновение постоять обнявшись, словно мы всегда были дружны и близки, а сейчас снова начнет кричать и проклинать меня. Но она только шепчет: „Что мне делать?“ Шепчет уже не мне, а себе...

— Может быть, уехать... — говорю я.

— Куда?

— Я знаю одно такое место, где ты отдохнешь, там за тобой будут ухаживать, тебе будет спокойно...

К твоей поповне? — догадывается она и качает головой. — Это не по мне.

— Ты не представляешь, какие это люди! — пытаюсь я предупредить ее отказ.

— Да и не на что мне ехать...

— Я дам...

— А у тебя откуда? — это уже звучит с подозрением. — Отцовские?

— Ну, почему? — мямлю я, — у меня была командировка, премия...

Она не верит, она знает мои возможности.

— Генка, — говорит она, отвернувшись к окну, — ты думаешь, он просто трусил?

Я молчу. В молчании тоже ответ.

— Знаешь, он предчувствовал, ... незадолго еще говорил: давай уедем. Вызов у него был, причем не фиктивный, у него действительно родственники в Израиле. Значит, он боялся, да? Значит, не был уверен в себе?

Я по-прежнему молчу. Но мне теперь все понятно. Ее Шурик готовился драпануть, как запахнет жареным, да просчитался, с досады и раскололся. Не собирался он сидеть и не готовился к этому.

— Когда он убеждал меня ничего не скрывать от следствия, я смотрела ему в глаза. Я уже думала, думала, что, может, действительно, все, что мы делаем, ошибка, что я не заметила этой ошибки... Понимаешь, про себя я могу это допустить, но он — не ошибался...

Я прерываю ее, мне уже невтерпех слушать:

— Ты совсем не о том говоришь и думаешь. Все не то. Сейчас важно только одно: любишь ты его или нет. Это для тебя должно быть главным!

Она лишь отмахивается.

— Мне не семнадцать лет, чтобы любить мужчину ни за что. Да и в семнадцать так не бывает.

— Люська, я достану тебе денег, поезжай, поверь мне, ты вернешься другим человеком!

Она нервно смеется.

— Спасибо, братец, но этот рецепт не для меня. Не могу я сейчас уехать, понимаешь ты? Это же бегство. Вот видишь, ты ничем мне помочь не можешь... Мама!

Мать появляется вся заплаканная. Люська усаживает ее рядом с собой, кивает мне, я тоже сажусь рядом с матерью с другой стороны. Люська наливает рюмки.

— Все! Выкричались, выплакались, теперь надо жить. Обними мать сейчас же, чурбан проклятый!

Я обнимаю мать, моя рука с Люськиной вперекрест. Мать вытирает глаза платком, ее руки на наших коленях. Идиллия! Мы выпиваем, не чокаясь и без тостов. Какие тут тосты! Я хлюпаю носом, глаза мои потекли, и я уже не пытаюсь этого скрыть...

Когда я выхожу от матери, уже половина восьмого. Я опаздываю к Женьке. Останавливаю такси.

Разве это не печально, мне тридцать, а характера ни на грош. С отцом я веду себя по-отцовски, у матери с Люськой я такой же псих и истерик, как они. И в других ситуациях я замечал за собой желание вжиться в обстановку, приспособиться. Надо бы проанализировать, какой стиль для меня естествен, где я сам по себе, а где приспособление.

А Люську мне жаль. Я ничем не могу ей помочь. Главное во всей этой истории — лишь бы ее саму не тронули. Но я почему-то надеюсь, что этого не случится. Представить себе Люську в тюрьме — воображения не хватает. Лично же я патологически боюсь

тюрьмы. Из рассказов сталинских эзков, да и теперешних политических, я реально представляю себе всю эту нечеловеческую действительность — и не могу найти такие ценности, ради которых можно добровольно обречь себя на все унижения и ограничения, что именуются в совокупности неволей. Как ни гнусна наша жизнь, а в ней все-таки остается достаточно того, что есть радость или просто норма. Поэтому, когда я слышу, что кого-то посадили, я содрогаюсь внутренне, я сочувствую ему, кто бы он ни был. И когда говорят по адресу очередного исчезнувшего, что, дескать, доигрался, что сам того хотел, я на таких смотрю с подозрением, они мне кажутся еще большими трусами, чем я, страх в их душах настолько велик, что помутил им рассудок, — можно ли приписывать кому-то желание неволи?

А сколько раз случилось мне слушать воспоминания бывших лагерников, видеть их глаза, светящиеся радостью и, убей меня гром, счастьем! Они вспоминали „минувшие дни” и находили в тех днях светлые мгновения: послушать их, так именно в лагерях они пережили самые великие минуты счастья. Я заболеваю, когда слышу такое, я вижу в этом какое-то нравственное извращение, я не понимаю их, не хочу понимать, я даже уважать их не могу, — все во мне кричит против, все содрогается, и я это считаю естественным и нормальным. Представить себе, что в неволе могут быть счастливые или просто радостные минуты, я не могу. Впрочем, на животном уровне, до которого может быть доведен человек в неволе, на этом уровне, наверное, можно быть счастливым от лишней пайки, но чтобы это собачье счастье и на воле вспоминалось как счастье! — увольте. И не верю я, что в неволе согревают высокие идеи или нравственное очищение. Может быть, я слишком земной, но если меня лишают возможнос-

ти видеть лицо любимой женщины, никакие идеи не облегчат моего страдания, вся моя жизнь будет одним сплошным страданием без просветов и рассветов.

Я сижу развалиясь на мягком сидении такси, пролетаю по Садовому кольцу, вокруг мелькает Москва; я люблю ее или не люблю, но это моя жизнь, и у меня сегодня есть деньги на такое удовольствие — пролететь по Москве в одиночестве, и впереди у меня тысяча хлопот, я могу устать от них, издергаться на пустяках, но не променяю их ни на какой пафос неволи.

Что еще отталкивает меня от Люськиного мира — это пошлость повторений! Тысячи, если не миллионы, когда-то разменивали жизнь на нежизнь только ради того, чтобы кто-то получил удовольствие от проезда в такси! И вот уже следующие тысячи разменивают свои жизни ради будущего глобального преодоления страданий и не видят бессмысленности своего намерения. А она кричит о себе, эта бессмысленность, с каждой страницы истории и из каждого житейского переуллка, в ее вопле всеобщая неустроенность и неудовлетворенность, и все те прочие НЕ, которые и есть суть жизни, — убери их, ликвидируй, и что останется?

Иногда мне удается взглянуть на жизнь, как на нечто целое, и тогда я нахожу законное место Люське и ее друзьям в этом целом, их функцию я понимаю тогда как одно из слагаемых, оно даже не кажется равным среди прочих, это лишь приправа к жизни... Но я стараюсь не додумывать эту мысль до конца, потому что от слова „приправа” до слова „соль” один логический шаг. Посчитать Люськину же суету за соль жизни я никак не могу. Я вообще предпочитаю оставлять подобные мысли недодуманными, тогда они кажутся значительнее, и сам

себе я вижу тихим мудрецом с роденовским напряжением на челе, мудрецом, пролетающим в такси над пестрой суетой жизни.

Мне надо себя оправдать, потому что я люблю себя, а эта любовь, единственно она, оставляет мне возможность любить ближних. Презирай я себя за все, что я о себе знаю, ближние — разве иные, лучше меня? Но я себя люблю таким, каков есть, значит, обязан и ближних любить из справедливости, и если это не всегда удастся, так только потому, что бывает трудненько не презирать самого себя.

И потому я стараюсь понять всех, не принять, а именно понять, и, наверное, только такой подход к людям предупреждает ненависть к ним и отвращение. Одно лишь смущает: чем больше понимаешь людей, тем меньше они тебе нравятся, тем неотвратимее одиночество, и потому не полезнее ли верить тому, что человек сам о себе думает? Ведь еще не известно, что более подлинно в человеке — его реальные действия или нереализованные намерения. Если обо мне судить по намерениям, то какой же я славный человек, и если признаться честно, то себя-то и люблю именно за те намерения, которые снисходят на меня, а так ли уж виноват я, что жизнь складывается иначе? Существует человек в чистом виде — как сумма его намерений, и человек в жизни, то есть взаимодействующий со всем, что вокруг. У подлинно дурного и намерения дурные...

— Здесь? спрашивает шофер.

Я не случайно люблю такси. Если бы в день хоть по два часа проводить в этом движущемся нутре, я стал бы Иммануилом Кантом, создал бы самостоятельную философию, что-нибудь вроде „Нового Гуманона“. Но мои маршруты слишком коротки, чтоб дойти до солидных обобщений, много ли наобобщаешь за трояк!

Я поднимаюсь в лифте на шестнадцатый этаж, где под самым козырьком башни живет мой кормилец Женька Полуэктов по кличке „Полуэтот”. У каждого из нас квартира означает разное: у моего отца она — кабинет, у матери — проходной двор, у меня — берлога. У Женьки квартира — афиша, реклама. Сколько денег угрохано на все эти спец-обои, спец-паркет, спец-кафель — уму непостижимо. Посетитель должен понимать, что хозяин — человек прочного положения с неограниченными связями. Все имеет назначение ошарашить гостя интеллектуальностью хозяина. Иконы восемнадцатого века и полутораметровые полотна гениев нереалистической живописи, книжные полки с антиквариатом и разбросанные где попало современные книжки с дарственными надписями авторов, импортная пишущая машинка, кипы хорошей бумаги и всюду рукописи, — такой очаровательный творческий беспорядок, в котором, однако, все на месте, — и сам хозяин, представительный, статный, при бороде и усах, в роскошном халате до пят, с „Мальборо” или „Кэмэлом” в зубах, разговаривающий мягким баритоном, чуть усталым, чуть ленивым, неспособным выражать удивление. Таков Женька Полуэктов. Правда, передо мной он не играет, мы знакомы тьму лет.

— Старик, я жду, — говорит он, открывая мне дверь. — Одна минута, выпускаю гостя.

Пока я разубаюсь, он уплывает в комнату и возвращается в сопровождении то ли тунгуса, то ли найца, одетого с иголки, с прической только что из парикмахерской.

— Дорогой мой, — бархатно говорит Женька, — будьте спокойны, все сделается самым наилучшим образом. Вам повезло, вы имеете дело не с новичком.

Тот не очень доверчиво косится на Женьку, благодарит не очень искренне и уходит, не кинув в мою сторону взгляда. Когда дверь за ним мягко щелкает импортным замком, Женька облегченно вздыхает и говорит без бархата в голосе:

— Этот младший брат семьи народов заколебал мои глубокие интернациональные чувства. Проходи.

— Кто такой?

— Кто? Золотая рыбка! Кофе? Готовится к печати антология поэзии северных народов. Для интеллектуального человека это пещера сорока разбойников. Мне предложено, — заметь, предложено, а не сам напросился, — обогатить мировую поэзию переводами творений нескольких детей полярной ночи. Я тебе кое-что расскажу, и ты мне посочувствуешь...

Он сбрасывает свой роскошный халат, обнаруживая великолепный спортивный костюм. Суется с кофемолкой.

— В подстрочнике у этого чесальщика Пегаса сказано буквально... — Он хватает со стола листок. — Буквально следующее: „когда я был еще щенком, и мать убирала за мной мое говно..." Не веришь? Посмотри. Битый час я добивался его разрешения убрать хотя бы экскременты, а он мотал башкой и требовал адекватности, а по „щенку" мы так и не договорились. Тщетно я объяснял ему, что в русском языке „щенок" по отношению к ребенку имеет отрицательный оттенок, для него щенок — это прекрасное существо, никакого презрения у читателя вызвать не может. Вот, старик, в каких условиях приходится работать. Никакой техники безопасности.

— Это выгодно?

— Спрашиваешь!

Я обвожу глазами комнату.

— Новое приобретение?

Женька разводит руками — дескать, что подделаешь, любовь к искусству... Прошлый раз на этом месте висело что-то другое.

— Куда девал?

— Синицкого? Он, сукин сын, оскорбил меня в самых светлых чувствах. Удрал на Запад. А с изменниками делу социализма у меня не может быть ничего общего.

— Продал?

— Не буду же я дарить псевдотворения. Отщепенец перешел на содержание империалистических разведок, а картина между тем поднялась в цене вдвое. С сахаром?

— Нет.

— Жратву не предлагаю, нечего. Что отмочила наша Ирина, уже в курсе?

— Ирина? Я еще не видел ее.

Женька как-то странно смотрит на меня.

— Не видел?

Мы полулежим в глубоких креслах у низенького столика. Изящнейшие светильники проецируют на столик приятную голубизну, мы же в тени, и только наши руки с приплюснутыми керамическими чашками периодически путешествуют из темноты на свет и обратно. Комната тоже в полумраке, и лицо Женьки напротив меня — будто одна из экспозиций в этом уютном минимузее редкостей и дефицита. Так уютно, что не хочется разговаривать.

— Проинформирую тебя, что выкинула наша Ирина.

Меня немного коробит его панибратский тон по отношению к Ирине, у нас даже крупное объяснение было по этому поводу. Сейчас у меня, правда, нет причин для ревности, но все же отчего-то покалывает. Увы, такова наша натура...

— Примчалась она с оператором к некоему замку в горисполком, камеру ему в морду, и этак на полном серьезе: „Иван Иванович, год назад вы дали слово избирателям, что такой-то объект будет сдан к такому-то сроку. Год прошел, а воз и ныне там, так поведайте нам, когда же, наконец... и по какой причине...” и так далее. Представляешь, Иван Иванович, откормленная номенклатура, в растерянности моргает в объектив и пальцами показывает ножницы — дескать, вырежете потом этот кусок. Ирина ему отвечает, что ничего вырезать не будет. „Тогда я вам ничего не скажу!” — говорит номенклатура, берет ручку и чертит на бумаге. Ирка подмигивает оператору, тот подъезжает и дает чертиков крупным планом. И все это пошло в эфир. В итоге Ирка срочно в отпуске, номенклатура в инфаркте, домохозяйки и заслуженные пенсионеры гогочут по микрорайонам. Как тебе нравится?

— Зарвалась, — говорю я. — Это ей не пройдет.

— Пройдет, — авторитетно заявляет Женька, — хотя и небесследно. Но я уже принял меры.

И он многозначительно подмигивает. Одно из чудес нашей действительности — участковый милиционер говорит с Женькой пренебрежительно и на „ты”, дважды его пытались притянуть за тунеядство, и притом он действительно имеет возможность повлиять на решение администрации центрального телевидения. Я могу только в слабых контурах представить себе ту сложнейшую схему знакомств и блата, к которой подключен Женька, и не могу им не восхищаться. Хотя мое восхищение далеко от доброжелательства, но сейчас — пусть ему карты в руки. Ирину нельзя допустить до беды. Я тут бессилен, а Женька — может.

— Так ты ее еще не видел? — снова спрашивает он, и мне не нравится его вопрос.

— Нет, а что?

Женька уклоняется от ответа.

— А как твои поживают?

— Люськиного хахалю посадили, — говорю и тут же жалею о сказанном.

Женькина реакция мне известна заранее.

— И правильно! — зло говорит Женька. — Сажать их надо, дураков! Пусть не мутят воду. Вода и без того слишком мутная, чтобы умный человек мог спокойно рыбку ловить.

Я даю себе слово не спорить и, тем не менее, подключаюсь.

— Чем они тебе мешают?

— Мне они не могут мешать, — снисходительно говорит Женька, — щенки они все, даже самые почтенные. Попросту — глупцы. Отвечу, отвечу, не скрипи зубами. Я считаю, что наше государство, — именно такое, какое есть, — идеальное государство для творческого интеллекта. Но именно для интеллекта. Не будем апеллировать к широким народным массам, пойдем в виду меня. Я, старик, живу полностью в свое удовольствие. У меня хватает энергии и ума, чтобы добиваться всего, что пожелает моя прихотливая душа. Наша система не погрязла в экономике, как Запад, и потому экономическое положение личности не является определяющим в ее оценке. Между нами, что такое есть — я? Я авантюрист. Существует мнение, что место авантюриста — на Западе. Чепуха! Что найдет деловой человек на истоптанных тропах! Наше же государство, старик, достаточно идейное, чтобы под треск идей разрешить деловую инициативу. Государство слишком много энергии тратит на идейном фронте и достаточно ценит идейную консолидацию с ним, оно готово смотреть сквозь пальцы на некоторые экономические шалости единомышленников. В этом государстве

только дурак и лодырь не могут реализоваться. Если б меня прельщала партийная карьера, я бы уже был в ЦК. Игру надо любить и уметь в нее играть. Кто выступает против нашей системы? Те, у кого не хватило способностей проиграть какой-нибудь вариант самореализации. Они трещат о правах. А кому, кроме них, нужны эти права? Мне — не нужны, сохрани Бог! Вместе с этими правами к власти пришли бы трепачи — и залихорадили бы так прекрасно настроенную машину. Может быть, народные массы нуждаются в правах? Да это еще счастье правокачателей, что их суды судят, а не широкие сознательные народные массы. Или, скажешь, тебе они нужны, эти права? Ну, честно, тебе они нужны для счастливой жизни?

Я лишь пожал плечами.

— То-то, старик, счастье — иллюзия, а коли так, на кой хрен нужны какие-то права! Все эти борцы — они же сплошные комплексоиды...

— И ученые тоже?

— А почему нет? И потом, насколько я знаю, их не так много, их можно посчитать за флуктуацию, говоря научным языком, а простым — за исключение. И степень учености вообще не характеризует личность. А насчет государства, я тебе даже больше скажу. Мне интересно в нем. Интересно пробиваться сквозь его запреты и оговорки, даже надувать его, вон ведь какое оно могучее, а ты песчиночка, дрожишь на ветру, а звенишь как хочешь! В этом — интерес, это здоровое соперничество структуры и элемента. Признаюсь, жалею, что не жил в сталинские времена. В то время выжить — вот где нужно было крутиться, работать мозгами, бдеть каждую минуту! Сейчас-то что! Расслабляешься иногда, даже противно становится.

Я немного обалдеваю от его речей.

— Ты что-то порешь такое... Сам, поди, не веришь в то, что говоришь.

— Извини! — Женька разворачивается в кресле, нависает над столиком, тень от его бороды удлиняется и уродливо расплывается от одного угла столика до другого.

— Извини, это мое кредо. Я считаю себя настоящей личностью, потому что я один на один с этим государством, и я не хнычу, что оно меня обижает, бедненького, слабенького. Я с ним на равных. Где-то оно меня прижмет, где-то я ему наставлю рога, но в целом у меня с ним — деловое сотрудничество. Оно претендует на идею, и я обеими руками голосую за советскую власть, за каждую марксистскую аксиомку, с меня не убудет, я искренне заинтересован в процветании этого государства, именно идеологического, марксистского, потому что в нем мне все понятно. И государство ценит эту мою уступчивость, оно же понимает, что это уступка, что интеллектуальный человек не может всерьез принимать всю его идейную чепуху, рассчитанную на мозговой вакуум, и оно молчаливо благодарит меня, а дальше — от меня зависит, сумею ли я воспользоваться его благодарностью.

— Я считал моего отца циником, но что он в сравнении с тобой! Ты — апостол цинизма.

Женька снисходительно усмехается.

— Ты слишком долго якшался с провокаторами, от них у тебя привычка вешать ярлыки. Но я не возражаю, я только скажу тебе, что если ты не выживешь, поломаешься, государство будет ни при чем. Если ты слаб, то тебе и должно сломаться, святое дело государства — поломать тебя, если в тебе нет собственной силы. Трагедию наших интеллигентов я так понимаю: честолобия — навалом, а силы для его реализации — крохи. Диспропорция. Вот ты...

— Женька, — перебиваю я. — Принципиально с тобой не спорю. Я по делу пришел.

Лицо его изображает изумление.

— А я только что подумал, чего это ты меня за бороду не хватаешь? А, кстати, как ты находишь мою бороду? Некоторые говорят, что я похож на Владимира Соловьева. Еще кофе?

— Остыло уже...

Женька хватается обеими руками кофеварку.

— Сойдет. Так чего тебе, старче, надобно?

— Халтура нужна. Срочно.

— В каком диапазоне?

— До четырех тысяч.

— Ого! — уважительно произносит Женька. — Думаем, соображаем, догадываемся. Затевается квартирное дело? Угадал? А раз квартирное, значит, женишься.

— Женюсь, — отвечаю я неохотно.

— Так...

Странное дело, Женька взволнован, я знаю примету — он начинает водить усами, как таракан.

— Значит, женишься. А у Ирины жить не хочешь?

Я молчу. С Ириной мне еще предстоит встреча, и я сам должен ей все сказать. Женька же немедленно позвонит ей. И я молчу.

Ты прав, — он брезгливо морщится, — не кофе, а помои. Обойдемся? Неохота по новой заваривать. Значит, халтура...

Он смотрел на меня, то ли вспоминая что-то, то ли обдумывая, но взгляд его все же странный...

— Знаешь, старик, — говорит он с необычной серьезностью, — я, похоже, проиграл пари. Самому себе проиграл. Ну, это не по делу... Можешь заранее меня благодарить. Отдаю тебе свое кровное.

Он через столик хлопает меня по плечу, и у меня с плеч гора, в делах Женька человек верный.

— Рыбалку любишь? — спрашивает он неожиданно.

— Не выношу.

— Придется полюбить, и не когда-нибудь, а с завтрашнего утра. Сиди, я сейчас.

По стуку передвигаемых стульев и хлопанию дверей понимаю — полез на антресоли. Не очень-то соображаю, при чем здесь рыбалка, но если Женька говорит, значит, по делу. Он появляется со складным удилищем и туго набитым мешочком.

— Пойдешь завтра вместо меня. На готовенькое идешь, цени! Даже мотыль свежий в наличии. Значит, так: место явки — пруд в Царицынском парке с противоположной стороны от входа. Внешние признаки резидента — однорукий, возможно, в нетрезвом состоянии. Открой мешок.

Я расстегиваю резинку и вижу бутылку водки.

— Это пароль, — говорит Женька. — Далее действовать по обстановке. Всё.

— Нельзя ли подробнее?

Женька плюхается в кресло, так что ноги взлетают вверх.

— Темный ты человек, Гена. Знаешь ли ты, какое у нас преддверье нынче на дворе?

Я терпеливо молчу.

— Не знаешь. А зря. Потому что у нас на дворе всегда какое-нибудь преддверье. В прошлом году было преддверье очередного партийного съезда. Нынче же, темнота, мы живем в преддверье круглой годовщины со дня победы над бешеным фашистским зверем. Следовательно, что? — Он поднимает вверх указательный палец. — Следовательно, в текущем году военной теме особо зеленая улица. Калым, что из любезности уступаю тебе, за пределами твоих жалких четырех тысяч. Будешь умником — возьмешь десять. Проводку гарантирую. Уже обговорил с редактором „Молодой Гвардии”.

Я поражен Женькиной щедростью. Спрашиваю не без подозрения:

— А тебе что, эти десять — лишние?

— Увы! — вздыхает он. — Лишними деньги не бывают, но сейчас у меня по горло престижной работы, можно и надорваться. Так что давай! Плановую заявку должен сделать за пару недель. А там — договор, аванс, сумма прописью...

В принципе мне уже все ясно. Можно считать — повезло, при желании можно уложиться в два месяца. Сдаю командировку, увольняюсь, два месяца адской работы, на это я способен — и первые проблемы решены. Новую работу поможет найти все тот же вездесущий Полуэктов.

— А почему тебя зовут „Полуэтот“? — вдруг спрашиваю я.

Женька прищуривается.

От кого слышал?

— От Ирины.

— И как она относится?

— Тоже не знает, почему.

— Объясню. Все просто. Я полукровка, или как сейчас говорят — полтинник. Полуюеврей, значит.

Я впервые слышу об этом.

— Так наши антисемитики выражаются... Но я не обижаюсь.

Я чувствую себя неловко, надо бы что-то сказать...

— Я лично, — продолжает Женька, — признаю за антисемитизмом право на существование. Так же как и за собой оставляю право натягивать антисемитам носы. Люблю борьбу за существование! А евреи, я тебе скажу, тоже не мед. И когда я оставляю с носом какого-нибудь еврея-пройдоху, я тоже испытываю удовлетворение. В своем „полу“ я нахожу великое преимущество — свободу от каких-либо обязательств перед обеими составными моей

крови. Будущее человечество, если только у него есть будущее, принадлежит таким, как я. Хладнокровие и объективность — вот что принесут человечеству гибриды. Я не оскорбляю твоего цельно-расового чувства?

Я пожимаю плечами. Какой же это прекрасный жест, как выручает он в затруднительных положениях.

— Так когда ты увидишь Ирину? — меняет Женька тему разговора.

— Завтра, наверное...

— Если позвонит, сказать, что ты приехал?

— А она часто тебе звонит?

Вопрос вылетел сам собой. В уме я несколько раз повторяю: „Мне это безразлично. Меня это не касается”.

— Бывает. Надеюсь, ты не ревнуешь?

Очень мне не нравится Женька, когда речь заходит об Ирине. Что-то в его голосе появляется незнакомое, не понятное мне и очень неудобное. Я не ревную, сейчас это даже смешно. Но неприятно. Я, однако, стараюсь этого не показать.

— Так значит, можно сляпать книжку? — ухожу я от скользкой темы.

— Элементарно. Этот одорукий — находка. Главное — расколи его на треп.

— Говорлив?

— Даже слишком. Потому доверяй, но проверяй.

Все сказано, и мне пора уходить. Я поднимаюсь, и Женька не возражает. Мы одинаково быстро надоедаем друг другу. Женька для меня слишком сложен, я для него слишком прост.

Снова ненавистная мне процедура переобувания, введенная в обычай московскими чистоплюями. Я аккуратно ставлю тапочки на место, долго зашнуровываю ботинки, а Женька стоит надо мной, попыхи-

вая сигаретой „Мальборо”, и я чувствую, что ему очень хочется еще что-то сказать, я даже догадываюсь, что об Ирине, но делаю все, чтобы он не раскрыл рта, — проклиная шнурки ботинок и отечественную обувную промышленность, потом торопливо прощаюсь и вздыхаю облегченно, когда за спиной щелкает замок.

На улице заскакиваю в первую же телефонную будку и звоню Ирине. Она рада мне, хотя голос деланно вялый и равнодушный.

— Бери такси, я заплачу, — говорит Ирина. Раньше, не будь у меня денег, я так бы и поступил. Сейчас это вдруг задевает мою гордость. У меня еще около пяти рублей в кармане, и я холодно отвечаю, что вполне кредитоспособен, но не поздно ли, и чувствую, как она настораживается.

— Пожалуй, — отвечает Ирина, и мне становится жаль ее. И все-таки лучше все сделать сегодня.

— Минут через сорок буду, — говорю я по возможности деловито, хотя сердце у меня сжимается... Чем я могу успокоить себя, подготовиться к трудному разговору? Наверное, тем, что не было у нас никаких особых чувств. Я для нее слишком размазня, она для меня слишком деловая. Мы связаны с нею почти тремя годами, не раз я предлагал ей оформить наши отношения — она отшучивалась, быть может, надеясь, что ее в жизни ждет нечто большее, чем я. Как ни странно, меня это не обижало, мне самому казалось, что у нас с ней не слишком серьезно.

Но кажется, мы за эти годы срослись во что-то одно, и больно будет обоим. Рвать придется по живому. А еще больше мне не хочется, чтобы она чувствовала себя оставленной. Бывает же, когда двое расстаются по взаимному решению, или даже ненавидя друг друга. У меня же все не как у людей, не-

пременно сложность, обязательно испытание... Можно было бы, конечно, объясниться по телефону или по почте, скорее даже по почте, письмо тщательно продумать, отточить фразы, в письме не присутствует голос, не участвуют глаза... Но с Ириной так нельзя. Меня даже пугает, насколько живо то, что мне предстоит разрубить.

— На рыбалку? — спрашивает таксист, глядя, как я корячусь на сидении в обнимку с удочкой.

— Завтра.

— На Автозаводской, говорят, караси в полкилограмма, только жрать их нельзя, керосином пахнут.

Разговорчивый таксист для меня кара небесная. Я откидываюсь на сидении, делаю вид, что дремлю.

Сегодня надо покончить со всеми делами, — так говорю я себе, хотя какие у меня дела, кроме Ирины? Но с ней откладывать нельзя. Женька и Люська ей звонят, она узнает, что я приехал... Я убеждаю себя, что все правильно делаю, чтобы в последний момент не струсить, не отложить.

Вот уже ее район, здесь все напоминает об Ирине: и кинотеатр, и кафе, и скверики, и просто улицы и дома из той жизни, что кончилась с моей последней командировкой...

В прихожей, только взглянув на нее, вижу: она подозревает, предчувствует. Традиционный поцелуй не состоялся и не по моей вине, я потянулся было, но она, очень естественно, отшатывается, машет руками.

— Я намазалась.

Раньше она никогда не делала этого перед моим приходом.

— С рыбалки, что ли?

— Завтра собираюсь. Женька халтуру подкинул.

Я всматриваюсь в нее, делая это так, чтоб она не

почувствсвала моего взгляда. Я всматриваюсь и давлюсь жалостью. В сравнении с Тосей она не просто проигрывает, она вообще не смотрится, и мне ужасно обидно за Ирину — и стыдно, что я сравниваю ее с другой, которая просто моложе. Мне кажется, что она не заслуживает, чтобы ее с кем-то сравнивали.

Крашенные волосы ее, как всегда, немного растрепаны. Она носит „прямую” прическу, то есть ничего с волосами не делает, а только расчесывает их вдоль плеч. Надо бы ей делать прическу, ведь волосы хорошие, что угодно можно сообразить. Но разве у Ирины найдется время для прически? Разве можно сравнить ее ритм жизни и Тоси? У Тоси на все времени много, оно течет вокруг нее медленно и плавно. А вокруг Ирины вихри и смерчи, я бы сказал — суета, но сейчас не хочу о ней ни одного недоброго слова. Я вижу все морщины у глаз и у губ, и какую-то замученность в походке, и ту самую деловитость, что скрадывает наполовину ее женственность. Ничего этого мне бы сейчас лучше не видеть!

— Есть хочешь? — спрашивает она.

А раньше просто говорила: „Сейчас покормлю!” Мне кажется, она что-то чувствует, к чему-то готова. И это еще больше осложняет мою задачу. Я ловлю себя на желании убедить ее, что ничего не произошло, и запутываюсь в сетях собственной нерешительности.

— Что ты натворила в студии? Женька мне в общих чертах нарисовал...

Пошло говорить о второстепенном, а главное оставлять на потом, как камень за пазухой. И она дает мне понять, что видит мое влияние.

— Во всяком случае это не столь серьезно, чтобы об этом говорить после столь долгой разлу-

ки. — И переспрашивает настойчивей: — Есть будешь?

Я как назло до головокружения хочу есть. Но невозможно же в такой момент. А отказаться — тоже какая-то жалкая демонстрация.

— Кофе, пожалуй, — отвечаю я неуверенно. Хотя кофе я совершенно не хочу. Я теряюсь все более и злюсь на себя.

Она, Ирина, в сущности, жена мне и демонстрирует это сущим пустяком:

— У Женьки когда был?

— Только что.

— Пил кофе?

— Пил.

— На сегодня хватит. Так есть будешь?

Такой своеобразный щелчок по носу. Не юли и будь мужчиной. И я говорю решительно.

— Нет, есть не хочу.

Лицо ее на мгновение каменеет, и тут же она вновь сама собой.

— Пойдем в комнату.

Она гасит свет на кухне, и мы проходим в комнату. Я сдерживаю себя, чтобы не плюхнуться на кушетку, спокойно сажусь в кресло. Мне нужно сосредоточиться, но отвлекает комната, где мне хорошо было с Ириной. Я знаю, что мне нужно сделать — на минуту зажмуриться и отчетливо представить Тосю. Я вижу ее, сонно танцующую со мной под магнитофонный визг, ее чуть сонное лицо, застывшее в полуулыбке, счастливой и чистой, и руки, прижатые к груди.

— Поговорим, это не я, это Ирина начинает вдруг и присаживается напротив меня на краешек кушетки. Она хочет взять инициативу на себя? Я не могу этого позволить. Я боюсь потерять ее уважение. Но я ничего не успеваю. — Такие дела, Геночка,

— говорит она, глядя мне в глаза, — пока ты был в своей длительной командировке, произошли некоторые события.

И я поддаюсь.

— Какие?

Она усмехается, она понимает, что я поддался. Играть будет она.

— Я сошлась с другим человеком.

Даже глаза опускаю, мне жалко Ирину, мне стыдно за нее, что она вынуждена так играть.

— Надеюсь, — продолжает она все с той же усмешкой, — мы избежим шумных объяснений?

Я поднимаю голову, смотрю в ее настороженные, в ее дорогие мне глаза, и мне хочется упасть перед ней на колени и просить прощения, а после прощения, которое, конечно же, последует, просить благословения на счастливую жизнь с другой!

— Я тоже хотел тебе сказать... — бормочу я.

— Как, и ты тоже? — спрашивает она с откровенным притворством.

— Ира... — бормочу я растерянно, вскакиваю с кресла, делаю шаг к ней. Она смотрит на меня, а я, накальваясь на ее взгляд, содрогаюсь от... От чего? От любви к ней?! Но это нелепость! Или, просто, жгут меня те три года, что мы были вместе. Привычка (я хочу надеяться, что это только привычка), как что-то живое, поселившееся во мне, не хочет умирать, колотится и бьется, и жалит.

— Но это же хорошо, Гена! — говорит она. — Мы останемся друзьями. У нас ведь и не было ничего серьезного. Тем более, — она опускает голову, — что у меня, кажется, будет ребенок.

— От кого ребенок? — спрашиваю я внезапно осипшим голосом.

— Я же тебе сказала, я сошлась с другим.

— Ира, говорю я с угрозой в голосе, — если это игра, то неумная.

Она делает большие глаза.

— Понимаешь, все было очень необычно, ну, ... не так, как у нас с тобой, и я похалатничала. Но я не жалею.

Я перестаю что-либо понимать. Сажусь в кресло основательно и удобно. Мне нужно преодолеть шок, собраться с мыслями и усвоить Иринин сюрприз.

— Кто он? То есть, от кого ребенок?

— Тебя это не должно интересовать, Гена, — говорит она вкрадчиво. — Как я поняла, у тебя тоже кое-что изменилось.

— А меня, представь себе, интересуется, от кого у тебя ребенок, потому что... я... потому что, если все это правда, то ребенок может быть моим...

Она хочет что-то сказать, но я перебиваю ее своей мольбой:

— Ира, не лги мне! Я все равно не поверю!

— А когда рожу поверишь? — Это она говорит достаточно холодно и даже зло. — Успокойся, ты знаешь этого человека. Но я его пока не назову, потому что он сам еще не знает да и я не совсем уверена. В понедельник пойду к врачу.

Что же это? Ирина мне изменила, да еще с кем-то из моих знакомых. Я пытаюсь новыми глазами взглянуть на эту женщину, и постепенно в мозгу возникает, вырисовывается слово „катастрофа”. Если все правда, значит, я совершенно не знал Ирину, значит, она вся, решительно вся осталась для меня неузнанной. Я пытаюсь вспомнить последние дни перед моим отъездом, как я от нее уезжал на вокзал, а она заказывала такси, и такси пришло немного раньше, чем ожидалось, и мы оба были этим раздосадованы. Она, правда, не провожала меня, как обычно, но была ночь... Тут я спохватываюсь и гово-

рю себе, что безоблачность нашего прощания не помешала мне самому влюбиться в Тосю. Но, чёрт возьми, Ирина же не влюблена, да и нет среди моих знакомых никого, к кому бы я мог ее ревновать! Женька? Но они сто лет знакомы. Ничего нового у нее с ним быть не могло...

— Ира, если ты все это придумала...

— Хватит, Гена, — обрывает она меня устало и с какой-то болезненной гримасой. — Хватит. Я тебе сказала все. Про тебя я не спрашиваю, потому что для меня это уже не имеет значения. И уже поздно...

Злоба захлестывает меня, я уже не думаю ни о какой справедливости, я просто не могу проглотить эту обиду.

— Да, у меня тоже изменения. Я влюбился, как мальчишка. Влюбился! А ты? Тоже будешь говорить, что влюблена? Знаешь, ты кто?!

— Я будущая мать не твоего ребенка. Ты же интеллигентный человек, ты именно это хотел сказать?

Я вижу, она сейчас заплачет, я знаю, она будет плакать, когда я уйду, я не понимаю только, почему она будет плакать. Мне нужно уходить, скоро закроется метро, а на такси у меня больше нет денег, но уйти я не могу.

— Не уйду, пока не скажешь мне все.

— Как хочешь.

Она поправляет волосы, отворачивается, но я догадываюсь — слезы.

— Можешь оставаться, — говорит она, приняв какое-то решение, — спи на кушетке.

Она быстро уходит в спальню и мгновенно закрывает за собой дверь. Я врываюсь за ней.

— Не смей входить, — говорит она тихо, но решительно. А лицо уже в слезах, они выплеснулись в одно мгновение, как только она закрыла за собой дверь!

Я переполнен жалостью и раскаянием. Я забываю обо всем, сжимаю ее плечи.

— Не смей прикасаться ко мне, — шепчет она.

— Молчи! — отвечаю я тоже шепотом. — Ты действительно беременна?

Она кивает.

— И это мой ребенок, да? Ну, мой же?

— Нет, — еще тише говорит она, — не твой.

— Тогда скажи, кто он? Я прошу! Я очень прошу!

Она осторожно высвобождается, отходит к дивану, над которым висит в грубой раме подлинник известного и модного художника, о котором Ирина когда-то делала репортаж. Помню, с каким бешенством я принял появление этого подарка с дарственной надписью: „Очаровательнейшей из женщин”... Это была весна нашего с нею романа. Я поносил этого художника, как только мог, она только смеялась. Уж не этот ли художник?..

Рядом с диваном шкаф, Ирина открывает дверцу и подает мне плед.

— Иди туда, я принесу постель.

А мне бы сейчас в мою комнату! Я устал от загадок, и вообще устал, день был не из легких. Но брать у нее деньги на такси... Я устал. Я хочу спать. Депрессия...

*

Любимый мой!

Я получила твое письмо. И плакала. Совсем другие слова, и все другое, и я не слышу тебя! Если я получу еще такое письмо, значит все, что было, приснилось мне. Папа говорит, что очень трудно положить на бумагу думы человеческие. Ему иногда приходят в голову такие проповеди, что если бы их произнести в храме, сколько зла не сде-

лалось бы людьми! А начнет писать, и ничего не получается.

Но это же совсем другое дело, правда? Ведь умная проповедь, это больше от ума. А если от сердца, то разве бумага помеха?

Я молюсь, чтобы все тебе удалось, хотя не понимаю, зачем столько много денег! Но тебе виднее. Только прошу тебя, не пиши мне таких писем! Я боюсь их!

У нас так же тепло, а по телевизору говорят, что в Москве дожди. Показывают Москву, улицы, и я смотрю, вдруг ты идешь...

Я люблю тебя! Я молюсь за тебя, Любимый!

Я уже устала без тебя!

Твоя

2

Уже неделю я вкальваю, как проклятый. В музее со мной расстались без особого сожаления. Я и не рассчитывал на другое, но было обидно.

Раньше не замечал, а сейчас подумалось, что такая принципиальная ненужность, это, должно быть, дефект воли. Литературные „лишние люди” мне всегда казались плоскими и пошлыми. По-моему, только наше время выявило простую истину, что в противостоянии личности своему времени нет ничего оригинального и уж тем более выдающегося. Все это становится похожим на затасканный сюжет, — та же поза, те же слова, — и я сильно подозреваю, что все эти „лишние”, о которых столько намото рассуждений, выстроено концепций и исписано бумаги, были очень похожи на меня, ну, а себе-то цену я знаю! Я просто размазня, у меня слишком много чувств, чтобы хоть какое-нибудь из них стало моей волей. Но хочу я всего того же, что и прочие, не

„лишние”, — какого-то успеха, уважения, любви и, пожалуй, именно в такой последовательности. По крайней мере, так было до сего времени.

Сейчас я делаю ставку на любовь, мне нужен тыл, прочный, надежный, куда при случае можно исчезнуть из основного мира, если он осточертеет. Само сознание, что есть, куда отступить, должно придать легкость слову и делу, привнести своеобразный игровой момент. Неудачники, по-моему, это люди, слишком серьезно относящиеся к своей деятельности, к своим поступкам и реакции на них. Подлинный успех должен быть немного театрализован. И только в тылу, в семье должно быть все прочно, естественно. И вот я делаю ставку на любовь. Я ставлю карту на Тосю, поповскую дочку. И вот я делаю последнюю свою халтуру, которая обеспечит мне материальную базу для устройства гнезда.

Правда, дело оказалось серьезнее, чем я думал, и я побаиваюсь, как бы мне не увязнуть. Каждое утро, прежде чем начать работать, я повторяю себе, что делаю „халтуру”, что это калым, что увлекаться этим нельзя, потому что и те, для кого я это делаю, тоже ждут от меня только „халтуру”. И все же, кажется, увязаю...

Все началось чисто, по Женькиному плану. Однорукого я нашел быстро. Пристроился рядом, и, по счастью, не было клева. Я достал бутылку, предложил. Потом — вопросик, другой, и вот у меня сюжет для проходной, тиражной книжицы! Андрей Семеныч — бывший дивизионный разведчик. Когда он начал повествовать мне о своих подвигах, я подумал, что заливает, но у себя дома он показал мне свой орденский иконостас. Жена его, Полина Михайловна, ни во что не ставит былые подвиги супруга и проклинает его пристрастие к рыбалке, которая каждую осень укладывает его в больницу.

На мое предложение написать о нем он ответил серьезно и с достоинством: „А чего? Кино смотрю, книги читаю про войну, у меня кое-что и похлеще бывало. Валяй!”

Нынче военной темой забита вся пресса. До меня эта тема дошла через Ремарка. Что действительно интересно для меня из всей памяти о войнах, так это отношение к смерти. Вечерами, обрабатывая магнитофонные записи, вдруг в какой-то фразе или даже интонации моего героя улавливаю что-то глубоко философское, бездонное по смыслу, сталкиваюсь с психологией незнакомого, непонятого мне бытия. Вот, например, такая фраза: „Доползли мы с этим армянином до бугра, и тут очередь. Прижались. А время-то — секунды остались! Я его локтем в бок, поперли, мол, дальше. А его уже и нету. Пополз один”.

Я снова и снова слушаю о том, как он „пополз один”, и не могу понять, почему эта фраза вызывает во мне дрожь. То ли, что в течение секунд был какой-то армянин и не стало, то ли, что через секунду второй пополз дальше, как будто ничего не случилось? Мне хочется понять, что такое привычка к смерти, ведь героизма здесь, пожалуй, нет, то есть нет волевого преодоления. Я думаю, что миллионы не могут быть героями и термин „массовый героизм” такая же нелепица, как „массовая гениальность”. Но и привычка — тоже не точно, потому что страх смерти не исчезал, он был... Я боюсь смерти и поэтому не смогу пройти по карнизу девятого этажа, какая бы в том ни была необходимость, страх становится моей волей, и эта воля не даст мне шагнуть на карниз. Что же происходило с психикой людей на войне, если страх не становился их волей? Может быть, действовала другая, более могучая воля, а скорее всего, она была составной из ненависти,

команды и неизбежности? Еще вера в удачу. Еще профессионализм...

При встрече всматриваюсь в лицо Андрея Семеныча, в его фотографии военных лет, и пытаюсь понять или догадаться, что у него было определяющим в его привычке к смерти, к своей смерти и к чужой. Спрашивать бесполезно.

У него двенадцать наград за боевые действия, или так называемые подвиги, и я раскладываю их по типам. Два из них — чистая удача, которая могла выпасть каждому. Пять — итог высокого профессионализма. А вот остальные пять — результат риска, игры с жизнью, их я уверенно назову подвигами, то есть действиями, противоречащими инстинкту самосохранения, самому могучему инстинкту всего живого. И об этих подвигах я выпрашиваю его особенно тщательно, придирчиво, заставляю копаться в памяти, раздражаю его своими расспросами. Он не может понять, чего я от него хочу, да и сам я не очень-то отчетливо сознаю, что пытаюсь найти, уловить в чужой памяти. Словно что-то здесь касается меня самого, будто не в нем, бывшем солдате, жажду я разобраться, а в себе, ... но что мне до войны, у меня войны не было. Но вдруг заползает сомнение, так ли это.

Короче, есть опасения увязнуть в материале. И я снова вдавливаю себе: это халтура, это калым, и нос следует держать строго по ветру, то есть по конъюнктуре. А конъюнктура требует от меня всего лишь сносного описания фронтовых подвигов дивизионного разведчика во имя социалистической родины. И мне жаль, что приходится работать на конъюнктуру, когда в руки сама идет тема, на которой можно выложиться с потрохами. Но — кому это нужно?

А между тем, этот Андрей Семеныч меняется у

меня на глазах. Куда-то девается пустое балагурство и загнанность, что была во всем — в фигуре, в походке, в голосе. Он выпрямляется, а в его глазах, вчера еще робко моргавших, слезившихся, сегодня будто и цвет появился, и блеск, и прищур этакий, обращенный куда-то в себя, и я не узнаю того безрукого выпивоху и болтуна, которого встретил на рыбалке в Царицынском парке. Кстати, как раз вчера мы снова побывали с ним на рыбалке, и надо было видеть, как он разговаривал с рыбаками и со мной в их присутствии, как держал удочку, и как несуетливо, без былого хвастовства, снимал карасей с крючка...

Вчера же он поразил меня еще одним рассказом, а вернее, признанием. Я перед этим рылся в архивах, куда отец выбил мне доступ, и установил некоторые хронологические неточности в рассказах Андрея Семеныча. Об этом я сказал ему, и он обиделся и насторожился.

— Значит, провераешь, не брешу ли?

Я объяснил ему как можно тактичнее, что если он, скажем, перепутает сентябрь с декабрем, то ничего страшного, но если я в книге допущу эту неточность, это брак в работе, за который мне будет стыдно, когда на него укажут. Андрей Семеныч некоторое время молчал хмуро, а потом со вздохом сказал:

— Одну туфту я тебе кинул, чего доброго докопаться в этих архивах, кто знает, что там хранится про нас. Не на mine я руку оторвал. По-другому это было.

И вот, что он мне рассказал: по развалинам дома, заросшего бурьяном, ползет человек, ему нельзя ни на сантиметр оторваться от земли, и вдруг удар в руку, а под рукой что-то скользкое, извивающееся, и еще удар, и вскрикнуть нельзя — смерть! Так, с

дважды укушенной рукой, он ползет дальше, рука немеет и опухает на глазах. „С тех пор змей видеть не могу. И если б мне руку не оттяпали, воевать все равно не смог бы. Земли боюсь. Травы боюсь. На всю жизнь. Везде змеи мерещутся. В кино змею увижу, трястись начинаю. Из деревни уехал, где родился да пацаном рос. Ненавижу землю! Теперь только на асфальте себя нормально чувствую. На пенсию не проживешь, картошку с женой сажаем за Востряковым. Сажать еще ничего, а копать... Все промеж кустов что-то ползает. Такое дело”.

Андрей Семеныч не понимает, какая это будет выигрышная страница. Наконец, что-то живое. Какие причудливые вещи случаются на войне — из-за чего мог крестьянин возненавидеть землю!

Но боюсь, у меня это вычеркнут, мне нужно гнать мою конъюнктуру, и я начинаю испытывать стыд.

Вся надежда на моего отца, он знает ключ, как мою вынужденную халтуру превратить в феномен нормы.

Я стучусь к нему и слышу: „Входи!” Это значит, отец не работает и готов говорить со мной. Он сидит на диване с книжкой в руках и жестом приглашает меня шлепнуться в его рабочее кресло, настолько удобное, что я в нем никогда бы работать не смог.

--- Расскажи о войне, — говорю я коротко.

Отец удивленно вскидывает брови, а затем молча указывает на полку, где выстроена военная мемуаристика и прочие книги о войне.

-- Нет, — отвечаю я, — расскажи о своей войне. Что для тебя была война?

— С чего это ради? — удивляется он.

Халтура у меня на военную тему.

Отец не видит в моих словах кощунства, он реалист.

— Но ты же знаешь, моя война не в счет. У меня одна медаль „За победу”, которую давали всем.

— Но ты несколько раз писал заявления, просился на фронт. Почему?

Он пожимает плечами.

— Мне было девятнадцать. Кругом фронтовики в медалях и орденах, brave, речистые. Я же салага, тылови́к. Девушки на таких не смотрят. Я даже был огорчен, когда война кончилась. Щенок был.

Да, мой отец не источник информации.

— Тогда скажи, столько лет прошло, почему наше мирное сообщество по сей день играет в войну: студенческие десанты, отряды, бойцы, командиры, погоны, и в кино взрывы и выстрелы? Почему нужно все это помнить и ничего не забывать? Почему нормальная мирная жизнь не рождает у нас символов и приходится спекулировать на военной тематике?

Отец задумывается, это с ним редко случается, обычно ответ у него на языке. Я так и спрашиваю:

— Ты в затруднении?

— Пожалуй, — соглашается он, — не знаю, на каком уровне тебе ответить.

— На твоём, разумеется.

— Видишь ли, система наша является замкнутой, так сказать, по определению, то есть замкнутость есть своеобразная необходимость ее совершенствования. И в некотором смысле враг мой — друг мой. Чем отчетливей лики наших врагов, тем крепче мы стоим на ногах. Улавливаешь?

— Ты хочешь сказать, что разрядка не в наших интересах?

Ясные отцовские глаза искрятся иронией.

— Ваше поколение пренебрегает диалектикой, а зря. Диалектика тренирует мысль, учит рассматривать явления с разных точек отсчета. Разрядка —

на пользу социалистическому лагерю, а напряженность цементирует социалистическую структуру. Поэтому социализм и непобедим. Понятно?

Я тупо смотрю на отца. Глаза его смеются, и мне кажется, что надо мной потешается нечто иное, огромное, непостижимое — и могущественное.

— Разрядка привносит в нашу экономику перспективы, возможности роста, но она разбалтывает структуру, и очередная холодная война, которую, конечно, объявляем не мы, а те, кто раздосадован нашими выгодами в разрядке, вызывает к жизни центростремительные тенденции. И новым букетом... — Отец поднимает палец вверх. — ... новым букетом расцветают все цветы социализма, а все приобретенное в период разрядки остается при нас. История работает на социализм. Осознают ли это малявки, фыркающие на величайшую реальность истории?

Отец уже откровенно смеется. Я не смеюсь.

— Допустим, но при чем здесь военная символика?

— При том, что социализм побеждает тогда, когда защищает свои завоевания.

— Ты можешь говорить проще? — я уже злюсь.

— Проще, Гена, можно говорить о простом. Коли уж у нас военная тема на повестке, я бы сравнил социалистическую тенденцию с пулей нарезного оружия. Убойность и дальность такой пули зависит от ее вращения, заданного нарезами в стволе. Торжество социализма зависит от степени ортодоксальности его структуры. Заметь, наш строй пользовался наибольшей популярностью в мире именно тогда, когда он был, ну, скажем, не очень-то привлекателен, я имею в виду сталинскую эпоху...

— Ты хочешь сказать, что сталинизм — это ортодоксальный...

— Ни в коем случае, — поспешно перебивает отец, — все эти ГУЛаги лишь издержки становления.

— Щепочки?

— Издержки! — не соглашается он. — Ортодоксальность социализма многогранна. Но цели в то время были очерчены яснее и определеннее. Бескомпромиссность — это самая обаятельная сторона социалистического идеала. Ваш Солженицын, поди, думает, что это он своими писульками настроил Запад против нас. Ничего подобного. Это Хрущев скомпрометировал наш социализм, он нарушил принцип некритуемости пути.

Я вскакиваю с кресла.

— Слушай, папа, почему бы тебе не сказать обо всем этом в своих лекциях?

Я нарушаю неписанный закон нашего общения, — не переходить на личности. И отец мгновенно словно маску натягивает.

— Я пытался говорить с тобой, как с мужчиной.

— А чего, по-твоему, мне не хватает до мужчины?

— Мужества, — говорит он, и мне становится больно, будто меня ударили по ране. Я пытаюсь вернуться к разговору.

— Значит, ты считаешь, что игра в войну это своеобразный способ укрепления структуры? Так?

— Так, — нехотя соглашается отец, — если мыслить совсем уж просто.

Но я это знал и до него. Что же я хотел услышать? Пожалуй, то, чего не знаю, разве не думаешь иногда, что все-то и дело в том, что ты чего-то не знаешь.

— Возможно, ты говорил истину, то есть факты...

— Я усиленно тру ладонью лоб. — Ну, а если я не принимаю эту истину, если она мне отвратна...?

— На истине это никак не отразится.

— ... как тогда я должен жить, чтобы уважать себя?

Он смотрит на меня, словно оценивает мои способности к восприятию высших и горьких истин.

— Бороться с миром объективных вещей — дело сумасшедших!

— Что же остается?

— Наверно, уйти из этого мира.

Господи, да что же он за человек! Сказать такое собственному сыну, не моргнув глазом, не вздрогнув...

— А если я последую твоему совету, ты не будешь испытывать угрызений совести?

— Нет, — говорит он спокойно, — если человек добровольно выбирает смерть, значит, жизнь для него еще хуже.

Мне очень хочется кричать: „Ты не человек! Ты монумент, марксистская скрижаль на мраморе!“ Я не кричу. Я иду к двери, но отец окликает меня:

— У меня тоже есть к тебе кое-что...

Отец смущен, он теребит прядь на виске, и это признак чрезвычайного волнения. Я снова сажусь в его кресло, а он стоит напротив.

— Я хотел бы познакомить тебя с Валентиной.

— Это необходимо, папа? — спрашиваю я как можно мягче. У меня нет никакого желания знакомиться с этой женщиной. Отец теребит висок, странно видеть его в такой позе, даже неловко за него.

— Необходимости, конечно, нет, но я просто не смог ей объяснить, почему этого делать не нужно.

Мне все понятно. Если она хочет познакомиться со мной, значит, имеет на отца далеко идущие планы. Понимает ли это отец?

— Извини, только один вопрос.

— Конечно, — соглашается он.

— Ваши отношения перспективны или...

— Понимаю, — опять торопливо отвечает он, — я

могу только еще раз спросить тебя, согласен ли ты на эту встречу?

Наивный, я надеялся, злоупотребляя ситуацией, заставить отца хотя бы чуть-чуть раскрыться. Увы!

— Конечно, папа, только согласуем сроки, я сейчас пашу, как савраска.

— Я скажу тебе за два дня.

— Договорились.

Я выхожу из комнаты, в голове у меня пустота — и полная неспособность работать. Устало просматриваю листки, бросаю их на стол, и рука сама тянется к телефону. Я даже чувствую, как аппарат радостно вздрагивает, неделю я не прикасался к нему.

Первое в голове — Ирина. Но нет, звонить я ей не буду, я просто не в силах сейчас. Женька? Я набираю — номер молчит. Матери звонить? Это тоже сложно. Что же это такое? Не с кем потрепаться просто так, для отдыха. Открываю наугад записную книжку. Пожалуйста, Олег Скурихин, профессиональный телефонный трепач, щелкопер из бывшей Ирининой компании, откуда я ее выудил.

— Ты объявился? — радостно кричит он. — Наконец-то! Где Ирка?

— Наверное, дома.

Меньше всего мне хочется говорить про Ирину.

— Как дома? Ты ее не видел? И ничего не знаешь? Ее же выперли с ТВ, она там репортажик заделала...

— Про репортаж знаю. Когда ее уволили?

— Вчера. Слушай, дуй ко мне, тут вся наша шарага, мозгуем, что делать. Нельзя же ее на съедение отдать.

— Еду, — отвечаю я и кладу трубку.

„Вся шарага” — это прежде всего сам Олег, полнеющий, лысеющий и лоснящийся брюнет, на круг-

лом его лице чаще всего — дурашливость. Но журналист он проворный, бойко пишущий, котирующийся. Его жена Мария, исполняющая какие-то не очень ясные обязанности на Мультфильме, тоже далека от стройности, характера деспотического, голоса категоричного. Она имеет обыкновение вмешиваться в любой разговор, особенно любит завершать его какой-нибудь многозначительной репликой. По-моему, глупа, как любая женщина, демонстративно претендующая на ум.

Феликс Рохман, постоянный Иринин оператор, сутливый, говорливый долговязый еврей, всегда напичканный информацией из жизни киношной бегемы.

Анатолий Дмитриевич Жуков, Иринин режиссер, самый старший в „шараге“, медлительный и многозначительный, как его иностранный портфель с кодовым замком.

Лена Худова, полностью оправдывающая свою фамилию, очень милая девица переходного возраста и странного социального положения, она всегда при Жукове. Он представляет ее, как свою ассистентку, но, боюсь, не в согласии со штатным расписанием студии ТВ.

И, наконец, Юра Лепченко, молчаливый и немного вялый, на редкость добрый человек и плохой поэт, недурно, однако, зарабатывающий.

В общем, все вместе — мы милая и непритязательная компания, почти стабильная, если не считать Женьку и меня самого. Мы лишь периодически всплываем в этом омутке приятного времяпрепровождения. Женька не частый гость по причине несоответствия уровней, он гений и делец, я же, оторвав Ирину от этой компании три года назад, избегал появляться с ней, она мне меньше нравилась вместе со всеми.

У Олега отличная трехкомнатная квартира, дети почти всегда у бабок. Я застаю всю компанию в большой комнате, оборудованной под гостиную. Все по углам, стол, заставленный тарелками, рюмками и бутылками, одиноко в центре. Мягко ухает стереофоника. От одного стула к другому важно перемещается огромный черный кот Фырка.

С моим приходом все стягиваются к столу, над рюмками взлетает бутылка. Я с жадностью глотаю водку, плачу горлом и глазами, но быстро обретаю форму.

— Значит, так, — говорит Мария, жестикулируя пухлой ладонью, — мы обсудили и пришли к мнению, что это прямое беззаконие, надо принимать меры.

— Какая формулировка приказа? — спрашиваю я Жукова.

Мария его опережает:

— Какая формулировка? По собственному желанию, конечно.

— Ах, она сама...

— Что значит сама?

— Дело в том, вмешивается Жуков, — что мы не можем ее найти, как в воду канула. А подробности важны.

— Какие еще нужны подробности! — кричит на него Мария.

Олег напоминает ей, что у нее в руках рюмка, а пока она пьет, морщится и закусывает, мы торопимся обменяться репликами.

Феликс, потрясая кудрями, нависает над столом.

— Известно, что она была в кабинете у главного больше часа.

— Но ведь есть цензор, он несет ответственность...

Феликс торопливо разъясняет мне.

— Новенький, прошляпил. Ирина сказала на про-

смотре, что в обкоме одобрили. Цензор тоже вылетит, будь спокоен.

— Еще бы, — вставляет Жуков, — этот чинуша принимает иностранные делегации от имени горисполкома, а мы его высекли, как стрелочника.

— А на кой чёрт это было нужно? — спрашиваю я, глядя Жукову в переносицу, где уютно водружены очки в серебристой оправе.

Он удивлен моим вопросом и высказывает удивление всей мимикой. Подает голос Леночка Худова, как и положено ассистентке:

— Ну, что ты, Гена! Это нужно! Они должны бояться гласности, они должны чувствовать свою подотчетность!

Не поворачиваясь к ней, Жуков уточняет:

— Дело не в них, в конце концов, дело в нас, хотя бы иногда мы обязаны использовать оружие, к которому допущены.

Я уверен, что „мы” здесь ни при чем, все сделала одна Ирина, а режиссер и оператор — лица второстепенные. Ни Жуков, ни тем более Феликс самостоятельно не чихнут, Ирина сделала из них „мы”, и они ужасно довольны, что сами ничем не рискуют.

Я понимаю вдруг, что думаю о ней не как о чужой, и вспоминаю то новое обстоятельство, что так осложнило наше расставание. Если она действительно беременна, то уволить ее не могли. Она согласилась на увольнение, — значит, либо не хотела воспользоваться этим обстоятельством, либо... его нет?!

— В общем, мы решили писать телегу в ЦК, — резюмирует Олег, и немедленно включается Мария:

— Подпишешься?

Я не поворачиваю к ней головы.

— Надо бы знать мнение Ирины на этот счет, желает ли она заступничества.

— Слушайте, — вклинивается Феликс, — а, может, евреям подкинуть информацию?

— Каким евреям? — настораживается Мария.

— Диссидентам. Завтра же „голоса” протрубят!

Я знаю, Феликс ужасно гордится, что среди диссидентов много евреев, хотя сам он вполне благополучный москвич.

Вмешивается молчавший до сих пор Юра Лепченко:

— Твоим евреям сейчас не до нас, их самих шерстят.

Все смотрят на меня. Я здесь самый близкий к диссидентам, потому что Люська — активистка.

Не думаю, — говорю я, — что Ирина это одобрит.

Вижу, как все, в том числе и Феликс, соглашаются со мной. Но молчат. И только Мария не может не закрыть тему.

— Да, не хватало, чтобы Ирку в диссиденты зачислили!

Кот Фырка запрыгивает ко мне на колени и тянется лапами на стол. Мария шлепает его по морде, и Фырка проворно исчезает под стульями.

— Совсем обнаглел!

— Итак, — подвожу я итог, — нужна сама Ирина и ее мнение, а до тех пор нет смысла что-либо предпринимать.

И опять все радостно со мной соглашаются, и все перекладывается на меня, — мне встречаться с Ириной, выяснять, принимать решение. Для этого я и зван.

Появляется еще одна непочатая бутылка.

— Кто разбогател? — спрашиваю.

Олег тычет пальцем в Юру Лепченко.

— Гонорар! Зарифмовал „вы хотели — двигатели”. Вознесенский лежит плашмя! Из-под носа рифму увел!

Юрины стихи — постоянный объект юмора. Он не обижается. То ли сам сознает халтурность своих стихов, то ли, напротив, мнит себя непонятым гением.

— Как там, в российских глубинах? — спрашивает меня Жуков.

Я отделяюсь пожатием плечами.

— Города Урюпинска не встречал? — это Олег, и, значит, будет анекдот.

— Экзамен по истории КПСС. „Расскажите о решениях двадцать третьего съезда“, — говорит преподаватель. „А разве такой был?“ — удивляется студент. „Вы откуда свалились?“ — „Я из Урюпинска“. Преподаватель обхватывает голову руками: „То ли „два“ ему поставить, то ли бросить все к чертям да уехать в Урюпинск?“

Мы все гогочем.

— Братцы! — восклицает Олег. — Неужели в этой стране нет города Урюпинска? Хочу в Урюпинск! Марья, уедем в Урюпинск?

Жена смотрит на него снисходительно, она знает, что никуда ее Олег не уедет, и никто из нас не променяет Москву ни на какой Урюпинск, буде он есть на этой земле. Мы все дети эпохи, мы в ней, в нашей эпохе, как рыба в воде...

Леночка Худова пьяненькая, ей хочется петь, но она терпеливо ждет, чтобы кто-нибудь попросил ее. Я говорю:

— Леночка!

Она кидает взгляд на своего режиссера, Жуков бровями позволяет, и она бежит к инструменту. Она поет русские романсы, она заботится о своем репертуаре, у нее всегда есть сюрприз. И по первым аккордам я уже знаю, это что-то новое, то есть что-то очень старое, за первую половину девятнадцатого, где-то у первой его четверти... Бесхитростный

слог и музыка ученически милы, в них еще некоторая робость поиска, а чувства открыты и каждое под своим названием, и все проговаривается без иносказания и до конца, никакой шизофрении или рефлексии. Хочется самому заговорить этим же нехитрым языком чувств, чтобы грусть была грустью, любовь — любовью, ревность — ревностью.

Когда Леночка поет, я влюбляюсь в нее, я вообще могу влюбиться в хорошо поющую женщину, я вскакиваю со стула, подхожу к Леночке и целую ее в щечку, я знаю, все понимают это правильно.

Я наваливаюсь на стул сзади нее, мои губы в ее волосах, и как только голос ее замирает, я шепчу громко:

— Леночка, я люблю тебя!

И слышу сзади вялый голос Юры Лепченко:

— Что-то ты сегодня ее любишь раньше обычного.

Я оборачиваюсь и отвечаю уничтожающе:

— Молчи, пегасист проклятый. Не пачкай цинизмом светлость моих чувств. Я всю неделю вкалываю со знаком качества. У меня трудовые мозоли на пальцах от фашистской машинки „Олимпия”.

— „Олимпия” — фирма ГДР, — поправляет Феликс Рохман.

— Тебе хорошо, — говорю я Феликсу, — у тебя есть историческая родина, тетя Голда и дядя Даян, у тебя есть Стена плача, а нам, бедным шовинистам с имперским сознанием, куда голову преклонить, в чей фартук поплакаться? У нас только прошлое! Тебя в этом прошлом не было, а вот я был, и утробно помню все, и Леночка помнит. Ты ведь помнишь, Леночка? Этот романс я, молодой и усатый гусар, написал в твою честь и это же было совсем недавно, каких-то полтора-два года назад.

— Помню! — отвечает Леночка, целует меня, и ее слезинка на моей щеке. — Помню, это было осенью,

ты сделал мне предложение, а я любила другого, но мне было очень жаль тебя, и я записала твой романс в альбом и разукрасила страничку грустными вишнетками из маленьких, маленьких сердечек.

— Видишь! — кричу я торжествующе. — Все было! Мы жили!

— И периодически развлекались поркой мужиков, — вставляет Феликс.

— Не помню! — возражаю я категорически.

— А может быть, он помнит! — Феликс тычет пальцем в затылок Юры Лепченко. — Именно утробно помнит.

Я отрываюсь от Леночки, подхожу к Юре и опускаюсь перед ним на колени.

— Если ты помнишь такое, можешь ли простить? Меня тоже высекла история. Жестоко высекла. У нас у всех драные спины. Так простишь?

Он протягивает мне руку.

— Прощаю. Встань, брат.

— Видишь! — кричу я Феликсу. — Знаешь, что это такое? Это наш шанс иметь общее будущее!

— Что это с тобой сегодня, Гена? — удивленно спрашивает Жуков. — Ты никак славянофильством увлекся. Вот уж на редкость скучное занятие.

— Зато модное, — вставляет Феликс.

Я возвращаюсь к Леночке, которая уже не знает, петь ей или лучше помолчать, коли мужчины заговорили на серьезные темы.

— Не знал, что это называется „славянофильством“, — отвечаю я, глядя на Леночку, — просто начинаю новую жизнь, и притом — не с понедельника! Так что — пой, Леночка, пой, любовь моя, не смущайся! В твоём голосе мудрости больше, чем во всех наших мужских мозгах.

Хозяйка квартиры, однако же, чем-то уязвлена:

— Спой ему, Ленка! Мужикам иногда поплакаться охота, рубашку на груди разодрать.

Леночка снова поет, и мелодия с ее голосом не сливается, а будто затем только и звучит, чтоб осветить каждое слово.

За спиной у меня негромкий, но демонстративный галдеж. Это Мария не может успокоиться. Чем-то я ее раздражил. Леночка несколько раз бросает на меня вопросительный взгляд — может, больше не петь, — но я поощряю ее молчаливым кивком, и она продолжает, и мы побеждаем! Когда Леночка умолкает, все искренне хлопают. Я вижу, как блестят глаза Жукова, сейчас он любит свою внештатную ассистентку, и Феликс умолк, и Мария размягчена и даже симпатична в эту минуту. Олег и Юра-поэт одновременно протягивают руки Леночке, идущей к столу, но она смотрит на Жукова, и в ее взгляде упрек.

— Ленка, если этот пижон, — я киваю на Жукова, — не женится на тебе в текущем году, считай, что у тебя в резерве еще одно официальное предложение.

— А как же с Ирккой? — оживает Мария.

— Ирка не пропадет, — откликается Олег. — У ней в резерве Женька „Полуэтот“.

— Женька? — я мгновенно трезвею. — При чем здесь Женька?

Олег косится на жену, Мария берет объяснения на себя.

— В отличие от некоторых, — она вперяется в меня своими круглыми глазками, затем бросает взгляд на Жукова, — которым дорога свобода, Женьке „Полуэтому“ дорога Ирина. Между прочим, если б ты не возник у ней на горизонте, Ирка не корпела бы над сценариями, а рожала бы ему „квартиронцев“.

Я вспоминаю осторожные, но настойчивые Жень-

кины расспросы об Ирине, и у меня зарождается подозрение. Но я, видимо, еще недостаточно трезв, потому что тут же хватаюсь за телефон и прокручиваю Женькин номер. Он молчит. За мной следит вся компания. Я набираю номер Ирины, и он тоже молчит. Эти два молчания давят мне на виски. Я пытаюсь произнести в уме одну и ту же фразу: „А какое мне теперь до всего этого дело?“ Но она никак не произносится, ворочается в мозгу, как палка, то одним концом упирается в висок, то другим, а мне нужно загнуть ее в спираль, в виток, чтобы разместить в извилине, и тогда мне станет просто и легко, ведь и действительно, какое мне дело? Вот фраза выговорена, и мысли текут уже плавно, без сбоев, причинно цепляясь друг за друга. Если Ирину устраивает Женька, это все упрощает, это освобождает меня от вины, которую я сам и выдумал из-за собственного слюнтяйства. Я свободен, а тогда — какого дьявола я здесь! Я должен быть в своей комнате, слева магнитофон, справа машинка, я должен писать и писать, потому что меня ждет Тося, и это прекраснее любой свободы...

Я поворачиваюсь ко всей компании, которая уже разбрелась по комнате.

— Нужна кооперативная квартира, — говорю я торжественно. — Кто знает надежного маклера?

Все понимают так, будто я решил, наконец, жениться на Ирине, и к этому решению меня подтолкнули они, все вместе, сейчас, здесь, и больше всех сияет Мария, ведь это ее реплика проросла в моем мозгу таким мужественным решением. В квартире поднимается гвалт, на сцену выталкивается Юра Лепченко, тихий советский поэт.

— Вариант без промаха, — говорит он с гордостью. — Кадр старой русской интеллигенции, философ, ученик Бердяева, в знак протеста занялся

устройством человеческого счастья. За дело берет ничтожно. Звонить? Если дома, можем с ходу махнуть к нему...

— Давай, — решительно отвечаю я. — Интеллектуальный маклер — это интересно. А если с пользой для дела, так это находка.

Юра, не отрываясь от телефона, продолжает убеждать:

— Увидишь, он не ханыга. Он уникам!.. Виталий Леопольдович? Алло! — Юра подмигивает мне — Леопольдович — одно отчество — это же фирма! — Юра Лепченко говорит. Здравствуйте! Можно подскочить на разговор? — Сейчас — можем! — радостно кричит он в трубку. — Минут через сорок будем.

Я тепло прощаюсь со всеми, особенно с Леночкой, шепчу ей на ушко, чтобы слышал Жуков:

— Ты прелесть! Если этот осел будет тянуть волынку, мигни мне...

Леночка полна благодарности. Она целует меня в щеку. В поцелуе Марии есть что-то от материнского благословения.

Мы с Юрой переходим улицу, вскакиваем в автобус, две остановки трясемся в тамбуре, выскакиваем, ныряем в метро, успеваем протиснуться в двери последнего вагона.

Между прочим, — говорит Юра, — я тоже подумываю делом заняться.

— Каким?

— Квартирным. Выгодное дело. И даже интересное, почти математика, уравнения со многими неизвестными. Леопольдович это дело в искусство превратил!

Мой приятель, поэт, обнаружил в себе склонность к квартирной спекуляции? Едва ли! Поди, тоже подумывает начать новую жизнь, а спекулировать квартирами, наверное, лучше, чем

рифмами. Я рискую спросить сквозь вагонный грохот:

— А как насчет стихов?

— Я же не виноват, что не Пушкин. И вроде не хуже других...

На мой взгляд, стихи у Юры плохие, но сказать ему об этом... зачем? Мы все халтурщики, вся наша жизнь — халтура. Все мы что-то понимаем и чувствуем, но держим до поры в резерве, — вот придет время, уже мы развернемся. Мы делаем вид, что верим в такой оборот дела, а в нынешней нашей жизни как будто нет никаких дел, все это липа! И это мы тоже понимаем, но разве наша мудрость старцев подтолкнет нас к чему-то? Увы! Единственное, на что мы способны, это все понимать или, по меньшей мере, обо всем догадываться, и в себе творить небывалую субстанцию духа — гордость уничижения. Это почти демоническая, дьявольская форма гордости.

Понимает Юра, что такое его стихи, но не мучается этим пониманием, а гордится им. В отличие от других халтурщиков, он знает цену себе и уже поэтому никого не осуждает.

Я тоже из понимающих и не осуждающих. Если я слышу, как один художник поносит другого за халтуру, то это для меня не правдолюбец, а дурак. Но если он говорит о другом: „А все-таки в нем что-то есть!“ — это мой человек, это наш человек.

Поэтому я и говорю Юре:

— У тебя бывают приличные строчки.

Юра меняет позу, перехватывает другой рукой поручень над головой и бросает на меня взгляд, исполненный благодарности. При случае он в долгу не останется.

Но знаю я этих поэтов! Только похвали — и он уже задумался: „А вдруг и вправду что-то есть?“ И ближайшую ночь проведет за разборкой многолет-

него своего архива, отсортировывая то, где, может быть, все-таки что-то есть, от того, где уже точно ничего быть не может. Но и то, где ничего не может быть, не разорвет, не спустит в унитаз, но аккуратно сложит в папку, завяжет тесемочками и уберет в заветное место.

Кругом неподлинное бытие: слова с двойным дном, идеи в масках, все деяния двусмысленны. И если бы мое ощущение распространялось только на наше славное общество развитого социализма! Тогда все просто! Я бы стал тогда борцом, страстным диссидентом, как Люська, ведь страсть мне не чужда, мне просто не представлялось до сих пор обратиться ее на что-то, заслуживающее страсти.

Но нет же! И в закордонном мире, который мы из лени и по отсутствию творчества воспринимаем как альтернативу, и в нем я тоже угадываю ту же неподлинность бытия, ту же халтуру. Может быть, не ту, а иную, но стоит ли экспериментировать, чтоб заменить одну халтуру другой?

Не говорю уже об одной слезинке ребенка, но и моей слезы не стоит этот эксперимент, который по самой главной сущности не способен ничего изменить в человеческой натуре, а значит и в человеческой судьбе. Если идея неравенства, к примеру, заложена в самой сути человека...

— Выходим, — толкает меня под локоть Юра.

Досадно, еще бы две остановки, и я дошел бы до глубочайших обобщений. Мы ползем по эскалатору, и я все же успеваю додумать свою изначальную мысль: мир отца Василия и Тоси оттого и засасывает меня, что в нем нет халтуры.

Я запаздываю перешагнуть через щель эскалатора — и запинаюсь, словно встряхиваю мозгами. А если и там я ее увижу, в последнем прибежище своей исподличавшейся, но и страдающей души?

Мне припоминается логика отца: если неподлинность присуща всему реальному миру, значит, она — самая что ни на есть подлинность, надо лишь так сфокусировать свое зрение, чтобы это въедливое „НЕ” исчезло, растворилось. Мой отец живет так же просто, как дышит. В его душе мир и равновесие, и он действительно выглядит мужчиной в сравнении со всеми нами, с такими, как я.

Интересно, как бы оценил мои размышления отец Василий? Я вспоминаю его щедрую улыбку, часто мигающие глаза, неловкие жесты, слышу его не слишком мужественный голос, но в голосе этом не различаю слов...

Старый московский дом, чудом сохранившийся в шеренге современных коробок, он стоит несколько боком к проспекту, этаким полуоборотом, в котором одновременно и обреченность, и как бы некоторая упрямая озлобленность.

Широкая, каменная, некрутая лестница построена была для неторопливых людей, в плавном изгибе перил рука ощущает приглашение не спешить. И двери, высокие, солидные, не толкнешь плечом, не шмыгнешь в них, не проскользнешь, но войдешь с достоинством и с уважением к двери, за которой не просто чье-либо обиталище, но целый мир, единственный и неповторимый.

Весь подъезд настроил меня на встречу с хозяином квартиры на третьем этаже, так что я здороваюсь с седовласым старцем и рукопожатием и полупоклоном, сам себя чувствуя по меньшей мере помещным дворянином. Я прохожу одну комнату, другую, не задерживаюсь взглядом на консолях, секретерах и книжных эстакадах, сажусь в предложенное мне старинное кресло так, будто иных кресел и не знал. Но взглянув на свои тупоносые туф-

ли, торчащие из-под джинсов, и на куртку с вытертыми манжетами, понимаю, насколько не вписываюсь в интерьер, и сразу сжимаюсь, съеживаюсь под взглядом хозяина — доброжелательно-внимательным взглядом человека старого воспитания.

И Юра не слишком-то раскован, ему никак не удастся принять должную позу и расслабиться.

— Как поживают музы? — спрашивает хозяин Юру.

— Женится! — вместо ответа говорит Юра и тычет в меня пальцем. — Налицо двухкомнатная, комнаты смежные. ...сколько метров?

Я отрицательно мотаю головой.

— Нисколько. В наличии ничего. Нужна кооперативная, одно- или двухкомнатная.

Юра в недоумении.

— А Иркину квартиру куда денешь?

Виталий Леопольдович смотрит на меня, на Юру, снова на меня. Он не спешит, он предлагает нам прежде выяснить ситуацию.

— Юра не в курсе. Нужна кооперативная... просто купить... без обмена...

Хозяин отечески улыбается мне, я не понимаю его улыбки и улыбаюсь в ответ, я тоже воспитанный человек.

— Видимо, — говорит он мягко, — наш общий друг... — полупоклон в сторону Юры, — ... не совсем верно информировал вас о характере моих занятий, и мне не остается ничего другого, как просветить вас.

Он поднимается с кресла, обходит Юру, заходит ему за спину. С приятным скрипом отворяется дверца шкафа красного дерева, вся в резьбе и позолоте, внутри — ящички, пронумерованные, с шифрами.

Профессионально-театральный жест, легкое прикосновение к скрытому механизму, и один из

ящичков медленно выползает вперед и замирает. Такое впечатление, что из него сейчас начнут автоматически выдвигаться карточки или какие-нибудь перфокарты.

Виталий Леопольдович двумя перстами извлекает карточку и, почти не глядя на нее, говорит:

— Для примера — вариант. Имеются: трехкомнатная квартира в Кузьминках и однокомнатная на Водном Стадионе. Требуется: двухкомнатная в Замоскворечье и двухкомнатная, допустим, в центре. В этом секторе сто пятьдесят карточек, это досье на данный вариант. Задача для ЭВМ, но ЭВМ бессильна против прихотей людских, потому как существуют: этаж, солнечная сторона, изолированность, планировка, телефон, совмещенность санузлов, звукопроницаемость, соседи, лифт. Вот, молодой человек, какие проблемы я решаю. А что предлагаете мне вы?

Незаметное движение пальцев, и ящичек уползает внутрь, почти мелодично скрипит дверца. Виталий Леопольдович снова обходит Юру, у которого на лице восторг, и садится в свое кресло.

— А вы предлагаете мне найти прохвоста, чтобы за взятку без очереди купить кооперативную квартиру.

Он смотрит на меня так, что мне делается стыдно за мою просьбу. Но тем не менее, я быстренько прикидываю хитрый вариант, думаю, как бы мне изобразить мою нужду этому седовласому снобу, чтобы она его заинтересовала. Например, обменять квартиру отца на бóльшую, разменять ее на две, и потом меньшую, мою, — на двухкомнатную. Интересно, обнаружил бы он искусственность ситуации, сумел бы сократить усложненную формулу до ее изначально простейшего вида, в каком и получил ее только что?

— Слушай, — наконец, прорезается Юра, — я ничего не понимаю, а Иркину квартиру вы куда девать собираетесь?

— А кто тебе сказал, что я собираюсь жениться на Ирине?

Юра немеет, я пользуюсь этим, чтобы чем-то скрасить напрасный визит.

— Давно вы занимаетесь квартирной проблематикой?

Хозяин пропускает бороду сквозь пальцы, и она, как поролоновая мочалка, вновь выплывает в целости формы, так что ни один волосок не нарушен.

— Тридцать первый год, — отвечает Виталий Леопольдович не без гордости. — И поверьте, в этом занятии я обрел подлинное удовлетворение. Вы, к примеру, удовлетворены своей профессией? Много ли минут счастья приносит она вам?

Я только отмахиваюсь.

— Вот видите. Если бы мне начать жизнь заново, я бы стал, пожалуй, врачом, рядовым хирургом.

— Юра говорил, что вы были учеником Бердяева...

— Ну, положим, это не совсем так. — Он снова просеивает бороду и ухмыляется одними глазами. — Я ничему у него не научился. Но я хорошо знал его, даже спорил с ним. Однажды стоял с ним за одним прилавком в лавке писателей, слышали о такой?

— Бердяев нынче в моде, — подкидываю я.

— Слышал и удивлен. Это временно. Нынче все жаждут мыслить э...э я бы сказал, программно, а Николай Александрович, то есть его идеи, это всего лишь мысли ищущего страстного человека, изложенные несколько категорично. Но у него были величайшие прозрения.

До того сидевший лицом ко мне, он поворачивается к Юре.

— А вы, Юра, что читали Бердяева?

-- „Самопознание”! — радостно выкликает Юра.

Виталий Леопольдович снисходительно улыбается.

— В который раз слышу этот ответ. А вы... — с этой же улыбкой он поворачивается ко мне, — тоже, поди...

Я читал еще две, три книги Бердяева, но мне хочется не говорить, а слушать, и я киваю — да, точно, одно „Самопознание”.

— Жаль. Я лично многим обязан Николаю Александровичу. Мне семьдесят шестой год. И я могу уже уверенно сказать, что я — выжил. Вам, молодые люди, не понять, что значит выжить человеку, если в двадцатом году он уже на заметке у Чека, в тридцатом отказывается вступить в партию, в сороковом о нем упоминает в мемуарах известный контрреволюционер... Светлой памяти Николаю Александровичу Бердяеву я обязан тем, что с самого начала понял, что такое в перспективе своей есть новая российская власть. И я счастлив!.. — В его глазах слезы. — Я прожил свою жизнь в России, или по крайней мере, в том месте, где была Россия. И я не замарал рук!

Он протягивает ко мне руки, они вылезают далеко из манжет рубашки, но я вижу только, что это руки очень старого человека.

— Думаете, легко было выжить в России и не замарать рук? И в сущности, одна фраза Николая Александровича...

Изящным движением он смахивает слезу, достает платок.

Я был среди провожающих, и была минута, он сказал мне: „Если хотите прожить в России, относитесь к этому, как к самой главной вашей цели в жизни, и, возможно, вам удастся... Но бойтесь иллюзий, потому что можно и пожалеть о прожитой жизни”. Сам он, однако, не избежал иллюзий...

Он вздыхает, и, проследив его взгляд, я вижу под стеклом полку, заставленную книгами его знаменитого учителя. Я чувствую, что он готов уйти в себя, догадываюсь, что его „уходы” — частое состояние, и спешу вклинить в наступившую паузу:

— Вы говорили о прозрениях... Что вы имели в виду?

Он испытующе смотрит на меня сначала, затем на Юру, который явно скучает.

— Вы спросили, и я отвечу... — Эта присказка известна, она означает, что отвечающий снимает с себя ответственность за слова, которые будут сказаны. — Николай Александрович первый сказал, что социализм не является альтернативой буржуазности, но альтернативой христианству. И соответственно ему тоже есть только одна альтернатива...

Во взгляде недоговоренность и многозначительность. И мне немного смешно, представляю себе, какое значение придает ученик Бердяева этой истине; я догадываюсь, каким образом эта истина помогла ему выжить, — она вооружила его правом бездействия, право переросло в нравственную категорию, стало фундаментом теории выживания. Грешно над этим смеяться. И все же отчего-то смешон милый мастодонт, отчего-то не вызывает он ни восхищения, ни умиления. Его жалко. Может быть, для него лучше было уехать из России и умереть от тоски по Родине, тогда, по крайней мере, он пережил бы „мировую тоску”. Мне вспоминаются строчки Райниса:

Но боль твоя станет великою болью,
И станет тоска мировую тоскою.

Выживая в этой стране, задавшись выживанием, как самоцелью, можно ли было не обрести равно-

душием ко всему, что происходило и происходит с ее народом, о котором только с большой натяжкой можно сказать, что он — выжил? Мы народившиеся, мы возникшие, мы сложившиеся, но разве все мы — выжившие?

Мы прощаемся церемонно в передней, которая больше моей комнаты, в такой можно позволить себе церемонность. Попробуй, пораскланивайся в обычной прихожей частного советского человека, — лоб расшибешь.

Когда уже отходим от дома, я оглядываюсь и отчетливо вижу, как отвернулся от нас дом, стоит неуместно и обиженно, как пень среди стекла и бетона. Его не снесли, пожалели. Но жалеть — тоже искусство. Жалостью без искусства можно только оскорбить. Я бы не рискнул.

Юра накидывается на меня с претензиями. Мне не хочется ничего объяснять ему, но я вижу его искреннее беспокойство за Ирину, и мне приятно, словно это беспокойство за меня. Но не рассказывать же ему про поповскую дочку, у меня вообще созревает желание кардинально изменить систему общения с большинством моих приятелей и знакомых. Правда, я еще не продумал, по силам ли мне самоограничение, в принципе я существо общительное. Но моя новая жизнь будет построена на других ценностях, в иных координатах, а это значит, круг моих общения должен сузиться до минимума. Сам себе я вижусь тепленьким от счастья, не нуждающимся ни в ком, постигающим в семейном уюте высшую мудрость, недоступную жертвам столичной суеты.

Прежде чем снова нырнуть в метро, я говорю с подчеркнутой отчетливостью:

— Я женюсь не на Ирине. С ней мы разошлись без взаимных претензий. Такие вот дела, Юра.

И вдруг Юра, поэтический халтурщик, смотрит на меня пронзительно и говорит с неожиданной резкостью:

— Вовремя ты разошелся с Ириной. По некоторым обстоятельствам она сейчас неважный партнер для семейной жизни.

Я даже рассердиться не могу, так неожиданно его заступничество за Ирину, но оставить вызов без ответа — значит, обидеть Юру, а я не хочу его обижать.

— Есть одно обстоятельство, хорошо знакомое всем поэтам, — любовь. Я ответил?

Юра не удовлетворен, дескать, любовь — любовью, а порядочность, где она? Это сквозит в его взгляде, и я рад, я чертовски рад, приятно обнаружить в людях неожиданные достоинства. Хотя здесь особый случай. Ирину все любят. Не знаю, за что. Друзья любят ее, конечно же, иной любовью, чем я любил, и вот для этой, *иной* любви я не вижу оснований. Ее увлечение телескандалами? Ее одержимость работой. По-настоящему только я мог это ценить, хотя ее работа ощутимо обкрадывала меня, обкрадывала наши вечера, а то и ночи. Мне вовсе не нужна была Ирина-деятель. Но она, пожалуй, единственный человек в моей жизни, кого я не рискну назвать халтурщиком.

В вагоне метро я кричу на ухо надутому, насупившемуся поэту:

— Скажи, за что все любят Ирину?

Он, как ни странно, не удивлен.

— Она человека с делом не путает, — отвечает Юра. — Она к человеку относится, как к человеку, и все.

— Не понял, — говорю я ему в самое ухо.

— Ну, например, ей наплевать, какие я стихи пишу. Я ей важен сам по себе. Я бы мог и вообще их не писать.

Я киваю головой, что понял, и пытаюсь вспомнить Ирину в какой-нибудь ситуации, где можно было бы уследить это ее достоинство. Само по себе оно мне представляется сомнительным, — человека от дела не отделишь, — но, может быть, женскому сознанию доступно такое?

Да, что-то подобное в Ирине я замечал, могу вспомнить, как она защищала людей, которых защищать и не стоило бы.

Итак, Ирину все любят, и вот Юра-поэт явно дает мне понять, что я негодай, если надумал жениться на другой. Мне и хочется объяснить Юре, и в то же время все противится во мне говорить в метро ли, на улице, с Юрой-поэтом или с кем-нибудь еще, о другом, необычном мире, где живут отец Василий с дочерью Тосей, и благородный дьяк, безнадежно влюбленный в мою (и только мою) поповну, где пребывает Бог. Мне кажется, Он только там и пребывает, где Ему еще быть! В нашем мире пустых телодвижений Его быть не может, наш мир надежно защищен от Него, мы живем в хитро устроенном *богоубежище*! В детской сказке читал, как искусный фехтовальщик так ловко вертел шпагой, что капля дождя не могла упасть на него. Мы тоже научились столь искусно фехтовать делами, словами, всей жизнью нашей, что Богу не пробиться к нашим душам; мы прочно защищены от человеческого идеала, что пребывает где-то над нашими головами, лишь крохотные островки в море житейском, вроде обители отца Василия, — случайные проколы в куполе всеобщего богоубежища, лишь там совершается, что предназначено было всему человечеству.

Я отношусь слишком серьезно к миру отца Василия, чтобы говорить об этом с Юрой. На эскалаторе перехода я, тем не менее, зачем-то спрашиваю его.

— Ты крещеный?

Юра явно захвачен врасплох, и я уже жалею о своем вопросе. Юра смотрит на меня подозрительно, он чем-то насторожен.

— Допустим, — отвечает он, и я, отвернувшись, еле сдерживаю улыбку. По тону его догадываюсь, что Юра, ко всему прочему, еще и поигрывает в религию.

— В какую церковь ходишь? — спрашиваю напрямик.

Юра мнется, но у меня кое-какая репутация, я как-никак с диссидентами якшаюсь, и Юра отвечает:

— В Сокольники.

— И это серьезно?

Вопрос лишний. Серьезного ничего у Юры-поэта быть не может, всего лишь попытка компенсации за социальную неполноценность. Юра играет, заигрывает, Юре хочется остренького в невозможной пресноте его жизни. Я понимаю его, я его очень даже понимаю и не удивлюсь, если он выдерживает посты, благо в Москве есть чем заменить постозапретную пищу, это ему не сибирская тьмутаракань.

— Возьми меня как-нибудь с собой, — говорю я Юре и не успеваю понять по его лицу, как он принял мою просьбу.

Мы спешим к подходящему поезду, но нам в разные стороны, и я кричу ему на прощанье:

— Я тебе завтра позвоню, договоримся!

И опять не успеваю понять, согласен он или нет. Мелькает сквозь стекло Юрино лицо, и вагон уносится вдоль перрона в тоннель, над которым мигает табло с секундами.

Дома меня ожидает на столике пухлая папка листов — моя последняя халтура. Покончив с ней, я покончу и с халтурой моей жизни. Еще никогда я так отчетливо не сознавал и необходимость, и возмож-

ность другой жизни. Я так ясно ее представляю, другую жизнь, что меня даже лихорадит немного от нетерпения. Но я ложусь и приказываю себе спать, чтобы завтра проснуться раньше и сесть за работу. Это пока единственная реальная гарантия моей будущей новой жизни. Я желаю себе хороших снов.

*

Спасибо тебе, любимый мой, спасибо тебе за письмо! Я такого и ждала! Я знала, что получу его! Это почти так, будто бы мы встретились, но только почти, потому что вот уже вчера мне труднее было утром вспомнить твое лицо, а сегодня труднее, чем вчера, и мне становится немного страшно. Я будто и помню тебя, но как начинаю припоминать подробнее, все расплывается перед глазами, а ты пишешь, что еще не скоро приедешь... Милый, ну, зачем нам столько денег! И папа вот говорит, что есть у него две с половиной тысячи, и что, может быть, тебе совсем не надо так много работать... Мне с каждым утром все трудней вспомнить, как ты смеешься или сердисься, а все время в глазах только силуэт, как было, когда ты у окна стоял ночью, а за твоей спиной луна висела над озером...

Расскажу тебе, что случилось у нас третьего дня в воскресенье в храме. Я на клиросе была и видела, как вошел в храм чужой человек, совсем старый уже, он на машине приехал, я потом узнала. Он долго стоял просто так, я думала, посмотреть пришел. А потом он папу позвал и о чем-то говорил с ним, и папа повел его на исповедь, учил крест накладывать и Писание целовать. Исповедовался он долго, и когда я потом взглянула на папу, он весь бледный был, а причащал когда этого человека, то у него руки дрожали, и когда этот человек выходил из

храма, папа стоял, как каменный, и глаза у него были такие страшные, что я испугалась за него. И сегодня папа какой-то сам не свой. Я его ни о чем не спрашиваю, все равно не скажет, но вчера вечером я плакала, потому что папа сидел весь вечер у окна и молчал, а когда я легла, он долго молился, что-то шептал. И я все думаю, что рассказал о себе человек, что папа стал больной, он ведь столько уже знает о людях, что, если бы мне его знание, я бы с ума сошла! Тот человек был обыкновенный, ничего особенного в лице не было, я хорошо его рассмотрела. Володя-дьяк говорит, что, должно быть, невиданные грехи открыл папе приезжий человек. А папа, ты знаешь, он очень добрый, и я думаю, если очень страшные грехи отпускать ему пришлось, то мучается нынче он от того, что душой не смог отпустить. Правда, это не я так думаю, а Володя-дьяк.

Милый мой, мне тяжело без тебя. Я знаю, что так надо, что тебя нет, но зачем нам много денег, я хочу, чтобы ты был!

Я молюсь за тебя каждый день, тебе, может быть, это все равно, что я молюсь, но ты считай, что я просто думаю о тебе каждый день, и это тебе не все равно, ведь правда?

Я вот пишу: храни тебя Господь! И это значит, я хочу, чтобы все у тебя было хорошо, и я знаю, что все будет хорошо, потому что я этого очень хочу!

Жду тебя!

Твоя.

(Окончание следует.)

Стихи разных лет

ИНОСТРАННЫЙ КОММУНИСТ

От наших мук далек
И наших дум не зная,
Белеет городок
На берегу Дуная.

Приметен в нем собор:
Он сумрачные вышки
Архангелам простер
Еще с походов Жижки.

Вокруг собора сад,
В траве резвятся дети,
А няни их сидят
На круглом парапете.

Старушка в храм одна
Приходит слушать мессу,
А мысль устремлена
В далекую Одессу.

Да, верно: коммунист —
Позорное прозвание,
Но мальчик сердцем чист,
Он пятый год в изгнание.

А писем нет как нет.
И то сказать: не диво!
Я тоже в тридцать лет
Писать была ленива.

Противный разговор!
Сидела у соседок,
Так ей сбрехнули вздор
Соседки напоследок:

Какая-то беда...
А, глупые старухи!
Ведь мальчик никогда
Не тронет даже мухи!

Скорей вернулся б он,
А там ей все едино,
Не то последний сон
Придет к ней раньше сына.

А сын ее — шпион,
И к смерти несомненной
Уже приговорен
Коллегией военной.

1937

*

Есть прелесть горькая в моей судьбе:
Сидеть с тобой, тоскуя по тебе.

Касаться рук, и догадаться вдруг,
Что жажду я твоих коснуться рук.

И губы целовать, и тосковать
По тем губам, что сладко целовать.

1937

ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО

Осень листья закрутила, погнула.
Ломом желтеют аллеи берез.
Это не смерть ли сейчас промелькнула?
Это не я ли сейчас произнес:

— Сердцу не страшен таинственный жребий, —
Страшно подумать в последнем тепле:
Не наслаждался я солнцем на небе,
Милым народом своим на земле.

1944

ТО ДА СЁ

Красивый сон про то да сё
Поведал нам Жан-Жак Руссо.

Про то, как мир обрел покой
И стал невинным род людской.

Про то, как все живут кругом
Трудом земли, святым трудом.

Как пахари и пастухи
Дудят в дуду, поют стихи,

Они поют про то да сё,
Играют мальчики в серсо...

Жан-Жак, а снились ли тебе
Селенья за Курган-Тюбе?

За проволокой — дикий стан
Самарских высланных крестьян?

Где ни былинки, ни листка
В пустыне долгой, как тоска?

Где тигр трубил издалека?
Где хлопок вырос из песка?

Где чахли дети мужика
В хозяйстве имени Чека?

Там был однажды мой привал.
Я с комендантом выпивал.

С портрета мне грозил Сосо,
И думал я про то да сё.

1960

ДВЕ НОЧИ

Смятений в мире было много.
Ужасней всех, страшней всего —
Две ночи между смертью Бога
И воскресением Его.

И ужас в том, что в эти ночи
Никто, никто не замечал,
Как становился мир жесточе
И как, ожесточась, мельчал.

Верблюжий коло кольчик звякал,
Костры дымились вдалеке,

А мертвый Бог уже не плакал
На местном древнем языке.

Но мир по-прежнему плодился
И умножал число вещей...
Я тоже, как и вы, родился
В одну из тех ночей.

1962

*

Заснуть и не проснуться,
Пока не прикоснутся
Ко мне твои ладони
И не постигну я,
Что в мир потусторонний
Мы вырвались из плена
Земного бытия.

Развеем, новоселы,
Наш долгий сон тяжелый
О том, что был я грешен,
И перестану я,
Твоей душой утешен,
Разгадывать надменно
Загадку бытия.

1977

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Что ты заводишь песню военну

Г. Р. Державин

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-Богу, там, за фольварком.
Хлопцы, разлейте старку по чаркам.
Скоро в дорогу. Скоро награда,
А до парада плакать нельзя.
Черные печи до мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Голое тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку,
Пой, балалайка, плакать нельзя.

1981

МЕЖДУ МОРЕМ И СТЕПЬЮ

Стебли скудного поля меж морем и степью;
Кукуруза обломана; тучей сплошной
Небо низко склонилось к сухому отрепью
Жестких трав. Наконец-то трамвай —
и двойной!

Мне в лицо дышат люди, вагон наполняя.
Вот он дрогнул и двинулся вместе с грозой.
Нет, не ветви касаются стекол трамвая,
Это смерть меня пробует доброй косой.

1982

*

Я принес вам свои раздумья,
Сны трепещущие свои, —
Отпрыск разума и безумия,
Родич голубя и змеи.

Я принес вам свои крамольности,
Я, пугающийся тюрьмы,
Тихо тлеющий пленник вольности,
Жаром веющий светоч тьмы.

Как я царствовал, раболепствуя,
Как я бедствовал на пиру!
Я принес вам свои молебствия,
Спойте их, когда я умру.

1982

Реки огненные

I

Ванька-Граммoфон да Мишка-Крокодил такие-то ли дружки — палкой не разгонишь. С памятного семнадцатого годочка из крейсера вывалились. Всю гражданскую войну на море ни глазом: по сухой пути плавали, шатались по свету белу, удаль мыкали, за длинными рублями гонялись.

Ребята — угар!

Раскаленную пышущим майским солнцем теплушку колотила лихорадка. Мишка с Ванькой, ровно грешники перед адом, тряслись последний перегон, жадно к люку тянулись:

— Хоть глянуть.

— Далеко, глазом не докинешь...

На дружках от всей военморской роботы одни клеши остались, обхлестанные клеши, шириною в поповские рукава. Да это и не беда! Ваньку с Мишкой хоть в рясы одень, а по размашистым ухваткам да увесистой сочной ругани сразу флотских признаешь. Отличительные ребятки: нахрапистые, сноровитые, до всякого дела цепкие да дружные. Насчет эксов, шамовки или какой ни на есть спекуляции Мишка с Ванькой первые хвататы, с руками оторвут, а свое выдерут. Накатит веселая минутка, и чужое для смеха прихватят. Чёрт с ними не связывайся: распотрошат — и шкуру на базар. Даешь-берешь, денежки в клёш и каргала!

За косогором
море

широко взмахнуло сверкающим
солнечным крылом.

Ванька до пупка высунулся из люка и радостно заржал:

— Го-го-го-го-го-о-о-о... Сучья ноздря... Даешь море...

Мишка покосился на друга:

— И глотка ж у тебя, чудило. Гырмафон и гырмафон, истинный Господь, заржешь, будто громом фыркнешь, я, чай, в деревнях кругом на сто верст мужики крестятся...

В груди теплым плеском заиграла радость...

Пять годков в морюшке не полоскались, стосковались люто.

Ветровыми немеренными дорогами умчалась шальная молодость и пьяные спотыкающиеся радости...

Ванька влип в отдушину люка — в двое рук не оторвешь — глаза по морю в запуски, думка дымком в бывье...

Мрачные, как дьяволы, мешочники валялись по нарам. За долгую дорогу наслушались всячины. Завидовали житьишку моряцкому:

— От ты и знай... Кто живет, а кто поживает.

— Фарт не блоха, в гашнике не пымашь... Кому счастье, а кому счастьеце...

Теплушка замоталась на стрелках.

Дружки торопливо усаживали на загорбки мешки свои, обрадованно гудели дружки:

— Чуешь сгольго версдужег одсдугали...

— Машина чедыре голеса.

Пригрохали.

С вокзала неторопливо шли по знакомым улицам. Разглядывали дома и редкие уцелевшие заборы. Попридерживали шаг у зеркальных окон обжорных магазинов — слюна вожжей, — в полный голос мечтательно ругались:

— Не оно...

— Какой разговор, все поборол капитал.

— Наша старая свобода была куда лучше ихой новой политики.

— Была свобода, осталась одна горькая неволя.

— Маменька, сердце болит...

Взгрустнулось о семнадцатом-восемнадцатом годочке, очень подходящем для таких делов: грабнул раза и отыгрался, месяц живи, в карман не заглядывай.

— Давить их всех подряд...

— Брось, Ванька... Говорено-говорено да и брошено. Бить их надо было, когда оружие в руках держали, а теперь — грызи локоть...

— Мало мы их били...

— Мало...

Мотнулись в порт.

— Чур, не хлопать... Ногой на суденышко, кока за свисток, лапой в котел!

— Ну-ну...

— Охолостим бачка два, штоб пузяко трещало.

— Слюной истекешь ждамши-то.

Бухту заметал гул.

Сопя и фыркая, ползали буксиры. Сновали юркие ялики. На пристанях и вокруг лавчонок вилоось людье, ровно рябь над отмелью. Корпуса морских казарм, похожие на черепах, грелись под солнышком на горе. Полуденную знойную тишину расстреливали судовые гудки.

Ванька харкнул на кружевной зонтик дамы, плывущей впереди, коротко проржал, будто пролаял, и повернулся облупленнорожий к корешку:

— Монета е?

— Ма, -- и карманы Мишка выворотил, разбрыливая махорку. — Да откуда и взяться деньгам, ежели еще вчера...

— Хха.

— Ххы.

— Вот дело, сучий потрох, умрешь — гроб не на што купить.

— Заслужили мы с тобой алтын да копу, да...

— В три спаса, в кровину, в утробу мать!

Призадержались у лавчонки. Што один, то и другой. Одного направленья ребятки.

— Дернем?

— Дернем.

— Майна брашпиль?

— Майна.

— Ха.

— Хо.

Мырнули под крыло двери.

Сидели за мраморным столиком, жадно уминали окаменелую колбасу, прихлебывали ледяное пиво и гадали, какая сольется.

— Ходили-ходили, добра не выходили. Опять не миновать какому-нибудь товарищу в зубы заглядывать.

— Ножик вострый.

— Нашинску братву пораскидали всю.

— Край.

— Во все-то щели кобылка понабилаась, а кобылка — народ невзыскательный — што в зубы, за то и спасибо.

— Вань, щека лопнет.

— Г-гы... — намял Ванька полон рот колбасы и

глаза выкатил. Грохнул Ванька комлястым кулаком по столу и промычал:

— Омманем... Не кручинься, елова голова, омманем...

— Главный козырь — на суденьшко грохнутья.

— Первое дело.

— А в случае чего и блатных поискать можно.

— По хазам мазать?

— Почему не так? И по хазам можно, и несгорушку где сковырнем.

— Чепуха, — говорит Ванька, — нестоящее дело... Мы с тобой и в стопщиках пойдем первыми номерами.

— Не хитро, а прибыльно.

— Не пыльно, и мухи не кусают.

В гавани

динь-длянь:

четыре склянки.

Братки заторопились.

За шапки,

за мешки,

хозяин счетами трях-щелк:

— Колбасы пять фунтов...

Мишка засмеялся,

Ванька засмеялся:

— Не подсчитывай, старик, все равно не заплатим...

Рассовывая по карманам куски недоеденного сыра, — от колбасы и шкурок не осталось — Ванька примиряюще досказал:

— За нами не пропадет, заявляю официально...

У хозяина уши обвисли:

— Товарищи матросы, я, я...

Покатились, задрезбуждали счеты по полу...

Мишка подшагнул к хозяину и надвинул ему плисовый картуз на нос:

— Старик, ты нам денег взаймы не дашь?.. А?

Черный рот хозяина захлебывался в хлипе, в бормоте...

Ванька вмиг сообразил всю выгодность дела.

Ухватился за ввернутое в пол кольцо, понапружился, распахнул тяжелую западную подпола:

— Живо!

— Бей!

— Хри-Хри-Христос...

Старика пинком в брюхо

в подпол.

Западня захлопнулась.

— Есть налево!

— Фасонно.

Деловито обшарили полки, прилавок. Выгребли из конторки пачки денег. Сновали по лавке проворнее, чем по палубе в аврал.

— Стремь, Ваньчо.

— Шемоняй.

Мишка кинулся в комнату, провонявшую лампадным маслом и дельфиньей поганью.

Ванька из лавки вон. У двери присел на тумбу и, равнодушно поглядывая по сторонам, задымил трубкой.

К лавке подошла покупательница, хохлатая старушка.

Ванька поперек.

— Торговли нет, приходи завтра.

— Сыночек, батюшка...

— Торговли нет, учет товаров.

— Мне керосинцу бутылочку...

— Уйди!.. — рассердился матрос.

Старуха подобрала юбки и, крестясь, отплевываясь, отвалила.

Мишка из лавки, на Мишке от уха до уха улыбка заревом, банка конфет под полой у Мишки.

— Не стремно?

- Ничуть.
- Пошли?
- Пошли, не ночевать тут.
- Клево дело.

Неподалеку на углу, подперев горбом забор, позевывал мордастый „пес”: в усах, в картузе казенном, и пушка до коленки.

Подкатились к нему.

Из озорства заплели вежливый разговор:

— Землячок, скажи, будь добер, в каком квартале проживает крейсер Нашинский? Дозарезу надо...

— Ищем-ищем, с ног сбились...

Щурился „пес” на солнышко... Судорожным собачьим воем вздоил позевку и прикрыл пасть рукавом:

— Не знаю, братки...

Угостили дядю конфетами, пощупали у него бляху на груди:

— Капусту разводишь?

— Да не здешний ли ты?

Польщенный таким вниманием, милицейский откачнулся от забора, чихнул, высморкался в клетчатый платок и окончательно проснулся... Даже усы начал подхорашивать.

— Мы дальни, ярославски... А зовут меня Фомой... Фома Денисыч Лукоянов... Моряков я страх уважаю... У меня родной дядя Кирсан, может слышали, на „Варяге” плавал.

Ванька дружески хлопнул его по широкой лошадиной спине:

— И куфарка у тебя е?

— Есть небольшая, — виновато ухмыльнулся Фома, но сейчас же подтянул засаленный кобур и строго кашлянул.

А матросы бесом-бесом:

— Дурбило, зачем же небольшая?.. Ты большую заведи, белую да мягкую, со сдобом...

— На свадьбу гулять придем.

— Прощай.

— Прощевайте, братишки.

По берегу полный ход.

— По дурочке слилось.

— Ха-ха.

— Хо-хо.

Конфеты в карманы,

банку об тумбу.

3

С утра бушевал штормяга. К вечеру штормяга гас.

Из дымной дали, играя мускулами гребней, лениво катили запоздалые волны и усталыми крыльями бились в мол. Зачарованный ветровыми просторами, на горе дремал город, в заплатках черепиц и садов похожий на бродягу Пройди-Свет...

В Ваньке сердце стукнуло.

В Мишке сердце стукнуло,

враз стукнули сердца.

— Вот он!.. Родной!

— Вира брашпиль!

Обрадовались, будто находке, кораблю своему:

Кованый,

стройный,

затянутый в оснастку —

сила,

не корабль, игрушка, хоть в ухо вздень.

Топали по зыбким деревянным мосткам... Топали, уговаривались:

— Бухай, да не рюхай.

— Не бойсь, моря не сожгем.

— Распросы-допросы... Как да што? Партийные ли вы коммунисты? Лей в одно: так и так, мол, оно хошь и не гармонисты, а все-таки парни с добром. Нефть и уголь и золотые горы завоевали, сочувствуем хозяйственной разрухе и так далее.

— Не подморозим, сверетением.

— Бултыхай: „служим за робу”.

— Для них не жалко последние из штанов вытряхнуть...

Замусоренная бухта круто дышала перегаром угля, ржавым железом и сливками нефти.

Синий вечер.

Кровью затекало закатное око. Качелилось море в темно-малиновых парусах.

У трапа волчок.

Шапка матросская,
 под шапкой хрящ,
 ряжка безусая,
 лощ,
 прыщ,
 стручок зеленый.

— Вам куда, товарищи?

— Как куда? — упер Мишка руки в боки. — Имеешь ли данные нас допрашивать?

— То есть, я хотел...

— Козонок.

— — и Ванька шутя попытался вырвать у парня винтовку.

Тот зашипел, как гусь перед собаками, вскинул винтовку на изготовку и чуть испуганно:

— Чего надо?

Братки в рев:

— Ах ты, лярва!

— Мосол!..

— Моряк, смолено брюхо!.. Давно ли из лаптей вывалился?

— На! Коли! Бей!

И давай-давай гамить. От их ругани гляди-гляди матчы повалятся, трубы полопаются.

Завопил волчок:

— Ваааахтенный!.. Товарищ вааа...

Подлетел вахтенный начальник:

— Есть!

Вахнач такой же сморчок: из-под шапки чуть знать, клеш ему хоть под горло застегивай, на шее свистулька, цепочка медная, кортик по пяткам бьет.

— Кто тут авралит? Ваши документы?

— Почему такое, бога мать...

— Штык в горло, имеет ли данные?

*

В это же время в боцманской каюте старик Федотыч мирно беседовал с выучениками машинной школы Закроевым и Игнатьевым. Завернули они к нему на деловую минутку да и застряли: любили старика, ласковее кутенка было сердце в нем.

Бойкими гляделами по стенам, по цветным картинкам:

— Товарищ боцман, а это што за музыка?

Гонял Федотыч иголку, белишко латал, — зуд в руках, без дела минутки не посидит, — гонял боцман иголку и укачивался в зыбке воспоминаний:

— Это, хлопцы, английский город Кулькута, в расчудесной Индии помещается... Город, ничего, великолепный, только жалко, сляпан на деревенскую колодку: домов больших мало.

Оба-два:

— И чего торчим тут? Сорваться бы поскорее в дальнее...

— Расскажи нам, Лука Федотыч, что-нибудь из своих походов.

Обметан былшем глаз старика легок:

— Впечатлениями заниматься нам было не время... Неделю-две треплет-треплет тебя, бывало, в море: моги-и-и-ила... Бьет и качает тебя море, как ветер птицу... Ну ж, дорвешься до сухой пути — пляши нога, маши рука, г-гуляй!.. Мокни, сердечушко, мокни в веселом весельице... Раздрайка-раздрайка, бабы-бабы...

Оба парня в думе, ровно в горячей пыли:

— Эх-ба...

— А волны там большие бывают?

Отложил боцман работу, плечо развернул, кремнистым глазом чиркнул по молодым лицам, перемазанным олеонафтом и жирной копотью:

— Дурни...

Помолчал, пожевал губами, строго и торжественно поднял руку:

— Окиян...

Обмяк старый боцман:

— Местечки там есть глыбиной на сотню верст... Можа и больше, убедительно сказать не могу, сам не мерил, знающие люди сказывали... Одно слово: окиян...

Молодые языки россыпью смеха, молодые языки бойки:

— Ого.

Эге.

— Страны, народы... Интересно, комсомольцы у них теперь есть?

Понятно, — подсказал Закроев. — Тянет ветер от нас, ну и там волну разводит...

Старик разохотился, свое высказывает:

— Этого не знаю и врать не хочу... А бабы вот у них е-е-есть... Прямо, надо сказать, проблинатические бабы: за милу душу уважут, так уважут — чуть уползешь. В наших некультурных краях ноги на нет

стопчешь, а таких баб не сыщешь... И год пройдет, и два пройдет, и пять годов пройдет, а она тебе, стерва, все медовым пряником рыгается...

От хорошей зависти зачесался Закроев, ровно его блохи закусали: сосунок, волос густой, огневой отлив — метелка проса спелого, по дубленому лицу сизый налет, в синеющих глазах полынь сизоперая. Пахло от Закроева загаром, полынью и казенными щами.

Наслушался парень, защемило в груди, разгорился:

— Хренова наша службишка... Сиди тут, как на цепи прикованный...

— Хуже каторги...

Старик на растопыренных клешнях разглядывал латки, выворотил подсиненные голодовкой губы:

— Не вешай, моряк, голову...

— Да мы ничего...

— Разве ж не понимаем, разруха. Ничего не попишешь, разруха во всероссийском масштабе.

Про берег думать забудь... О марухе, о свате, о брате, о матери родной — забудь... К кораблю льни, его, батюшку, холь... Так-то, ребятушки, доживете и вы, все переглядите, перещупаете... А пока вникай и терпи. Служба, молодцы, ремесло сурьезное. Где и так ли, не так ли — молчок... И навернется горька солдатска слеза — в кулак ее да об штанину, только всего и разговору. Дисциплинка у вас форменная, это верно, да и то сказать, для вашей же пользы она: жир лишний выжмет, силой нальет.

Игнатьев сказал, ровно гвоздь в стену вбил:

— Дисциплина нам нет ништо, с малых лет к ней приучены.

— Советские начальники ваши деликатное обращение уважают. Чуть што, счас с вами за ручку, в приятные разговоры пустятся, выкают... С матро-

сом и вдруг за ручку, это дорогого стоит... Эх, коммунаята вы, коммунаята, ежели бы знали, сколько мы, старики, бою вынесли...

— И мы, Лука Федотыч, не из робких... И мы, мяты-терты, на всех фронтах полыскались.

— Ну мы-ста, да мы-ста, лежащей корове на хвост наступили, герои, подумашь! Говорено — слушайте, жевано — глотайте.

— Вари-говори.

— Д-да, так вот еще на памяти, дай Бог не забыть, в ту Кулькуту, в индейскую землю, довелось мне плавать с капитаном Кречетовым. Ох, и лют же был, пес, не тем будь помянут, беды... В те поры я еще марсовым летал. В работах лихой был матрос, а вот, поди ж ты, приключилось со мной раз событие: не успел с одного подчерку марса-фал отдать... Подозвал меня Кречетов и одним ударом, подлец, четыре зуба вышиб... Строгий был капитан, Царство Небесное...

В дверь

стучок.

В дверь вахнач:

— Лука Федотыч, на палубе безобразие.

— Лепортуй.

Вахнач доложил.

— Ежели пьяны, гнать их поганым помелом! — приказал боцман.

— Никак не уходят, вас требуют.

— Меня?

— Так точно.

— Кто бы такие?... Пойти взглянуть...

На палубе свадьба галочья вроде.

Мишка в обиде,

Ванька в обиде:

— Штык в горло...

— Собачья отравка... Ччырнадцать раз ранен.

И прочее такое.

Боцман баки огненные взбил и неторопливо грудью вперед:

— В каком смысле кричите?

Ванька зарадовался,

Мишка зарадовался:

— Федочч!..

— Родной!..

И старик узнал их. Заулыбался, ровно сынам своим.

По русскому обычаю поцеловались и раз, и другой, и третий.

— Баа. Ваньтяй... Бурилин...

— Жив, Федочч?.. А мы думали, сдох давно...

— Каким ветром вынесло?.. Ждал-ждал, все жданки поел.

Волчок с недовольным видом отшагнул, пропуская на корабль горластых гостей.

4

В каюте обрадованный Федотыч с гостями.

Помолодели ноги, и язык помолодел, игрив язык, как ветруга морской. Легкой танцующей походкой старого моряка боцман бегал по каюте вприпрыжку, метал на кон все, что нашлось в запасе. Не пожалел и японского коньяку бутылочку заветную, которая сдавна хранилась в походной кованной шкатулке.

— Раздевайтесь, гостечки желанные, раздевайтесь, милости просим...

Дружки стаскивали рванину.

— Скрипишь, говоришь?

— Ставь на радостях пьянки ведро...

Старик забутыливал и тралил закусками стол:

— Скриплю помалу... Раньше царю, теперь коммуне служить довелось. Чего ты станешь-будешь делать?.. Живешь, землю топчешь, ну, знач, и служи... Давненько не залетывали, соколики, давненьк...

— Не вдруг.

— Сквозь продрались.

— Подсаживайтесь, братухи, клюйте... Корабли по сухой пути не плавают.

Ваньку с Мишкой ровно ветром качнуло:

— Нюхнем, нюхнем, почему не так, взбрызнем свиданьице.

— Пять годков, можно сказать...

Искрились стаканчики граненые, вываливались пересохшие языки: ну, давай...

— Ху-ху, — заржал Ванька и закрутил башкой, — завсегда у тебя, Лука Федочч, была жадность к вину, так она и осталась. И нет ничего в бутылке, а все трясешь, выжимаешь, еще капля не грохнет ли...

— И капле пропадать незачем... Ну, годки, держите... Бывайте здоровеньки... Дай вам Бог лебединого веку, еще, может, вместе послужить придется...

Чокнулись,

уркнули,

крякнули.

— Мало... Тут на радостях ковшом хлестать в самый раз!

— Пока ладно. Счас кофею сварю. Где были, соколы?

— Ты спроси, где мы не были?

— Пиры пировали, дуван дуванили...

Кофей в кружки,

старик в шепоток:

— На Троицу подъявлялся тут Колька Галчонок, из-под Кронштадту чуть вырвался... По пьянке ухал, что вы с Махно ударяли?

-- Боже упаси.

— Огонь в кулак, вонь по ветру.

Наверху языкнули две склянки. Невдалеке суденышко бодро отъезхнулось: день-нь-ом... день-нь-ом... И еще бойким градом в лоток бухты зернисто посыпались дини-бомы. По палубе топоток, стукоток — команду выводили на справку, а по-солдатски сказать, на поверку.

Бессонов?

— Есть!

— Лимасов?

— Есть!

— Кудряшов?

— Есть!

— Закроев?

— Есть!

— Яблочкин?

— Есть!

— Есть!

— Есть!

— Есть!

Гремела команда:

— Шапки на-деть! По своим местам бе-гом!

По палубе хлынул бег,

в парусиновую подвесную

койку укладывался корабль спать.

В Мишке сердце стукнуло,

в Ваньке сердце стукнуло,

враз стукнули мерзлые, отошальные сердца:

— Кораблюха...

— Распиши, старик, как живете, чем дышите?

Подмоченный коньяком боцман морщился и вываливал новости:

— Живем весело, скучать недосуг. Работа одна отрада, одна утеха, а так ни на что не глядел бы... Назола, не жизнь... Моряков старых всего ничего осталось, как вихорем пораскидало. На отор

рвут... Все загибают в свои лапы эти комсалисты, крупя...

Взгалдели:

— Ботай, чудило... Как же без нас-то?

— Мы в гвозде шляпка.

— То-то и оно, шляпки ноне не в почете.

Охнули,

ххакнули,

задермушились:

— Тызы, шестерки, виновны козыри...

— Старый моряк... Мы — девятый вал!

Мах рукой просмоленной, обугленной в сол-
нечке:

— Девятый?.. А то идет десятый вал... Полундра!
Все накроет, все захлестнет, партийная сила зубаста.

— Эдакого нагородишь...

— Силы — вагон, еще повоюем.

— Крышка, соколы, о прежнем времечке думать забудь. Нонче куда ни повернись, в ячейку угодишь али в кружок... И мне, старому дураку, кольцо в губу да в тарарам-студию. Чуть отыгрался. Ты, говорят, товарищ боцман, будешь вроде купца. Тьфу, мне ли в такие дела на старости лет...

— Ха-ха-ха, зашел Федоч!

— Дела-делишки...

— Бывалошно-то времячко любому сопляку при-
паял бы я неочередной наряд в галюн с рассеивани-
ем, а теперь — шалишь. Как, да кто, да на каком основании... Вызовет вахтенный какого-нибудь са-
лагу, тот и начнет бубнить: „Почему меня, а не дру-
гого? Это не так, да это не эдак...” Башку оторвать
мало за такие разговорчики!

— Растурись, старик, огоньку бутылочку, другую,
сосет... Денежки у нас е, денежек подмолотили.

— Погазуем!

— Во вкус вошли?.. К фельшеру разя сунуться?

— Крой.

— Пистоны есть, на, держи!

Мишка выбросил на стол пучагу засаленных кредиток.

Горели, чадили сердца: бутылкой не зальешь, в море не утопишь... Куды тут... Широки сердца моряцкие, как баржи.

Убежал старик.

— Хха.

— Ххы.

— Во, как наши-то вырываются...

— Эдак.

Федотыч

с бутылками.

В стаканы разливал по-русски, всклень, через края расплескивал.

Рассказывал боцман такое:

— Осталось у нас после белых лодка с дыркой да челнок без дна... И наш корабушка по уши в воде торчал. Котлы были порваны, арматура снята, ржавчины на вершок, травой все проросло. Стук — приказ: „Товарищи, восстановить!” — „Есть!” Какой разговор?.. Есть и отдирай. Взялись. Давай-давай! С чего взяться? Струменту нет, матерьялу нет, денег нет, хлеба мамалыжного по полфунту в день... В трюмах вода, в рулевом вода, в кочегарке вода, клапаны порваны, отсеки разведены, ну разруха на тыщу процентов... Качать воду надо. А как ее будешь качать, ежели турбины застопали? Удалые долго не думают, давай вручную мотать — пердячим паром. Гнали-гнали, гнали-гнали, глаза на лоб лезут. Стой, конвой! Приходим ватагой до начальника комиссара. „Вам паек?” — спрашивает он. „Паек...” — „Нет пайка, товарищи. Разруха, голод, красный ремонт, надо быть сознательными и так далее. Вот, — говорит, — вам махры по две осьмушки на рыло, а

больше ничего сделать не могу. Скоро пришлют, — говорит, — из центра, комсалистов на подмогу, а больше ничего сделать не могу”. Закурили мы той самой махры, утерлись да и пошли.

Мишка с Ванькой слушали тяжело, тяжело рыгали, уперев глаза в пол.

Федотыч бегал по каюте, вязал слова в узлы:

— Разве ж когда вырывалось из моряцких рук хоть одно дело?.. Никогда сроду. По щепке склеили, по винту снесли, а сгрохали кораблюшку. Завод же опять помог, шибко помог. Комса поддержала. Ребятишки, а старатели, цепки до дела, прокляты...

— Ты что же, за лычком тянешься? — спросил Ванька.

— Лычко мне ни к кому, издыхать пора... И совсем тут не в лычке звук.

Подmokли,

рассолодели,

в руготне полоскались яро.

— Утятя?

— Крупа, говоришь?

— Прямо сказать, пистоны. Никакого к тебе уваженья. Хозяевами себя чувствуют, хозяевами всего корабля, а может, и всей Расеи. Мы, гыт, принципиально и категорически. Не подойди... Заглянул счас на полубак, там их полно. Кричат, ровно на пожаре. День в работе на ногах, ночью, глядишь, где бы отдохнуть, а они, суконные сыны, собранье за собранием шпарют, ровно перебесились...

Старик помолчал, поморщился и добавил:

— Политика... И сколько она этого глупого народу перепортила, беды! Пей, ребятишки...

Мишка воткнул в старика тяжелый взгляд:

— Ах, Федоч, рыжа голова.

И Ванька посмотрел на старика быковато:

— Из старой команды остался кто?

— Есть, есть... Ефимка подлец, сигнальщик Лаврушка, шкипер Алексей Фонасьич, коком все Алешка Костылев, да теперь, слышно, на берег его списывают за хорошие дела.

— Чем они дышат?

— Ефимка в ячейку подался, а эти вола валяют, дела не делают и от дела не бегают.

Боцман, по старой привычке, поймал горсть мух, выжал в стакан, долил горячим и уркнул одним духом.

На стрежне

заиграли сердца

блестко.

— Не подфартит, так всей коллегией гайда в Уманыщину гулять!

— Натуральная воля и простор широких горизонтов.

Старик в скул:

— Нет, годки, я свое отгулял. Убежало мое времечко, на конях не заворишь... Судьба, верно, мне сдохнуть тут.

— Завей слезу веревочкой... Ноги запляшут...

Мишка, захлебываясь пьяной икотой, оживлял в памяти переплывтые радости:

— Жизнь дороже дорогова... Пьянку мы пили, как лошади. Денег — бугры! Залетишь в хутор — разливное море: стрельба, крик, кровь, драка... Хаты в огне! Хутор в огне! Сердце в огне! Цапай хохлушку любую на выбор и всю ночь ею восхищайся!

— И сахар, и калач?

У-у, не накажи Бог.

— Церковь увидишь, и счас снарядом по башке щелк.

— Да, церкви мы били, как бутылки.

— Вперед жизни бежали, так бежали — чоботы с ног свалились.

Ой, яблочко
да с листочками,
идет Махно
да с сыночками...

Дробно чечётку рванул Ванька.

Замахал старик рукавами, зашипел:

— Тишша... На грех старпом услышит, загрызет.

— Качали мы его. Какой-нибудь интеллигент из деревенской жизни.

Федотыч заспорил:

— Ну, нет. Он хотя и не горловой, а в службе строгость обожаёт. Дисциплинка у них на ять. Комсалисты, понятно, крупа крупной и в работах еще не совсем сручны, но и счас уж кой-кому из стариков пить дадут. Хванц... Ругаться им по декрету не полагается, это зря. Без ругани какой моряк? Слякоть одна, телята...

— А мы в замазке остаемся?

— Зашло наше за ваше...

Сидели Мишка с Ванькой на столе, и все в них и на них играло, плясало. Плясали, метались глаза. Дергались вертляво головы. Прыгали плечи. Скакали пальцы в бешеном галопе. Трепыхались руки, как вывихнутые. Убегали и скользили копыта. В судороге смеялись, радовались, едко сердились горячие губы, торопливо ползали юркие уши. Зудкая ловкость, узловатая хваткость, разбитые в-нет ботинки, вихрастые лохмы, язык в жарком व्यохре...

Все в них и на них орало:

Скорей,

скорей,

даешь!

Старик свое дугой выгибал:

— Как-то с весны ходили мы в море котлы пробовать. Ночь накрыла, буря ударила. Закачало, затрепало нас. Аврарила молодежь. Ребятчи руки, а было чему подивиться. Клещи! Бегали по команде, ровно гайки по нарезу... Годик-другой, и морячки из них выйдут за первый сорт.

Беспокойно зашебутились дружки:

— Заткнись, за лычком тянешься.

— Крутись, не крутись, в комиссары не выпрыгнешь.

Закостерился боцман:

— Растуды вашу, сюды вашу, чего хорохоритесь?

— А мы тебе жлобье, што ль?

— Нашел чудаков!

Ванька плеснул старику на лысину опивками кофейной гущи.

Мишка заржал и

в сон, как в теплое тухлое озеро.

5

Из койки боцман вывалился рано и отправился в обычный утренний обход. Легким шагом топтал кубрик, жилую палубу. На все кидал зоркий хозяйский глаз. Проверил вахту, зевнул в утро, мелким крестом захомутал волосатый рот и пошел к портному Ефимке за утюгом.

Умывался Федотыч с душистым мылом, старательно утюжил суконные шкеры: к капитану, а по советски сказать, к командиру собирался.

Ванька валялся на полу,

поднял Ванька хриплую голову:

— Брось, Федочч, до дыр протрешь... Кха-кха!.. Достал бы ты лучше похмелки.

И Мишка из-под стола голос подал:

— Растурился бы капуста кислой аль рассолу... Истинный Господь, кирпич в горло не лезет...

В двенадцать, с ударом последней склянки, втроем в капитанскую каюту: боцман — деревянный и строгий, Мишка с Ванькой виноватые, опухшие, мятые, ровно какое чудище жевало-жевало, да и выплюнуло их.

Капитан с кистью.

Перед капитаном лоскут размалеванного полотна: море, скалы, облака... Наклонит капитан голову набок, поглядит, мазнет слегка. На другой бок голову перевалит, глаз прищурит, еще мазнет... Шея у него, как труба дымогарная, ноги — тумбы, лапы — лопасти якорные, пальцы — узлы, спина — кряж: хороший капитан, старинной выварки.

На боцмана по привычке утробно рыкнул:

— Ну?

Федотыч шагнул.

— Мы, Вихтор Дмитрич...

— Подожди. Видишь, я занят.

Мишка с Ванькой глазом подкинули капитана и ни полслова не сказали, а подумали одно: ежели топить, большой камень нужно. Вспомнился восемнадцатый годочек, когда в Севастополе офицеров топили...

В каюте по стенам вожди, модель корабля, гитара на шелковой черной ленте. К стене прилип затылком трюмный механик Черемисов: жидкие ножки подпрыгивали, сосал сигару, пожалованную с а - м и м, рыбий глаз на картину косил:

— Недурственно, знаете... Ей-Богу, недурственно... Перелив тонов и гармонии красок, знаете, эдак удачно схвачены.

Капитан упятился на середину каюты, откинул могучий корпус и прищурился:

— Дорогой мой, а не кажется ли вам, что эти камни кричат?

Бесстрашный боцман попятился, а Черемисов закашлялся:

— Камни?.. Да, как будто, действительно, того...

— Чаек нет, — сказал Ванька, — а без чайки и море не в море... На озере и то утки, например...

Капитан грозно нахмурился, просветлел, раскатисто рас-хо-хо-хотался и хлопнул Ваньку по тощему брюху:

— Верно! Люблю здоровую критику! Очень верное замечание... Ты кто такой?

Федотыч:

— Мы, Вихтор Дмитрич...

Утакали,

удакали,

эсэжили дела по-хорошему.

Из каюты капитановой вывалились в богатых чинах:

Ванька — баталер, Мишка — кок.

По палубе комиссар.

Дружки колесом на него:

— Даешь робу, товарищ комиссар!

— Рваны-драны, товарищ комиссар!

Ванька вывернул ногу в разбитом ботинке. Мишка под носом комиссара перетряхнул изодранную в клочья фуфайку.

— Поллюйтесь, товарищ комиссар...

— А которы в тылу, сучий их рот...

Комиссар бочком-бочком да мимо:

— Доложите рапортом личному секретарю, он мне доложит.

— Какие такие рапорты, перевод бумаги...

— Дело чистое, товарищ комиссар, дыра на робе всю робу угробит, не залатаешь дыру, в дыру выпадешь...

Братухи дорогу загородили, комиссару ни взад, ни вперед. Поморщился комиссар, шаря по карма-

нам пенсне. Ни крику, ни моря он не любил, был прислан во флот по разверстке. Тонконогий комиссар, и шея гусиная, а грива густая — драки на две хватит.

— Извините, товарищи, аттестаты у вас имеются?

— Вот аттестаты, — засучил Мишка штанину, показывая зарубцевавшуюся рану, — белогвардейская работа...

А Ванька выхватил из глубоких карманов пучагу разноцветных мандатов, удостоверений, справок... Изъясняться на штатском языке, по понятию дружков, было верхом глупости, и, стараясь попасть в тон вежливого комиссара, Ванька заговорил языком какого-нибудь совслужа:

— Пожалуйста, читайте, товарищ комиссар, будьте конкретны... Ради Бога, в конце концов, сделайте такое любезное одолжение... Извините, будьте добры.

Робу выцарапали.

*

Клеши с четверга в работу взяли. Уж их и отпаривали, и вытягивали, и утюжили, и подклеивали, и прессовали, — чего-чего с ними не делали... Но к воскресенью клеши были, безусловно, готовы. Разоделись дружки на ять. Причесочки приспустили а-ля шаля. Усики заманчивые подкрутили.

Заложили по маленькой.

— Давай развлечения искать.

— Давай.

Гуляли по бульварчику по кудрявому, к девкам яро заедались:

— Эй, Машка, пятки-то сзади...

— Тетенька, ты не с баржи, а то на-ка, вот, меня за якорь поддержи.

Конфузились девки.

- Тьфу, кобели!

— Черти сопаты!

— Псы, пра, псы...

Ванька волчком под пеструю бабу — сзади вздернул юбку, плюнул.

Баба в крик:

— Имеешь ли право?

И так матюкнулась,

Ваньку аж покачнуло.

Мишка с Ванькой на скамейке от смеху ломились:

— Ха-ха-ха...

— Га-га-га-га-га-га-га-га-а...

Весело на бульварчике, гоже на кудрявом.

В ветре электрические лампы раскачивались... На эстраде песенки пели... Музыка пылила...

Девочки стадами... Пенился бульварчик кружевом да смехом.

Вечер насунул.

Шлялись дружки туда и сюда, папироски жгли, на знакомую луну поглядывали...

— Агашенька...

— Цыпочка...

Не слышит Агашка-Гола-Голяшка,

мимо топает...

Шляпка на ней фасонная, юбочка клеш, пояском лаковым перетянута. Бежит, каблучками стучит, тузом вертит... Ох ты, стерва...

Догнали Агашку,

под ручки взяли,

в личико пухлое заглянули:

— Зазнаваться стала?

— Или денег много накопила, рыло в сторону вортишь?

— Ничего подобного, одна ваша фантазия...

Купили ей цветов: красных и синих, всяких. Цена им сто тыщ. Ванька швырнул в рыло торговцу десять лимонов и сдачи не требовал: пользуйся, собака, грызи орехи каленые.

Агашка гладила букет, ровно котенка:

— И зачем эти глупости, Иван Степаньч? Лучше б печеньев купили.

— Дура, нюхай, цвет лица лучше будет.

И Мишка поддюкнул:

— Цветы с дерева любви.

Агашка сияла красотой, но печальная была. Пудренный носик в цветки и плечом дернула:

— И чего музыка играть перестала?

Гуляли-гуляли, надоело... Как волки овцу, тащили Агашку под кусты, уговаривали:

— Брось ломаться, не расколешься, не из глины сляпана...

... И опять же мы тебя любим...

— Ах, Миша, зачем вы говорите небрежные слова?

— Пра, любим. А ты-то нас любишь ли?

— Любить люблю, а боюсь: двое вас.

Тащили.

— Двое не десятеро... Ты, Агашка, волокиту не разводи...

— Люблю-люблю, а никакого толку нет от твоей любви...

И Мишка подсказал:

— Это не любовь, а одна мотивировка...

*

На корабль возвращались поздно.

Пьяная ночь вязко плелась нога на ногу. Окаянную луну тащила на загорбке в мешке облачном.

Дружков шатало, мотало, подмывало.

Ноги, как вывихнутые, вихлить-вихлить, раз на тротуар, да раз мимо. Травили собак. Рвали звонки у дверей. Повалили дощатый забор. Попробовали трамвай с рельс ссунуть: сила не взяла.

Ввалились в аптеку:

— Будьте любезны, ради Бога, мази от вшей.

Тарасила аптека заспанные глаза:

— Вам на сколько?

— Мишка, на сколько нам?

— Штук на двести...

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а!..

С ревом выкатились на улицу.

Мишка-Ванька, Ванька-Мишка разговорец плели. Ванька в Мишку, Мишка в Ваньку огрызками слов:

— Женюсь на Агашке... Только больно тощая, стерва, мослы одни.

— Валяй, нам не до горячего, только бы ноги ко-рячила.

— Она торговать, я деньги считать.

— В случай чего и стукнуть ее можно, разы-раз и голову под крыло.

— Куды куски, куды милостинки...

— Службу по боку, шляпу на ухо, тросточку в зу-бы и джа-джа-дживала... На башку духов пузырек, под горло собачью радость, лихача за бороду...

— Гуляй, малый...

Собачья радость — галстук. Агашка, у Агашки лавка галантерейная в порту.

6

В железном цвету, в сером gryмыхе кораблюш-ко. В сытом лоске бока.

Шеренгами железные груди кают.

Углем дышали жадные рты люков.

И так, и так заклепками устегано наглухо.

Со света дочерна по палубе беготня, крикотня. С ночи до ночи гулковался кораблюха. В широком ветре железные жилы вантов, гиковых — гуууу-юуууу...

Рангоут под железо.

В захлеб-бормотливой болтовне турбин буль-уль-уль-пульк-ульх: жидкого железа прибой. Дубовым отваром, смолкой хваченная оснастка задором вихревым стремительно вверх, в стороны, по крыльям мачт хлесть, хлесть.

Теплое вымя утра.

Кубрик в жарком храпе. Молочный сонный рот хлябло: пц'я... пц'я... В стыке губ парная слюна, по разгасившейся щеке слюна: сладок и мертвецки пьян молодой сон. В каждой груди румяное сердце ворковало голубем.

А железное кораблево сердце металось в железном вое.

Сигналист выделявал:

Зу-зу-зу-зу-зу-зу-ууу...

Зу-зу-зу-зу-зу-зу-ууу...

Побудка.

По кубрику бежал Федотыч, за ним вахтенный начальник, старшины. Бежали со свистками, с дудками, с криком, ревом, с крепкой моряцкой молитовкой, ровно с крестным ходом:

— Вставать, койки вязать!

— Э-ей, молодчики, поднима-а-айсь!

— Вставать, койки вязать!

Слаще молодого поцелуя утренний сон, не оторвешься. Из-под казенных шинельных одеял лил, бил крепкий дух теплых молодых тел. Недовольные глаза сердито в начальство:

— Счас, сча...

— Разинули хлебалы...

— Рано, чего бузывать безо время...

В позевотину,

в одеяло,

в храп.

Это те самые разговорчики, которых так не любил старый боцман.

И вторым ходом шел Федотыч с шумом, руганью и свирепыми причитаньями. Шутка ли сказать, двенадцать годков боцманил старик, к лаю приохотился, ровно поп к акафистам. От самого последнего салажонка до боцмана на практике всю службу до тонкости произошел. Каждому моряку с одного взгляду цену знал. Крик из него волной, а до чего прост да мягок был старик, и сказать нельзя. Вторым ходом шел, стегал руганью большее плети:

— Вставать!..

Время в обрез.

Вскакивали молодые моряки, почесывались... Койки шнуровали, бросали койки в бортовые гнезда.

Пятки градом.

В умывальне фырк, харк.

Краснобаи рассказывали никогда не виденные сны.

— Кипяток готов?

— Есть!

Котелки, бачки, кружки, сухари ржаные, сахару горсть на целую артель. Только губу в кружку — сигнал на справку. Чавкать некогда, все бросай, пулей лети наверх. Прав Федотыч, раньше вставать надо.

Пятки дробью.

Через полминуты на верхней палубе в нитку выстраивались шеренги. Переключка гремела устоявшимися за ночь молодыми голосами.

Капитан с полуюта отзывал Федотыча от строя и морщился: ругань слышал капитан.

— Воздерживайся, старик, приказ, строго...

— Есть! — кратко отвечал боцман в счет дисциплины, а самого мутило. Он долго пыхтел, сопел загогулистой трубкой в смысле несогласия.

— Ну? — опрокидывался на него капитан.

Горячую трубку в карман, руки по форме, в просмолку словам договаривал:

— Декрет декретом, Вихтор Дмитрич, а при нашем положении без крепкого слова никак невозможно... И то сказать, слово не линек, им не зашибешь. Так только, глотку пощекотать...

Капитан в свое время тоже ругаться любил.

Сумрачный отвертывался,

ломались брови, ломались в злой усмешке сжатые губы. Говорил с откусом капитан, форменная качка в душе, не иначе. Федотыч знал своего хозяина до тонкости, до последнего градуса... Вздрайки ждал...

— Службу забыл, а еще старый боцман! Вышибалой тебе быть, а не боцманом военного корабля! Команду распустил! Безобразие!.. За своих людей ты мне ответишь!

— Есть! — Федотыч мелким мигом смаргивал.

Капитан-то, Виктор Дмитрич, тяжеленько вздохнул, ровно море переплыл, да и давай-давай чесать:

— В строю стоять не умеют. Подтянуть! Первую шеренгу левого борта на два дня оставить без берега! На полубаке вечером песню пели „Нелюдимо наше море“ — запретить! Самовольная отлучка с корабля рулевых Маркова и Репина. Недельку без берега и по пяти нарядов! Почему проглядел вахтенный начальник? Расследовать и привлечь! Подробности доложить через полчаса лично... Вчера, после вечерней окатки палубы, плохо протерты колпаки вентиляторов, блеска должного нет. Недопустимо!.. Виновного наказать по своему усмотрению!

— Есть! — повернулся боцман да ходу: приказ исполнять.

С а м вернул его:

— Постой... Погоди.

Тяжелый, как падающая волна, капитан хлопнул боцмана по плечу, жадно вгляделся в его грубое, простой дубки лицо.

— Относительно ругани ты, боцман, безусловно, прав. У меня у самого язык саднит, а все ж воздерживайся... Да-а.

Капитан вздохнул,

вздохнул Федотыч.

— Ничего не попишешь, Виктор Дмитрич, ба-а-аль-
шущий шторм идет, надо держаться.

— Да, дуют новые ветра. Ничего не попишешь, старик, надо держаться.

Широкой волной, буй-порывами хлестали, ветрили новые веселые ветра.

*

Через весь корабль гремела, катилась команда:

— Третьи и седьмые номера, стройся на левых шканцах!

— Шевелись!

— Треть, седьмые номера, на лев шканцы!..

— Подбирай пятки!..

— Треть, седьмые номера...

Бежали боцманы и старшины, начиналась разводка по работам.

Солнце на ногах,

команда на ногах,

команда верхом на корабле.

Впередогоньши: швабры, метелки, голики.

Плескался песок, опилки.

Веселое море опрокидывалось на палубу, заливало кубрик.

Глотки котлов отхаркивались корками накипи.

Топки фыркали перегаром, зернистой угольной золой.

Всхлипывали турбины.

Ходили лебедки, опрокидывая кадки шлаку в бортовые горловины.

Крик дождем,

руг градом,

работа ливнем.

Солнце горячими крыльями билось в мокрую палубу, щекотало грязные пятки, смехом кувыркалось солнце в надраенной до жару медной арматуре и поручнях.

Руки ребячьи, а хваткие, артельные. Глаза — паруса, налитые ветрами.

Глотка у Федотыча о-го-го:

— Давай-давай, живо, ребятишки!.. Бегай!.. Брыкин, бего-о-ом!

Глядеть тошно, когда в самую горячку какой-нибудь раззява шагом идет и брюхо распустит, ровно на прогулке. Башку оторвать сукиному сыну, службы не любит.

— Бега-а-ай!..

Такое у Федотыча занятие, никому из команды ни минуты покоя не дать, всем дело найти. Гонять и гонять с утра до ночи, чтоб из людского киселя настоящих моряков сделать, на то и старший боцман.

В проворных руках сигналистов плескались разноцветные флажки. В утробе кораблиной молодые моряки под присмотром инструкторов моторы перебирали, знакомились с деталями машин.

По капитанскому мостику бегал старший помощник: маленький, визгливый, цепкий. Брось в тысячную толпу, сразу узнаешь — военный. Выправка, по-

садка головы, корпус — орел. Привычка кричать с детства осталась, да и положение обязывало: какой же это к чёрту помощник, если кричать не умеет?

Старпом сердит: вчера спуск флага вместо обычных шести отнял тридцать секунд. Позор, чёрт знает что, скоты! Старпом угнетен, старпом удручен, он любит точность и свой корабль. Плохо спал, до завтрака не дотронулся — в чувствах расстройство.

Перегнувшись с мостика, он кричал на полубак, в визге злость жег:

— Не плевать!.. На борту не виснуть!.. Ходи веселей!.. Назаренко, два наряда!..

На полубаке, на разостланном брезенте, чтоб палубу не вывозить, разметались сменившиеся с вахты кочегары. Солнце лизало их шкуры, пропыленные угольной пылью, ветер продувал легкие. Кочегары с мрачным весельем поглядывали на мостик и переговаривались вполголоса:

— Лай, лай, зарабатывай хлеб советский.

— Злой что-то нынче...

— Он добрым никогда и не был.

— Держись, палубные, загоняет.

— И чего, сука, орать любит?

— Дворянин, да к тому еще и юнкер, аль не видал анкету-то?..

— Аа-а...

Оно и похоже...

Шлюпки на рейде в голубом плеске: гребное ученье. В такт команде размеренно падали весла, откидывались гребцы.

— Весла!..

— По разделеньям, не спеши!

— На во-ду! Раз, два!..

— Раз, два!..

— Навались!..

— Оба табань!..

— Суши весла!..

— Шабаш!..

— Запевай!..

Загребные заводят:

Во, тече течет река-а-а-а,
С речки до-о-о-о-о по-то-ка
За де-е-евочкой матрос
Гонится-а-а-а да-ле-ко...

Гремела сотня глоток:

Год проше-е-ол, и дочь иде-е-о-о-т
К матери у-ны-ло,
На рука-а-ах у ней лежит
Матросе-о-о-о-нок ми-лый...

Море качелилось,
 песня качелилась,
 качелились блестящие крики чаек.

*

Зу-зу-зу-зу!.. Зу-зу-зу-у!..

Сигнал на купанье.

Команда на борту.

Федотыч бодрит левофланговых:

— Гляди, не робей... Воды не бояться, не огонь...

Казенное брюхо береги... Снорови головой, руками
вперед!

— Есть!

Боцман руку на отлет:

— См-и-ирна!

Шеренга замерла.

— Делай, раз!

Рубахи на палубу.

— Два!

На палубе штаны.

— Три!

Пятки за борт.

В пене, в брызгах сбитые загаром тела. Горячие брызги глаз. Пеной, брызгами крики.

На борту Федотыч махал руками, кричал, его никто не слушал.

— Го-го-го-го-го-го-го-го-о-о-о-о-о!..

*

В обеденном супе редкая дробь крупы и ребра селедочки. На второе по ложке пшена. Выручали ржаные сухари.

— , — коротко выругался оглушенный казарменной жизнью комсомолец Иванюк.

— Ладит, да не дудит, — отзывался какой-нибудь посмелее.

Никогда не наедающийся Закроев мрачно гудел ругательства.

— Закроев, ты же в комиссии по борьбе с руганью?

— А ну их...

Поговорят так-то, да и ладно.

В послеобеденный час отдыха или по вечерам набивались в красный уголок, потрошили газеты, библиотекаря и буржуазию всего мира.

На полуоте — кольца, гантели, русско-французская. Заливались балалайки. Ревел хоровой кружок.

Динь-ом... Динь-ом...

Зацветали корабли огнями. Спать полагалось семь часов и ни минуты больше. Ночью в кубриках и по палубе молодые моряки метались во сне, сонно бормотали:

— Эжектора... Трубопроводы... Клапаны... Магнитное поле... Контргайка... Товарищи градусы...

7

Ходовые, деловые Мишка с Ванькой, не шпана какая-нибудь. Широкой программы ребятки. Оторвыши разинские, верно. И отчаянность обожают, тоже верно.

Матрос... Слово одно чего стоит! Надо фасон держать. Да и то сказать, бывало, отчаянность не ставилась в укор. Все прикрывал наган и слово простое, как буханка хлеба. Это в наше растаковское времечко телячья кротость в почете. В почете аршин, рубль да язык с локоть. Никогда, никогда не понять этого Мишке с Ванькой, не на тех дрожжах заквашены.

Бывало... Эх, говорено-говорено, да и брошено!

Бывало, и в Мишке с Ванькой ревели ураганы. И через них хлестали взмыленные дни: не жизнь, клюковка.

Леса роняли.

Реки огненные перемахивали.

Горы гайбали.

Облака топтали.

Грома ломали.

Вот они какие, не подумать плохого.

Не теперь, давно, в Мишкиной груди, в Ванькиной груди, как цепная собака по двору, метался баальшуший бог: клыкастый бог, матросский. С ним и авралить любо. Никакие страхи не страшны. Дашь и — гвоздь!

Гайдамака в штыки.

Буржуй... Душа из тебя вон.

Петлюру в петлю.

На Оренбург бурей.
По Заказанью грозой.
Волгой волком.
Урал на ура.
Ураган на рога.

Дворцы на ветер.

Шумели, плескались реки огненные... Шумела сила тягловая... Дымились сердца косматые... Цвела земля волнами гудливыми.

Забрало язычок.

В те разы, да ежели бы на все вожжи пустить... Наскрозь бы весь белый свет прошли. Табунами пожаров моря сожгли бы, горы посрывали...

А тут, на беду да на горе, — стоп, забуксовала машина. Хвать-похвать: дыра в горсти.

Измочалился бог — ни кожи, ни рожи. Так, званье одно, бог да бог, а поглядеть не на что. Слов нет, в огневых-то переплетах и ребята в мызг уездились. От жары волосы на башке трещали, глаза лопались, на шкуре места живого не осталось, все в синяках да ссадинах.

В уголь ужглись, укачало, утрепало...

Ну, а все-таки не валились. Руки делали, ноги бегали, одним оплетом глотки гремели:

— Дае-е-е-о-о-шь!.. В бога, боженят, святых угодников!..

Не вытерпел бог удали матросской, окошел: вонь, чад, смрад, в нос верт. Ни хомута, ни лошади. Кнут в руках, погонять некого.

Тоска,

смертный час,

тошнехонько.

Нынче теплушка, завтра теплушка. На одной станции недельку поторчат, на другую перебросятся, там недельку покукуют. Винтовки заржавели, пулеметы зеленью подернуло.

Девочек развели.

Девочки подбирались на ять. И не подумать, чтобы насильно или там за глотку. Ни-ни. Избави и не приведи. Моряк на такую программу не пойдет. Ну, а как это срисует девочку грубую, сейчас к ней подвалится, сармачком тряхнет, начнет американские слова сыпать: абсолютно, вероятно, и так далее... А той известно чего надо, поломается немного да и:

— Ах, мое сердце любовью ошпарено!

Тут и бери ее на прихват.

В теплушках печки чугунные, нары, мешки вещевые, узлы с барахлом, белье на растянутых бечевках. Днем на базарных столиках счастье вертели, пожирали жареную колбасу, скандалы запаливали, били жен и бутылки. Через всю ночь на легких катерах катались. Станции да полустанки, коменданты да вши...

Откуда-то подъявились штатские агитаторы и давай рукавами махать:

— Товарищи, трудфронт... Меняй винтовку на лопату и молот. Бей разруху...

Братки в скуку.

— Хха.

— Ххы.

— С чего такое?

— Што мы вам, фраера?

— Сучий потрох.

— Топор курве в темечко.

Голоса вразнобой.

В глазах у всех темно, ровно в угольных ямах.

Братки кто куда. Мишка с Ванькой в лет...

.....

Юрки ключи вешние, теклые сливачи. Сильна, жгуча вешняя вода, заревет — не удержишь. Вволю тешься, сердце партизанское. Кровью плещись

по морям, по пыльным дорогам. Полощись в кру-
тых азиатских ветрах. Полным ртом жри радость.
Хлебай гремучие кипящие просторы. Хлебай медо-
вые зерна деньков вольной волюшки.

.....
Широки степя.

Неуемны озорные ветра.

Кровь сладка.

Пляско вино.

Буй огонь, кипуч огонь.

Хлюпки росы.

Говорлючи журчьи.

Девочки алый цвет, голубушки мягки, хоть в
узел вяжи.

Я на бочке сажу,
Ножки свесила,
Моряк в гости придет,
Будет весело...

— Сади!

— Гвозди!

— Рвись в лоскутья, колись в куски!

— Шире круг!

— Давай, дава-а-ай!

Раскаленную докрасна печку пинком за дверь.

— Сыпь, все пропьем, гармонь оставим и блядей
плясать заставим...

Ноги пляшут,

теплушки пляшут,

степя пляшут...

В болотах тихой зелени стоячие полустанки,
затканые садочками. В окошках цветочки, 'зана-
вески марлевые — чтоб комары не кусали! — тух-
лые сытые рожи в окошках.

— Почему такое?

— В кровь, в гроб с перевертом.

— Бей!

Бух,

бух,

знь... Зянь...

бух, бух!

Машина: — Ду-дууу-д-у.

Поехали, запыхали.

Машинисту браунинг в пузо:

— Гони без останову.

— Куда?

— Куда глаза глядят... Гони и гони, только в тупик не залети.

— Слушаюсь.

— Полный ход.

— Котлы полопаются.

— Крой, чего насколько хватит!

— Подшипники перегреются.

— Полный ход, душа вон и лапти кверху.

Есть.

— Рви.

Та-та-та... Та-та-та... Та-та-та...

Ш-пш... Ш-пш... Шш-ш ш...

Та-та-та... Да-да-да... Да-да-да...

Паровоз в храпе,

паровоз в мыле,

пыль пылом...

Густо плескались, пылали тяжелые ветра... Пылали, плескались зноем травы... Поезда бежали, зарывались в горы, с разбегу пробивали туннели. Табунами бродили пожары... Бежали сизые полынные степя... Дороги шумели половодьем.

Вытаптывая города и села, бежали красные, белые, серые и чо-о-орная банда. Кованые горы бежали, дыбились, клещились. Бежали, как звери, густошерстые тучи, хвостами мутили игравшие реки.

Партизаны бежали,

падали,

бежали,

плевались

тресками, громами, бухами, хохом, ругом... Залпами расстреливали, бросками бросали наливные зерна разбойных дней.

Всяко бывало — и гожее и негожее — всего по коробу.

Жизня, сказать, ни дна, ни берегов...

Сдыхал бог и каждому по два клейма выжег:

Отчаянность и Не зевай.

Все бывалошное-то уплыло, сгинуло, будто и не было ничего. Мишка с Ванькой, приплясывая, своим шляхом бежали, одним крестом крестились, одной молитовкой молились — Не зевай, — а больше и не было ничего, не было и не было...

.....
.....

В корабле как?

Шаля-валя, нога за ногу. Жили-поживали потихолегонечку.

Котел да баталерка. Опять и заповедь подходящая, знай греби деньгу лопатой. Отсобачил кусок — и в кусты. Да ведь и то сказать, до кого ни доведись, как можно муку таскать да в муке не испачкаться? Чего тут косоротиться, говорить надо прямо.

Дело идет, контора пишет, Ванька-Мишка денежки гребут.

Деньги родник, одевка грубая, а поди ж ты, не кажется дружкам жизнь кораблиная. Корявая жизнь: ячейки разные одолели, школы, культкомиссия, закружили кружки.

Что ни день, что ни час, как из прорвы — собранья, заседания, лекции, доклады, и всё об одном и том же:

— Мы, товарищи, да вы, товарищи...

Больше и не поймешь ничего, ни в какую.

Мишка с Ванькой до комиссара.

— Так и так, товарищ комиссар... Как мы есть сознательный элемент, товарищ комиссар, просим от политики освободить...

Комиссар и рыло в сторону.

— ... Сучья отравя, ни погулять тебе, ни што.

И с крупой, из-за всяких таких делов, походя схватки. Первый шухер из-за пустяка слился. Член какой-то комиссии в умывальне зубы чистил. Мишка щелчком сшиб в раковину зубной порошок:

— Дамское занятие... — и пошел. А разобиженный паренек и зыкни вдогонку:

— Не больно швыряйся, ухверт!

— Што будет? — обернулся Мишка через плечо, — ты, пацан, не побей кой-грех...

— А что, думаешь, на твою харю и кулака не найдется?

Мишке обидно показалось, обернулся и парню в скулу:

— Гнида, счас от тебя одну копию оставляю.

Хлопчик с копыт долой, со смеху покатился. Потом вскочил.

Сладить не сладит, а кинулся на Мишку... Тот еще раз сунул его. Сцепились — не разнять. Да подвернулся тут дюжий кочегар Коська-Рябой. Сгреб он члена какой-то комиссии в охапку и за борт, только этим и разняли.

В тот же день собрали собрание общее Мишку судить-рядить.

Почему такое — суд? Разговор один и больше ничего. Черные Мишкины брови полезли на лоб от удивления:

— Какое дело?.. Ну, ударил... Ну, подрались... Тычка бояться — жить на свете не надо!

И Ванька голос подал:

— Какое же это избиение, и хлеснул-то только раз, всего ничего...

— Два чищенных зуба вышиб.

Мишка виновато качнул лохматой башкой:

— Рука у меня чижелая.

Фитильнули Мишке строгий выговор, а ему хоть бы хны.

Об обедах и говорить нечего.

Кому из с в о и х зачерпнет Мишка из котла невпроворот, хоть ложку в бачок втыкай, а молодым голой воды плеснет. Сядут ребята над бачком, фыркают-фыркают, берега не видать... Мишку похваляют:

— От, стервец, накрыть его втемную или бачок с горячими щами на башку надеть...

Чумная крупа... От голодной тоски падали в строю и глаза под лоб.

А Мишка верхом на котле,

посмеивался Мишка:

— Собранья у вас с утра до ночи, и разговоров много, а жрать не хрена. Воды, верно, вдоволь. В море воды хватит. Кают-компания опять развелись, начальников полный комплект. Слыхано ли, чтоб моряк голодал?... Заходи в любой дом, вытряхивай буржуя из штанов, рви глотки начальникам и комиссарам... Эх, ячеишны вы моряки, пропадете, как гниды...

8

Гром упал,

подходящее житышко вдребезги.

Мишку с Ванькой за чубы.

— Завалились?

— Какие данные?

— Так и так.

— Ага.

— Угу.

Вылезла комиссия по очистке от элементов. И сразу, не говоря худого слова, Мишку за ухо:

— Ваша специальность?

— Комиссар. Драгомиловского района великой Октябрьской революции.

— То есть?

— Не то есть, а истинный борец за народные права, борец безо всякого недоразумения, на что и могу представить свидетелей.

— Ваше занятие на корабле?

— Какое у нас может быть занятие? В настоящий момент я кок, а в семнадцатом — революцию завинчивал, офицеров топил, а также был членом в судовом комитете.

— Тэк-с...

Переглянулась стерва-комиссия.

— Бурилин, придется вас списать с корабля... Уставший элемент — раз, специальность малая — два.

— Понимаем, отслужили, понимаем, — и огорченный Мишка отошел от стола.

И Ваньку взяли за жабры:

— Ваша специальность?

Глазом не моргнул Ванька:

— Электрик и трюмный машинист.

— Что знаете о водоотливной системе?

— Ничего не знаю.

— Каково назначение кингстонов?

— Твердо не помню.

Перемигнулась стерва-комиссия и ну опять, ровно неразведенной пилой:

— Представьте, в главной магистральной цепи сгорела ответвительная коробка, как исправить?

— И к чему вся эта буза, товарищи? — закричал

Ванька. — Не могу спокойно переносить, товарищи... Мое существо тяготится переполнотою технических и политических оборотов... Ах, в бога-господа мать!..

Схватила Ваньку кондрашка,
покатился парень...

Бился Ванька об пол головой, пена изо рта... Придерживали его Федотыч да Мишка:

— Псих.

— В натуре.

— И зачем человека терзать, здоровье его в болезненном виде...

9

На другое утро, раздетые и разутые, с тощими мешками на горбах, уходили Мишка с Ванькой. С трапа обернулись, в последний раз любовно оглядели корабль, и в молодую команду, выстроенную на палубе, — глаз занозой:

— Ууу, крупа...

Ваньку-Граммофона и Мишку-Крокодила провожали загорелые глаза. В глазах мчались новые ветра и пересыпалось молодое солнце.

1922

Повторение

Ты не расслышала, а я не повторил.

Г. И.

I.

Вспомнив искру трамвая
под ветвью с имперским обличем,
вдруг тебя обретаю
в твоём обиталище птичьём
у серебряной рюмки,
чьё донце подобно светилу.
Почтальону из сумки
эти строки достать не под силу.
Эй! Прощальная мета
на руке, словно стигма, упорна.
С того самого света
мне её насылать не зазорно.

II.

Эти тикалки — ах, неподкупны,
их искусный левша собирал,
шестеренок песок целокупный
на ладонь, улыбаясь, ссыпал.
А уж маятник — новое чудо,
на которое жмурилась ты,
придержать бы, казалось, не худо
малахитовой подле плиты,
столь легко его ход усыпляет
по сравнению с тем — что теперь,
увелича замах, ударяет
в нашу хлипкую закрытую дверь.

III.

Метель шелестела б в трубе,
как будто лавровым венком,
а Новиков пусть бы себе
тачал за печатным станком.
И падали б мерно пущай
листовки, ложась в полукруг,
с таинственным знаком „прощай”,
еще не разгаданным вдруг.
Зачем тишина с багрецом
в морозном оконном яйце
наводит — рубец за рубцом
на русском мучнистом лице?

IV.

Снег то пушист, то игольчато кромчат,
— как не берег я наших алмазов?
Выпил и лепит какую захочет
снежную бабу себе Карамазов.
В каждом подвале — бельмо на окошке,
в проходниках — вавилоны поленниц,
впрок поперек возведенных дорожки,
коей спешат легионы изменниц.
Вот и тебе нафталинный тулупчик
надобен, скроенный бедно, продольно.
Да ведь и я не раскормленный купчик:
знаешь, как сердцу далекому больно?

V.

С плацов и подступов выдуло за ночь,
точно с жаровен, листву.
Это России готовились напрочь
выжечь в глазах синеву
и оципать во всемирную парку
с райским пером Гамаюн.
Знать, для того и бежали под арку,
мяли лаптями чугуны.
Страшно за звезды: от вспышки до вспышки
только о том и радел,
как бы не отняли их, что излишки
у костенеющих тел.

VI.

Если впрямь ничего не останется,
разве волны да лапчатый лист,
но один через пустошь потянется
на слепой огонек акмеист,
как начнет просыпаться брусчатая
с платяным недоходным нутром,
от болотного гнуса зачатая
второпях миродержцем Петром
молодая столица империи,
— так останется только ползти
к алтарю в золотом оперении,
захрипев новобрачной „прости”.

VII.

...Где шпиль, подавшийся
под ангелом последним,
и сад, оставшийся
неисправимо Летним,
хоть крепко заперты
в дощатые халупы
богини, паперти
похожи на уступы,
ветрам, нас выжившим,
приснимся, как казнившим:
ты — не расслышавшей,
а я — не повторившим.

11.11.83

Раиса ОРЛОВА, Лев КОПЕЛЕВ

Встреча с Анной Ахматовой

*Глава из книги „Мы жили в Москве”**

Копелев:

В пятнадцать-шестнадцать лет в школе я считался „знатоком литературы”, сам сочинял стихи, прорывался на вечера Маяковского, Сельвинского, Асеева, восхищался Тычиной, Сосюрой, очень любил Есенина.

В те поры, услышав имя Ахматовой, я вспоминал: „Умер вчера сероглазый король...”, „Я на правую руку надела перчатку с левой руки...” И представлялась нарядная барыня: большая шляпа, меховое боа. Очень красивая, но красота чужая, а может быть, и вредная.

1928-й год. Харьковский театр. Маяковский широко, твердо шагал по сцене, широко, твердо стоял. Рубашка без галстука. Пиджак по-домашнему на стуле. („Я здесь работаю”).

Он читал стихи об Америке, „Сергею Есенину”, „Письмо любимой Молчанова”, „Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю

* Готовится к выходу в свет в изд-ве „Ардис”, США.

Алексею Максимовичу Горькому”, „Тамара и Демон”...

Иные стихи раздражали, „обижает” Горького, фамильярничают с Пушкиным. Но от стихов о Бруклинском мосте, о взятии Шанхая — холодок восторга. Маяковский был свой, наш. И хлопали мы неистово.

Потом он отвечал на записки — небрежно, иногда брезгливо или сердито. И тогда угол рта оттягивала книзу тяжелая челюсть. Одну записку прочел, насмешливо растягивая слова: „Как Вы относитесь к поэзии Ахматовой и Цветаевой? Кто из них вам больше нравится?”

Сложил листок и — внятной скороговоркой: „Ахматова-Цветаева? Обе дамы одного поля... ягодицы”.

На галерке мы громко смеялись. Смеялись и в партере. Но кто-то крикнул: „Пошлость. Стыдитесь!”

...Роман Самарин* был старше меня на год, но образованней на много лет. Он рос в благодатной тени профессорской библиотеки своего отца, преподававшего русскую литературу, любил Гумилева. И меня заразил привязанностью к его мужественному стиху. У Самарина я впервые увидел сборники стихов Ахматовой.

Языческий храм моих мальчишеских и юношеских идеалов был варварски загроможденным капищем. То вспыхивали, то чадно угасали кадила — иконы перед разнообразными иконами и истуканами. Петр Первый и Суворов где-то рядом с Робеспьером и Маратом, Пушкин, Гёте, Шиллер и Диккенс неподалеку от Желябова и Ленина. Алексей Константинович Толстой и Карл Либкнехт, Тарас Шевченко и Лев Толстой, Короленко, Чехов и герои граждан-

* Будущий сановный литературовед и заплечных дел мастер.

ской войны. Маяковский, Есенин, Микола Кулиш, Лариса Рейснер, Роальд Амундсен, Киплинг.

...Нашелся там красный угол и для Гумилева; он оттеснил Блока и опрокинул Брюсова. Для Ахматовой там не было места.

Ее стихи застревали в памяти, вспоминались „под настроение“. Но я считал: как ни прекрасны слова, краски, звуки, — главное — идеи, содержание. Правда, А. К. Толстой, Киплинг, Гумилев были и вовсе „по ту сторону баррикады“.

На том же вечере Маяковский отвечал на вопрос о Гумилеве:

— Ну, что же, стихи он умел писать, но какие: „Я бельгийский ему подарил пистолет, и портрет моего государя“. Говорят: „хороший поэт“. Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом.

О Киплинге у нас писали: „бард британского империализма...“, „певец колонизаторов...“

Но тем не менее стихи Гумилева и Киплинга, с их воинственной красотой, мне были необходимы почти так же, как „ретроградные“ баллады А. К. Толстого.

В двадцатые годы мы, „...надцатилетние“, еще не превратились в оказанных, узколобых фанатиков. Рассказ Бунина „Господин из Сан-Франциско“ мы „проходили“ в школе; читали советские издания Шульгина, Аверченко, мемуары Деникина и Краснова.

Тогда еще допускали, что и классовые враги, и непримиримые идейные противники могут быть бескорыстны, благородны, мужественны. И такой „либеральный объективизм“ еще не стал смертным грехом, уголовным преступлением.

Но в последующие годы наш художественный мир быстро скудел. „Великие исторические сверше-

ния” — коллективизация, пятилетки, разоблачение вредителей и т. п., — оттесняли и непокорных муз, и недостаточно последовательных „попутчиков”. Наши поэтические храмы пустели и закрывались — как и церкви, с которых сбивали кресты, снимали колокола и которые превращались в склады, в клубы...

В те годы я, кажется, только один раз встретился с именем Ахматовой.

В 1934 году харьковская газета „Пролетарий” праздновала десятилетний юбилей. На банкет, необычайно обильный для той поры (соевые пирожные, мороженое), — пригласили не только известных литераторов, но и рабкоров. Рядом с главным редактором сидел почетный гость, помощник прокурора республики Ахматов — моложавый, с „кремлевской бородкой”, утомленно снисходительный партийный интеллигент. На нижнем конце стола вместе с нами — рабкорами — пировал Максим Фадеевич Рыльский. Предоставляя ему слово, тамада-редактор сказал: „Еще недавно мы называли Рыльского „знаменем украинского национализма”, но сегодня мы рады приветствовать его в нашей среде как товарища и соратника в борьбе за социалистическое строительство, за победу пятилетки”.

Рыльский напевно продекламировал куплет в честь юбилея газеты. А затем прочитал экспромт, встреченный хмельным одобрением:

Хай плаче Анна Ахматова,
Блукаючи в сивім тумані,
А нас поведуть Ахматови
За грані.

Прокурор Ахматов исчез в тридцать седьмом году. Анна Ахматова для меня еще долго оставалась „плачущей и блуждающей в тумане”.

...Март сорок второго. В „Правде” стихи:

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Стихи прозвучали внятней других — барабанных, фанфарных, огнестрельных... В моем планшете они лежали рядом со „Жди меня” и „Землянкой”, позднее — с „Теркиным”.

Тогда казалось, что ахматовские строки волнуют и радуют лишь как подтверждение великой объединяющей силы нашей войны. И она, чужая Прекрасная Дама, с нами заодно — так же, как старые георгиевские кавалеры, как патриарх Сергей, как Деникин и Керенский, призывавшие помогать Красной Армии.

Но стихи жили в памяти.

Речь Жданова и постановление ЦК 1946 года я прочел в лагере. Неприятны были брань, хамская категоричность. Не мог понять, зачем это нужно, именно сейчас, после таких побед. Почему именно Ахматова, Зощенко, Хазин и уж вовсе непричастный Гофман — опасны, требуют вмешательства ЦК, разгромных проработок?

Но тогда у меня были другие мучительные заботы и тревоги. И личные — второй год заключения, дело „за Особым Совещением”, и общие — послевоенная разруха в стране, начало холодной войны.

Прошло еще десять лет, прежде чем я начал постепенно, спотыкаясь, запинаясь, открывать поэзию Ахматовой.

Орлова:

Впервые я услышала имя и стихи Ахматовой в 1935 году от кого-то из подруг на первом курсе

института. С тех пор остались — забылись, потом всплыли — строки:

Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.

Строки жили, как фольклор, — с голоса. Книги Ахматовой я впервые увидела лет двадцать спустя.

В мое разгороженное на строгие рубрики сознание Ахматова вошла в клеточку „любовные стихи”. И я решила: „Об этом мне уже все сказал Блок”.

Гумилев, который никогда не был *моим* поэтом, все же чаще присутствовал в моей юности, чем Ахматова. И сейчас не могу объяснить, почему в моей комсомольской душе так гулко отозвалось:

Или бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев
Розоватых, брабантских манжет...

На это через несколько лет наложилась „Бригантина”, на кружева, на брабантские манжеты, на жужжащее, звенящее „же-же”.

Многие современницы Ахматовой воспринимали ее стихи как страницы дневников влюбленной, ревнующей, покинутой и бросающей, оскорбленной женщины. Почти всегда — несчастной. Тогда многие любили „по Ахматовой”. Осознавали или придумывали свою любовь, свои страсти и беды по ее стихам. Со мною не было ничего подобного.

Ахматова была женой Гумилева. Красавица. Челка. Шаль. Но долго я даже не знала — жива ли она еще.

Постановление ЦК о журналах „Звезда” и „Ленинград” застало меня в поездке. Я тогда работала в ВОКСе, и меня послали с делегацией корейских писателей на Кавказ. У них был переводчик, плохо владевший русским, чуть получше — английским. Мы и переводили вдвоем: разговоры на бытовые темы, вопросы о фабриках Тбилиси и Еревана и туристские выжимки из древней истории. Но в день публикации постановления Ли Ги Ен, глава делегации, спросил меня об Ахматовой. Ответить я не могла. Меня это постановление ЦК не возмутило, не испугало, просто не задело. В моем тогдашнем мире Ахматовой не было. Зощенко я знала гораздо лучше. Читала рассказы, „Голубую книгу” и „Возвращенную молодость”. Не очень его любила. Не любила и потом. Покоробило в тексте Центрального Комитета слово „подонок”.

Ругань всегда неприятна. Но раз сказала партия!..

Ахматова пришла ко мне в середине пятидесятых годов. Тогда же я впервые испытала ожог Цветаевой. Эти имена — Ахматова и Цветаева — часто называли рядом. Для меня сначала Цветаева была важнее. А потом стихи и судьба Ахматовой медленно, но неотвратимо прорастали, заполняя все большую часть моей души.

Копелев:

Анну Андреевну Ахматову я увидел впервые в мае 62-го года. Меня привела к ней Надежда Яковлевна Мандельштам.

Большой дом на Ордынке, прямо напротив того, где я прожил шесть довоенных московских лет, где еще жили мой отец, моя дочь и ее мать.

Грязная лестница. Маленькая комнатка в квартире Ардовых. Ахматова — в лиловом халате. Большая. Величественная. Однако полнота, рыхлая, нездоровая. Бледно-смуглая кожа иссечена морщинами, обвисла на шее. Четко прорисованный тонкогубый рот почти без зубов. От этого голос, мягко рокочущий, низкий, иногда не мог преодолеть шепелявость...

Но она была прекрасна. Именно прекрасна. Подумать „старуха” было бы дико. Рядом с ней — медлительной, медленно взглядывавшей, медленно говорившей, сидела Фаина Раневская. Она острила, зычно рассказывала что-то веселое, называла Анну Андреевну „рэбе”. И показалась шумной, громоздкой старухой.

Анна Андреевна и Раневская — на кровати. Мы с Надеждой Яковлевной — на стульях, почти вплотную напротив. Никто больше уже не мог бы войти. Некуда.

От смущения и страха я онемел. Что говорить? Куда девать руки и ноги?.. Смотрел неотрывно. Очень хотел все запомнить. Но заставлял себя отводить взгляд, не таращиться. При этом, кажется, глупо ухмылялся. Бормотал какую-то чушь. Раневская вскоре ушла. И Ахматова внезапно спросила, как бы между прочим:

— Хотите, я почитаю стихи? Но только прошу ничего не записывать.

И стала читать из „Реквиема”. Я глядел на нее, уже не стесняясь, неотрывно. Должно быть, очень явственным было изумленное восхищение. Она, конечно, все понимала — привыкла. Но любой новый слушатель был ей нужен.

Она читала удивительно спокойным, ровным — трагически спокойным голосом.

Ушла и Надежда Яковлевна. Ахматова продолжала читать.

И если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне...

Глаза у меня были мокрые. Она, вероятно, и это заметила.

Сдавленным голосом я попросил:
— Пожалуйста, можно это еще раз?

В те минуты я думал только: „Запомнить побольше”.

Она прочла еще раз Эпилог. Музыка стихов рождалась где-то в груди и в глубине гортани. Я уже не слышал шепелявости, не видел ни морщин, ни болезненной грузности. Я видел и слышал царицу русской поэзии. Законная государыня — потому так безыскусственно проста, ей не нужно заботиться о самоутверждении. Ее власть неоспорима.

Естественным было бы опуститься на колени. Но у меня достало отваги лишь на несколько беспомощных слов, и то когда она, помолчав, спросила:

— Вам нравится?

— Если бы вы не написали ничего, кроме этих стихов, вы остались бы самым великим поэтом нашего времени.

Она даже не улыбнулась. А я понял, что сказал правду. И сообразил, кажется, уже тогда, что ей — поэту и женщине — никакие похвалы, ни поклонение не могут быть избыточны. Десятилетиями ее жестоко обделяли славой, постыдно хулили и травили.

Я старался запомнить и, едва выйдя за двери, повторял:

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, от них же услышанных слов.

...Затверженные отрывки „Реквиема” я в тот же день прочитал Рае. И она тоже запомнила.

Потом, нарушив обещание, все, что вспомнилось, записали — каждый своей „тайнописью”.

Орлова:

Я сидела с Лидией Корнеевной Чуковской в садике нашего двора на улице Горького и стала вспоминать „Реквием”. Лидия Корнеевна оглянулась по сторонам и сурово прервала:

— Мы — нас, кажется, десять — молчим об этом уже больше двадцати лет.

Мне почудился в ее голосе даже некий гнев „посвященного” на вторжение чужака в сокровенное святилище. Но через несколько минут она смягчилась — и вполголоса прочитала целиком Эпilog.

Потом я несколько раз слышала чтение самой Ахматовой. Но „Реквием” и сегодня звучит во мне голосом Лидии Корнеевны.

Она же 20 мая 62-го года привела меня к Ахматовой — по делу.

В журнале „Октябрь” был опубликован грубый пасквиль В. Назаренко о серьезной статье литературоведа Э. Г. Герштейн „Вокруг гибели Пушкина”. Анна Андреевна давно дружила с Эммой Герштейн и высоко ценила ее работы. И она решила прибегнуть к помощи Союза писателей. Я тогда была ответственным секретарем секции критики. Выслушав внимательно все, что мне говорила Ахматова, я записала и обещала сделать, что в моих силах. Глаза поднять боялась.

— Невежество дремучее этот Назаренко, — сказала Анна Андреевна. — Надо протестовать. Но вот что плохо: Бонди в чем-то не согласен с Эммой. И промолчит. Всегда-то мы меж собой не согласны.

Лидия Корнеевна рассказала, что мой муж недавно побывал у Ахматовой, влюбился, а я пришла посмотреть на соперницу.

Она, без тени улыбки, величаво:

— Понимаю, мы, женщины, всегда так делаем.

Немного погодя:

— В 1913 году вернулся Николай Степанович из Африки, — это она о Гумилеве, — приехал в Царское, а меня нет, я ночевала у знакомых. Я рассказывала об этом отцу: „Папа, ведь я за все шесть месяцев только один раз ночевала не дома”. А он мне: „Так вы, женщины, всегда попадаетесь”.

Спрашивает:

— Вы читали в „Новом мире” о приемной МГБ? Это — из романа Бондарева „Тишина”.

И вспоминает:

— Я ходила туда десять лет. Переступаешь порог, а чин тебе: „Ваш паспорт?” Это чтобы к ним поменьше ходили. Советские граждане знают, что нельзя расставаться с паспортами... В Ленинграде я бывала и трехсотую.

Как трехсотую, с передачею
Под Крестами будешь стоять.

А когда сына арестовали в 49-м году, я в Лефортово несколько раз оказывалась совсем одна. Было очень страшно. Пожалуй, страшнее, чем в тех очередях... Как вы думаете, Лидия Корнеевна, не откажется ли Твардовский печатать отрывок из „Поэмы без героя” из-за того, что вокруг будут бродить и другие отрывки, крамольные? К тому же он ждет предисловия Корнея Ивановича...

В ответ на гневные возгласы Лидии Корнеевны, — неужели нельзя печатать „Поэму” без предисловия? — Ахматова говорит, что ей самой интересно отно-

шение Корнея Ивановича к поэме, которую он знает двадцать лет.

Показывает машинописные листы, предназначенные для журнала. Лидия Корнеевна находит опечатку. Обе громко возмущаются. Они гnevаются так, как едва ли способны литераторы других поколений: святыня осквернена, заменена буква.

Анна Андреевна говорит, что ей до зарезу нужен человек, который бы совсем не знал „Поэмы”, чтобы он прочитал свежими глазами. Но она такого не нашла ни в Москве, ни в Ленинграде.

Я окружена людьми, ничего не знающими о „Поэме”, да и сама только-только начала к ней подходить, но в тот момент об этом не подумала, — видимо, полагала, что речь идет о каких-то иных, неведомых мне людях.

Стихи в этот день она не читала. Сказала:

— Меня вычеркнули из программ.

Я не сразу поняла.

— Да ведь меня, грешную, поносили от Либавы до Владивостока во всех школах и институтах шестнадцать лет. Сын Нины Антоновны, хозяйки этого дома, недавно напился, поцеловал мне руку и говорит: „Какое счастье, что вас больше не будут прорабатывать в школах”.

Мы стали встречаться. Изредка. Она дарила нам свои книги. Подарила и рукописный экземпляр „Поэмы без героя”. Иногда звонила.

Первую встречу я в тот же вечер записала в дневник. Но не самое важное.

Несколько месяцев спустя я слышала от Ахматовой, чем отличается поэзия от музыки и живописи: немногим дано извлекать музыку из пианино или наносить мазки на холст; к обыденной жизни эти занятия не имеют отношения. А поэзия создается из слов, которыми люди пользуют-

ся ежеминутно, из всем доступных: „пойдем пить чай”.

И первый, и последующие наши разговоры были обыденны: что опубликовано, что запрещено, кому нужна помощь, кто как себя вел, нравится или не нравится чей-то роман, стихи.

Но за этим проестьупало иное. И чем больше времени проходило, тем сильнее ощущалось то, иное измерение, мне недоступное, не подвластное ни записи, ни рассказу.

Не только ее поэзия, но и она сама.

Копелев:

Летом 1962 года к нам на дачу в Жуковку приехал Александр Солженицын. Как обычно, прежде всего сказал, сколько часов и минут может пробыть, начал задавать заранее приготовленные вопросы — и спросил об Ахматовой. Узнав, что у нас есть рукопись „Поэмы без героя”, сразу же стал читать, а затем и переписывать.

Мы позвали его с нами на реку купаться, но он не пошел: должен был уложиться в свое расписание, а встреча с поэмой была не предусмотрена. Когда мы вернулись, он уже переписал ее всю микроскопическим почерком, уместив по две колонки на странице блокнотика.

Встретился он с Ахматовой осенью того же года.

„Один день Ивана Денисовича” готовился к печати. Анна Андреевна читала рукопись и всем друзьям и знакомым повторяла: „Это должны прочесть двести миллионов человек”.

Он пришел к Ахматовой на квартиру Ники Глен. Анна Андреевна рассказывала нам через несколько дней:

— Вошел викинг. И, что вовсе неожиданно, и мо-

лод, и хорош собой. Поразительные глаза. Я ему говорю: „Я хочу, чтобы вашу повесть прочитали двести миллионов человек”. Кажется, он с этим согласился. Я ему сказала: „Вы выдержали тяжкие испытания, но понимаете ли вы, что вам предстоит завтра? На вас обрушится слава. А это очень трудное испытание. Готовы ли вы к этому?” Он отвечал, что готов. Дай Бог, чтобы так...

Вскоре после встречи с Ахматовой он пришел к нам, спросил:

— Кого ты считаешь самым крупным из современных русских поэтов?

Я ответил, что одного имени не назову; особенно мне дороги, важны Ахматова, Цветаева, Пастернак, а из других поколений — Тарковский, Самойлов.

— А мне только Ахматова. Конечно, она одна — великая. У Пастернака есть хорошие стихи; из последних — евангельские... А вообще, он — искусственный. Что ты думаешь о Мандельштаме? Его некоторые очень хвалят. Не потому ли, что он погиб в лагере?

— Нет, не потому. Он великий поэт. Но я это сознаю, так сказать, объективно. Мне лично он далек — не „мой” поэт. Читаю, слушаю — нравится, иногда — очень нравится. Но могу подолгу обходиться без него. А стихи Ахматовой, Пастернака, Цветаевой необходимы бывают почти ежедневно.

— Я вообще не так отношусь к стихам. А Мандельштам, по-моему, не русская поэзия, а почти что переводная, иностранная...

— Ахматова считает Мандельштама величайшим поэтом своего поколения.

— Не знаю, не знаю. Я убежден, что она самая великая...

То ли при той первой встрече с Ахматовой, то ли позднее, через кого-то, Солженицын передал ей пач-

ку своих стихов: автобиографическую поэму, описание путешествия вдвоем с другом, Николаем Виткевичем*, на лодке вниз по Волге, как они встретили баржу с заключенными, а на ночном привале были разбужены отрядом лагерной охраны, преследовавшей беглецов. Много стихов — любовь, разлука, тоска по свободе. Грамотные, гладкие, по стилю и лексике ближе всего Надсону или Апухтину. Когда-то, на шарашке, некоторые мне нравились.

Ахматова рассказала об этом:

— Возможно, я субъективна. Но для меня это — не поэзия. Не хотелось его огорчать, и я только сказала: „По-моему, ваша сила в прозе. Вы пишете замечательную прозу. Не надо отвлекаться”. Он, разумеется, понял и, видимо, обиделся.

Об этой второй и последней их встрече она нам больше ничего не говорила. Но от него мы узнали, что она прочитала ему „Реквием”:

— Я все выслушал. Очень внимательно. Некоторые стихи просил даже повторно прочесть. Стихи, конечно, хорошие. Красивые. Звучные. Но ведь страдал народ, десятки миллионов, а тут — стихи об одном частном случае, об одной матери и сыне... Я ей сказал, что долг русского поэта — писать о страданиях России, возвыситься над личным горем и поведать о горе народном... Она задумалась. Может быть, это ей и не понравилось — привыкла к лести, к восторгам. Но она великий поэт. И тема величайшая. Это обязывает.

Я пытался с ним спорить, злился. Говорил, что его суждения точь-в-точь совпадают с любой идеологической критикой, осуждающей „мелкотемье”, и значит, он вообще ничего не смыслит в поэзии.

* Виткевич присоединился к травле Солженицына в 1973 году.

Он тоже злился. И раньше не любил, когда ему перечили. А тогда уж вовсе не хотел слушать несогласных. Больше мы к этой теме не возвращались.

И с Анной Андреевной мы о нем уже не говорили.

Надя Мальцева, дочь Елизара Мальцева, девочкой писала по-взрослому печальные стихи. К нам ее привел Григорий Поженян. Он зычно восхищался открытием „новой, шестнадцатилетней, Ахматовой”.

Толстушка в очках увлеченно играла с двенадцатилетней сестрой и со всеми переделкинскими собаками и менее всего напоминала Ахматову. Но стихи нам понравились, поразили неожиданной зрелостью. Надя стала бывать у нас. Я рассказал о ней Анне Андреевне, попросил разрешения представить.

— Приводите завтра вечером.

Пили чай в столовой у Ардовых, были еще гости.

Шел общий разговор. Надя молчала, нахохлившись, неотрывно глядела на Анну Андреевну, а та говорила мало, часто замолкая на несколько минут и словно бы не видя никого вокруг. Но внезапно, после такой паузы, спросила Надю:

— Может быть, вы почитаете стихи? Вы хотите здесь читать или только мне?

— Только вам.

И Анна Андреевна увела ее в свою маленькую комнату. Из-за двери доносилась несколько монотонная скороговорка Нади. Она читала долго.

Потом послышался голос Анны Андреевны. Она читала стихи. И тоже лишь одной слушательнице. И тоже долго. Настолько, что я ушел, не дождавшись конца, — было уже очень поздно.

Анна Андреевна потом говорила:

— Очень способная девочка. Много от литературы. Много книжных, не своих слов. Но есть и свое,

живое. Она может стать поэтом. Но может и не стать. И тогда это несчастье.

Надя так отвечала на вопросы:

— Ну, я ей читала. Всю тетрадку почти прочла. Прочту стихотворение и спрашиваю: „еще?“, она кивает „еще“. А говорила мало. Спрашивала, кого люблю. Знаю ли Блока, Пастернака, Мандельштама. Сказала, что надо читать побольше хороших стихов. Нет, меня не хвалила. И не ругала. Но говорила о моих стихах так, что мне теперь хочется писать. А потом сама спросила: „Хотите, я вам почитаю?“ Я боялась, что устанет. Она за полночь читала. И ведь мне одной. И сказала, чтоб я еще приходила. Ну, это из вежливости.

Второй раз Надя не пошла. Говорила, что стесняется, робеет. А много лет спустя призналась — не пошла потому, что боялась попасть под влияние, стать „послушницей“ — до потери собственного голоса.

В марте 63-го года Хрущев учинил „встречу с творческой интеллигенцией“, орал на Вознесенского, на Аксенова, на Елизара Мальцева, грозил Эренбургу и Виктору Некрасову. Спустя неделю Юрий Жуков поносил „Автобиографию“ Евтушенко, изданную во Франции и одобренную французской компартией.

Партийную организацию Союза писателей, в которой тогда мы оба состояли, распустили. Литераторы — члены партии были прикреплены к заводам и учреждениям, чтобы „приблизиться к жизни“. Распустили и нашу секцию критики, „пораженную ядами ревизионизма“.

Торжествовала прилитературная черная сотня — Грибачев, Кочетов, Софронов, — как и в 57-м году, когда разгромили „Литературную Москву“ и созда-

ли республиканский союз писателей. В ту весну 63-го года они брали реванш за все свои поражения на выборах в Москве и Ленинграде, за „Ивана Денисовича”.

В декабре 62-го года, после хрущевского дебоша в Манеже, тогдашний главный идеолог Ильичев помянул в своей речи перед молодыми писателями недобрым словом „литературоведа Копелева”, осмелившегося возражать против административных расправ с работниками искусства, пытавшегося доказывать (в книге „Сердце всегда слева”), что гуманизм не нуждается в прилагательных — „революционный”, „социалистический”, „буржуазный”.

Вслед за ним стали меня ругать в статьях и в ре-
чах Рюриков, Самарин, Дымшиц...

На майские праздники мы уехали в Ленинград — посмотреть новые спектакли, побродить по городу, повидать друзей. Пришли к Вере Федоровне Пановой. Она встретила нас весело, приветливо, но сразу же сказала:

— Слыхала о ваших неприятностях, но давайте не будем о них вспоминать, ладно? У меня много было такого же, и я знаю — говорить бесполезно.

В этот вечер Панова рассказывала о юности в Ростове, говорила о любимых книгах, о стихах. Узнав, что мы собираемся навестить Анну Андреевну, сказала:

— Ахматова для меня главный поэт. Помните:

А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

— Лучших стихов я не знаю.

Мы вспоминали, возвращаясь в гостиницу: литературная слава Пановой началась в том самом со-

рок шестом году, когда речь Жданова, постановление ЦК, брань, повторяемая со всех кафедр, казалось, навсегда прикончили Ахматову. Пановой дали Сталинскую премию, Ахматову — лишили хлебных карточек. И вот, Панова говорит, что Ахматова для нее — главный поэт...

Впервые в квартиру на улице Ленина мы пришли „самочинно” по праву приезжих.

Ахматова была в просторном кимоно, расшитом золотом по черному. По-молодому захлопала в ладоши.

— А я с утра чувствовала, что сегодня будет радость.

Эта встреча и смутила, и осчастливила. Разговор сразу пошел непринужденный. В отличие от Пановой, она расспрашивала о московских новостях. Ее интересовало все — и приятное, и неприятное: как вели себя Эренбург и Вознесенский, почему начальство набросилось на Евтушенко, что представляют собой работы Эрнста Неизвестного, кто и как ругал меня за „абстрактный гуманизм”.

Снова вспоминала о своем:

— Все знают про сорок шестой год. А ведь это было во второй раз. Обо мне уже в двадцать пятом году было постановление. И потом долго ничего не печатали. Эти болваны в эмиграции пишут, что я „молчала”. Замолчишь, когда за горло держут. Постановление сорок шестого года я увидела в газете на стене. Радио не слушала. Днем вышла, иду по улице, вижу — газета и там что-то про меня. Ну, думаю, ругают, конечно. Но всего не успела прочесть. Потом мне не верили: „Неужели вы даже не прочли?..” Но я в тот день стала замечать — знакомые смотрят на меня, как на тяжело больную. Одни осторожно заговаривают, другие обходят. Я не сра-

зу и сообразила, что произошло. А на следующий день примчалась из Москвы Нина Антоновна*.

Показала недавно полученный первый том сочинений Гумилева, изданный в США.

— Тут смрадное предисловие господина Струве.

Пристрастнее всего она в тот день говорила о „болванах” в эмиграции.

Приведя строки из „Ямбов” Гумилева, посвященные разрыву с молодой женой, Струве пишет: „Об этой личной драме Гумилева еще не пришло время говорить иначе, как словами его собственных стихов: мы не знаем всех ее перипетий и еще жива А. А. Ахматова, не сказавшая о ней в печати ничего”.

— Видите ли, ему жаль, что я еще не умерла.

Мы пытались возражать, — это просто неуклюжий оборот.

— Нет, это именно так. Ему это просто мешает. „Ахматова еще жива!” И он не может всего сказать. Написать ему, что ли: „Простите, пожалуйста, что я так долго не умираю”? И посмотрите, как гадко он пишет о Леве: „Позднее, при обстоятельствах, до сих пор до конца невыясненных, он был арестован и сослан”. Невыясненные обстоятельства! Что ж они там предполагают, что он банк ограбил? У кого из миллионов арестованных тогда обстоятельства были ясными... Не понимают. И не хотят понять. Ничего они не знают. Да, да, они предпочли бы, чтобы мы все умерли, чтобы нас всех арестовывали. Им мало двух раз. Посмотрите, вот тут же: „Но в 1961 году за границу дошли слухи (быть может, и неверные) о новом аресте Л. Гумилева”. И Струве не один: они все там Бог знает что пишут — Маковский, Одоевцева, оба Жоржика...

* Н. Ольшевская, жена В. Ардова, подруга Ахматовой.

Заметив наши недоумевающие взгляды:

— Были такие два мальчика при Николае Степановиче — Георгий Иванов и Георгий Адамович, и вот теперь сочиняют невесть что. Одоевцева уверяет, что Гумилев мне изменял. Да я ему еще раньше изменяла!

Она возмущается, гневается. Это настоящие, неостудимые страсти. И для нее воистину злободневны соперничества, измены, споры, которые волновали ее и ее друзей полвека тому назад.

О воспоминаниях Всеволода Рождественского говорит пренебрежительно:

— Он хочет представить себя царскоселом... Да какой он царскосел, один год в гимназии учился... Настоящие царскоселы никогда не считали его своим.

„Царскосел” — осталось для нее своеобразным паролем братства, избранности.

В тот день она читала стихи из цикла „Шиповник цветет”, из „Реквиема”.

Одно стихотворение еще не было опубликовано и в 1977 году, когда переписывались эти строки. Начиналось оно так:

Те, кого и не ждали в Италии,
Шлют оттуда знакомым привет,
Я осталась в своем зазеркальи,
Где ни света, ни воздуха нет...

Вышла на кухню, вернулась огорченной.

— А у нас опять ничего нет, гостей не ждали, угостить вас нечем.

Она водила нас в столовую — показывать картину Шагала. Ее комната в дальнем конце коридора была узкая, длинная, небрежно обставленная старой случайной мебелью. Диван, круглый стол, секретер,

ширма, туалет, этажерка. Книги и неизменный портфельчик с рукописями лежали на круглом столе. Она сидела на диване — и была так же величава, приветлива и так же „не у себя дома”, а словно проездом, в гостях...

Мы рассказали, как Панова благоговейно говорила о ней и читала ее стихи. Она слушала отстраненно, мы не сразу поняли, что она не хочет говорить о Пановой. Едва услышав, что та собирается писать книгу о Магомете, взметнулась, глаза потемнели от гнева, голос задрожал:

— Магомета ненавижу. Половину человечества посадил в тюрьму. Мои прабабки, монгольские царицы, диких жеребцов объезжали, мужей нагайками учили. А пришел Ислам, их заперли в гаремы, под паранджу, под чадру.

И она прочитала нам взволнованную лекцию о Магомете, об истории Ислама и первых халифатов, о событиях, которые давно и прочно знала. Говорила с неостудимой ненавистью, как о личном враге, еще живом.

Орлова:

В сентябре 1963 года американский поэт Роберт Фрост впервые приехал в Россию. В детстве он мечтал о таинственной стране белых медведей. Юношей и зрелым поэтом он жил в магнитном поле великой русской литературы.

Писал об этом в своих стихах.

...не должны ли мы писать
на русский лад романы об Америке,
если наша жизнь так безмятежна?..

...От наших писателей требуют, ждут,
чтобы все они Достоевскими стали
тогда как их беда — избыток успехов и благ...

В день торжественного введения Кеннеди в должность президента Фрост был почетным гостем праздника и, впервые в истории США, этот государственный акт был ознаменован чтением стихов. И в Москву он приехал как посланец президента Кеннеди.

У нас его принимали необычайно почетно. Когда он заболел в Пицунде, Хрущев навещал его в номере гостиницы, сидел у постели, развлекал анекдотами.

Приехав в Ленинград, Фрост попросил, чтобы его познакомили с Анной Ахматовой. Об их встрече она рассказывала охотно, неоднократно повторяя и шлифуя подробности:

— Не у меня же в будке его принимать. Потемкинскую деревню заменила дача академика Алексева. Не знаю, где такую скатерть достали, хрусталь. Меня причесывала Юлия Живова, все вокруг старались, наряжали. Потом приехал за мной красавец Рив, молодой славист, он сопровождал Фроста. Привез меня туда заблаговременно. Все волнуются, суетятся. И я жду, какое это диво будет — национальный поэт. И вот приходит старичок. Такой, знаете ли, американский дедушка, но уже в том возрасте, когда дедушка постепенно становится бабушкой. Краснолицый, седенький, бодренький. Сидим мы с ним рядом в плетеных креслах, всякую снедь нам подкладывают, вина подливают. Разговариваем не спеша. А я все думаю: „Вот ты, милый мой, национальный поэт, каждый год твои книги издают, и уж, конечно, нет стихов, написанных „в стол“, во всех газетах и журналах тебя славят, в школах дети учат, президент — как почетного гостя принимает. Тебе достались все мыслимые почести, богатство, слава. А на меня каких собак не вешали! В какую грязь не втапывали! Все было — и нищета, и тюремные

очереди, и страх, и стихи, которые только наизусть, и сожженные стихи. И унижение, и горе. И ничего ты этого не знаешь и понять не мог бы, если бы рассказать..." Но вот сидим мы рядом, два старичка, в плетеных креслах. И словно бы никакой разницы. И конец нам предстоит один. А может быть, впрямь разница и не так уж велика?

Осенью 1963 года я послала Ахматовой письмо из больницы:

„4-5 октября 1963 г.

Дорогая Анна Андреевна,

Никогда я не решилась бы написать Вам, если бы не чрезвычайное обстоятельство. Я очень тяжело болела все лето и осень, и это закончилось тяжелой операцией, после которой мне как-то стало все равно. Не читала, не думала, лежала на больничной кровати, не смотрела на своих родных и близких. И тогда Лев Зиновьевич принес мне томик Ваших стихов — попробуй читать. И Ваши стихи стали для меня мостиком к этому миру. Я читала давно знакомые, — и будто совсем незнакомые строки и в о з в р а щ а л а с ь. Потому мне и захотелось очень написать Вам с глубокой личной благодарностью теперь, когда стало легче (я все еще в больнице), пытаюсь разобраться, что же за чудо произошло в ту ночь, когда я опять, несмотря на все уколы, не спала и пробовала читать.

Меня поразило мужество поэта. Я часто думала о Вас, о Вашей судьбе, как о примере необыкновенного, редкого мужества. Но только теперь я поняла главное — В ы з н а е т е, что человек смертен, Вы знаете самую сердцевину трагедии человеческой („...но кто нас защитит от ужаса, который..."). Знаете и в отвлеченно-философском, и в самом конкретном земном смысле („...даже ветхие скворешни"). Знаете и учите людей жить, не закрывая на это глаза (как я прожила), а — з н а я. Мне раньше Ваши стихи казались холодно-прекрасными, мраморно-прекрасными. И только теперь, — может быть, причастившись страданий сама, — я ощутила раскаленную лаву, которой овладел художник.

В поэзии Цветаевой страдание льется через край, захватывает читателя боль, содрогание... А здесь страдание пре-

одоленное, снятое, — в гегелевском смысле, — и в этом огромная победа художника, победа нравственная и победа эстетическая. Мне эта преодоленность, скромность страдания кажется чертой очень русской, очень связанной с природой, березками, маленькими, тихими реками.

Можно возразить, конечно, что буйство страданий от Достоевского — тоже неотъемлемое наше свойство. И все же нет. То, что у Вас, — ведь ничуть не смирение. Именно преодоление. Необыкновенно выразительное английское слово *endure* лучше всего, наверно, переводить „сдюжить”. И остаться собой: не позволить себя раздавить и не раствориться в страданиях, подняться.

Пожалуйста, простите за мои бессвязные мысли. Думалось в полузабытии или казалось, что думалось, — богато, плодотворно, а на бумаге все стало плоским и сухим. Еще раз, спасибо Вам, низко кланяюсь Вам за то, что Вы есть, за всё, за то, что Вы писали и пишете сейчас прекрасно молодые стихи. Перед моими глазами — Ваш портрет, не тот, что в книжке, а мой любимый, теперешний, в белом цвету, где изображена величественная, необыкновенно счастливая женщина — великий поэт-олимпиец на вершине славы, увенчанный всеми мыслимыми отечественными и иностранными лаврами, собраниями сочинений и пр.* Ведь те лавры главные — в читательских сердцах, — они у Вас действительность, а не иллюзия. Спасибо Вам. С надеждой увидеть Вас — если позволено будет — мы приедем на ноябрь в Комарово.

Нежно Вас обнимаю”.

В ответ получила телеграмму:

„Ваше письмо принесло утешение и помощь в тяжелый час. Благодарю Вас. Ваша Ахматова”.

В этом письме — только правда, но не вся правда. Я не написала и никогда не говорила ей, как поздно

* В моем письме — наклонение условное, вера в будущее, отдаленное будущее. Тогда не было еще ничего. Ни „Бега времени”, ни других настоящих изданий, ни поездок за границу, ни премий. Но уже два года спустя все это начало осуществляться. Признание и в России, и далеко за ее рубежами все возрастает. В 1983 году мы узнали, что в городе Пушкине — то есть в Царском Селе — существует музей Анны Ахматовой.

я пришла к ней, и почему поздно. И вообще я никогда не говорила о том, какими мы были раньше, в молодости. А люди, близко ее знавшие, рассказывали, что она отрицала существование таких, как мы. Таких, кто был действительно убежден в исторической необходимости, в справедливости нашего общественного строя. Она полагала, что искренне верить могли только глупцы, вроде Софьи Петровны, героини повести Лидии Чуковской. Остальные же притворялись, лгали. Одни — из корысти, ради карьеры, благополучия. Другие — из страха за себя, за близких. Когда ей возражали, она не хотела слушать, раздражалась.

— Ведь мы знали всё, как же другие могли не знать?..

В 49—50 гг., надеясь, пытаясь — тщетно — спасти сына, она писала стихи о Сталине. Потом она запрещала их перепечатывать и яростно разорвала листок с оглавлением американского сборника стихов, в который включили этот цикл. До второго тома американского издания (где эти стихи все же напечатаны) она не дожила.

В мае 1954 года группе английских студентов, приехавших в Ленинград, устроили по их просьбе встречу с Зощенко и Ахматовой. Кто-то из них спросил:

— Как вы относитесь к постановлению ЦК о журналах „Звезда” и „Ленинград”?

Зощенко отвечал, что вначале это постановление поразило его своей несправедливостью, „и он написал об этом письмо Сталину”, но позднее стал понимать, что „в этом документе многое справедливо”*. Ахматова же встала и сухо произнесла: „Оба

* Существует несколько иная версия. Зощенко говорил только о несправедливости постановления. После этого в Ленинграде созвали специальное собрание писателей, на кото-

документа — и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета, — я считаю совершенно правильными”*

Тогда ее сын был еще в лагере. Все прошения о пересмотре, о помиловании оставались безрезультатными. Уже много лет не публиковали ее стихов. Она была убеждена в том, что иначе отвечать было нельзя; проклинала „молодых идиотов”, задавших вопрос. И недоумевала — почему Зощенко обиделся на нее. Его она жалела, а тех, кто спрашивал, и соотечественников, кто удивлялся ее противоестественному ответу, гневно презирала. Она была убеждена, что возможен лишь один выбор между опасной правдой и ложью, и считала, что именно эта трагическая коллизия определяла существование всех советских людей.

И она, мудрая, так много знавшая и понимавшая, не хотела, не могла понять, что были все же и такие люди, как мы, которые не выбирали, не сомневались, потому что верили.

30 мая 1964 года былая вера моей молодости и новообретенная мною правда Ахматовой столкнулись в один день — и наглядно, как на школьном уроке.

В двенадцать часов — в музее Революции — собрание: 70-летие Артемия Халатова. В шесть часов, в музее Маяковского — вечер, посвященный 75-летию Анны Ахматовой.

Ни о том, ни о другом событии газеты не писали. Для официальной истории они — всего лишь пометка на полях.

рое выехал Симонов. И Зощенко сказал: „Вы хотите, чтобы я признал себя подонком, — этого я не могу”.

* Л. Ч у к о в с к а я. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1974, с. 101.

В музее Революции я не была с пионерских лет. Знамена на стенах. Бархатные, шелковые. С детства я смотрела на них с благоговением. Под ними сражались, берегли пуще жизни, их цвет — цвет крови. Во время войны я была на фронте с делегацией — мы привезли подарки в дивизию, которой присвоили звание гвардейской. Бойцы и командиры подходили к гвардейскому знамени, опускались на колени, целовали край. И мне казалось, — я вместе с каждым из них целую это знамя, еще и еще раз клянусь в верности до гроба.

Смотрю на знамена музея. А слышу не торжественный шелест, нет, отчетливо слышу металлический звук — так скрежещут цветы на искусственных венках. Когда похороны кончаются, венки прислоняют к могиле, все расходятся по домам. Живые цветы вянут, а эти дребезжат.

Над столом президиума — фотопортрет: ассирийская курчавая борода и шевелюра Халатова. Красив, молод, взгляд устремлен вдаль, в будущее. Когда его убили, в 37-м, ему было 43 года. Ораторы называют места, где он работал: Нарпит, Наркомснаб, Наркомпутъ, Госиздат, Воиз (общество изобретателей). Должность везде — начальник. До революции — „профессиональный революционер“, потом — профессиональный начальник. Начальник столовых, начальник вагонов, начальник книг.

Мой отец работал с Халатовым с первых лет революции; куда ни переводили (тогда говорили: „бросали“) Халатова, он брал с собой нескольких сотрудников, в том числе и отца. С матерью, с сестрой Халатова, моя семья была связана и после его гибели. Потому и я оказалась в музее Революции 30 мая 64-го года.

Сквозь пустые, бесцветные слова академика Островитянинова изредка прорывается живое: „Ут-

верждают, что и на Колыме Артемий Багратович заведовал малым Нарпитом, — делил арестантские пайки”.

Большинство присутствующих — отсидевшие или их родственники. Рядом со мной — Ханка Ганецкая*, мы с ней учились в ИФЛИ. Третьекурсницей ее арестовали. Она шепчет: „Плохо сделано собрание, вот я сделала в честь папы — все плакали...” Наташа Рыкова возмущается пошлостями Островитянинова: „На нем же клеймо, он-то функционировал в те годы”. В 1936 году мы еще учили политэкономия по учебнику Лapidуса и Островитянинова.

В речах — ни следа исторической трагедии. Просто, чествуют хорошего человека, умершего в своей постели. О нем, как всегда о мертвых, только хорошее.

Каким же он был?

Когда я читала книгу Кестлера „Мрак в полдень”, герой, Рубашов, виделся мне похожим на Халатова. Властный, сильный, умный. Но чего-то важного, — быть может, и самого важного — у Рубашова не оказалось. Вероятно, не было и у Халатова. Не должно было быть у человека того типа, к которому оба они принадлежали. К которому страстно стремилась принадлежать и я.

Люди этого типа были от природы, конечно, разные: умные и глупые, добрые и злые. Но все они, все мы должны были непременно освободиться от себя, от своего мнения, от своей совести. Не освободившись, нельзя было принадлежать к этой когорте. Кто не умел освободиться до конца, как я, постоянно ощущал тоскливую неполноценность. А того, кто освобождался окончательно, можно было сделать кем угодно: и чудовищем, и палачом, и безро-

* Умерла в сент. 1977 г.

потной жертвой. Кончилось для многих — для Рубашова, для Халатова — пулей в затылок.

Халатов сам, видимо, не думал, что принадлежит к новой, высшей касте. Он еще носил старую, неменяемую кожаную куртку, папаху, но жил уже в Доме правительства на улице Серафимовича, ездил в персональных машинах, в международных вагонах. Он много работал сам, но уже привыкал, чтобы за него работали другие — писали статьи, которые он только подписывал, сочиняли речи, которые он произносил.

В музее Революции собрались старые люди. На фотографиях, выставленных в фойе, они моложе и реальнее, чем теперь. Я больше смотрю в зал, чем на трибуну, больше слушаю, что говорят вокруг меня.

Халатов еще верил в то, что под красными знаменами „с Интернационалом воспрянет род людской”. Но во имя завтрашнего торжества отдельные представители этого рода могут и должны, если необходимо, гибнуть сегодня.

Это собрание жарким весенним днем — не то что бы тайное, но и не совсем открытое. Люди, здесь собравшиеся, сильно отличаются от тех, кто правит сегодня. Научит ли жизнь и гибель Халатова кого-нибудь из них чему-нибудь? Можно ли восстановить связь времен? Или она навсегда разорвана?

Вечер Ахматовой тоже полуоткрыт. „Мероприятие” утверждали, разослали приглашительные билеты. Однако нет объявлений ни в печати, ни по радио.

Музей Маяковского. Маленький зал заполнен. Меньше людей, чем было утром. И совсем другие

люди. Я попадаю из одной „языковой среды” в другую, из одной действительности в другую.

Начинает Виктор Максимович Жирмунский:

„В конце марта мы отмечали пятидесятилетие „Четок”, книги, установившей славу Ахматовой в русской поэзии... Пятьдесят лет — время немалое, такой промежуток времени отделяет смерть Пушкина от возникновения русского модернизма. Однако, как вы видите и показываете своим присутствием, стихи не устарели. Мы собрались здесь, чтобы слушать стихи большого русского поэта, стихи уже классические, но еще современные, переведенные теперь на все языки мира”.

Пятьдесят лет назад он рецензировал этот первый сборник Ахматовой. Полвека. Эта связь времен тоже испытывала потрясения, но не разорвалась. Укрылась, ушла куда-то в глубину. Сохранилась. И сейчас всплывает.

Что значил Халатов для Жирмунского? Он хотел, чтобы такие, как Халатов, не вторгались в его работу, в его жизнь, не мешали ему заниматься своим делом. А они обычно мешали.

В апреле 1930 года из журнала „Печать и революция”, из готового тиража, по приказу Халатова был вырезан портрет Маяковского и приветствие редакции в связи с выставкой „Двадцать лет работы”. Это был один из последних ударов, нанесенных поэту.

Госиздат, где начальствовал Халатов, не опубликовал ни одного сборника Ахматовой.

Жирмунский читает стихи, которые он знал и любил юношей.

„Ахматова создала много замечательных стихов. Далеко не все появились в печати. Но ответственность не на поэте, а на известных обстоятельствах эпохи культа личности...”

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был...

Этих строк „Реквиема” он не произносит, но, должно быть, подразумевает.

„Известные обстоятельства эпохи культа личности” оказались враждебны и Ахматовой, и Халатову. Есть ли еще хоть что-либо общее в их судьбах?

Жирмунский говорит о гражданственности поэзии Ахматовой, о ее воспитательном значении. В музее Революции тоже говорили о воспитании. Там утверждали, что Халатов — пример для молодых.

Я давно уже не знаю ни одного молодого человека, для которого примером служил бы большевик, революционер. О таких я читаю лишь в иностранных газетах и книгах — о „новых” левых или о латиноамериканских партизанах. Их герои — Ленин, Троцкий, Роза Люксембург. Недолго — Фидель. Потом — Че Гевара.

Героизм Ахматовой вдохновляет многих. Не воспитывает, конечно, в истрепанно плоском смысле слова, но помогает одолевать жизнь. И молодым, и немолодым.

Поэт Арсений Тарковский сказал:

„Музе Ахматовой свойствен дар гармонии, редкий даже в русской поэзии, в наибольшей степени присущий Баратынскому и Пушкину. Ее стихи завершены, это всегда окончательный вариант. Ее речь не переходит ни в крик, ни в песню, слово живет взаимосвечением целого... Мир Ахматовой учит душевной стойкости, честности мышления, умению сгармонизировать себя и мир, учит умению быть тем человеком, которым стремишься стать”.

„...Сгармонизировать себя и мир” — не к этому ли стремились те люди, внуки и дети которых собрались в музее Революции? Хотя эта фраза прозвучала бы для них как чужая.

„Язык Ахматовой больше связан с языком русской прозы. Ее произведений не коснулся великий соблазн разрушения формы, то, что характерно для Пикассо, Эйзенштейна, Чаплина”.

Имени Маяковского он не произносит. Но как же не вспомнить о нем, говоря о разрушении формы. Особенно в его доме.

Здесь я тоже давно не была. Зимой 39-го года мы с Леней, моим первым мужем, решили писать сценарий о Маяковском. Сидели в этом доме в библиотеке, читали газеты, начинавшие желтеть уже тогда. И ненавидели всех, с кем он не успел доругаться, — Тальникова, Ермилова, Юзовского. Да, как это ни странно, и Юзовского — за статью „Картонная поэма“. По одному из вариантов нашего сценария, к счастью, не написанного, Маяковского убили враги народа и инсценировали самоубийство...

Лев Озеров грозно спрашивал: „Долго ли еще будет тетрадкой эта всеми ожидаемая книга?“ С тех пор вышел „Бег времени“, однотомник, — но „Реквием“ остается „тетрадкой“.

Владимир Корнилов читал стихи:

Век дороги не прокладывал,
Не проглядывалась мгла.
Блока не было. Ахматова
На земле тогда жила.

Халатов был убежден, что он прокладывает дороги в новый век. Его дороги заросли, оказались тупиками. А дорога Ахматовой — открыта.

Неужели эти миры разделены так безнадежно? Неужели различия их трагедий отрицают всякую общность? Ведь в наших душах, в наших судьбах они как-то совместились.

Когда я слушала стихи Корнилова впервые, меня покорило такое отождествление: Блок — Ахматова. По другому варианту строка читалась:

Бога не было, Ахматова
На земле тогда жила.

Десять лет спустя я приняла и Блока, и Бога.

Февраль 1965 года, Ленинград. Анна Андреевна рассказывает об Италии — в октябре она получила премию Этна-Таормина.

— Нет, никакого триумфа не было, — говорит весело, насмешливо, без обиды или разочарования. — Там совсем по-другому относятся к поэзии, чем у нас. Я раньше все осуждала наших „эстрадников” — Евтушенко, Вознесенского. Но, оказывается, это не так уж плохо, когда тысячи людей приходят, чтобы слушать стихи. А в Италии одинокие поэты сидят по разным городам. Их не читают. И они сами почти не знают друг друга.

Свидание с Италией полвека спустя, когда она уже и надеяться перестала. Впервые такое праздничное, международное чествование. Хотя она и говорила: „никакого триумфа”, но в действительности это было истинное торжество — десятки поэтов из разных стран Европы собрались ради нее, чтобы подтвердить всемирное признание ее творчества.

И там, в свободном мире, она разглядела одиноких поэтов. Уж ей-то, казалось бы, сосредоточенной на своей, на нашей трагедии, — можно было бы и не заметить этого. Нет, она видела и чужие беды.

Показывает подарки. „Божественная комедия” с рисунками Боттичелли.

Рассказывает: здание старинного монастыря, где происходило чествование, — на высоком холме. Крутая лестница.

— Ступени высоченные, каждый шаг кажется последним. Ну, думаю, сейчас вызовут неотложку и потащат меня отсюда на носилках. Будут, что называется, похороны по четвертому разряду. Покойник сам правит катафалком. Нет, думаю, надо взойти. И взойшла.

Снимки: Ахматова, Вигорелли, Унгаретти, министр — на трибуне. За ними, над ними — античные бюсты.

— Это, кажется, Август или Марк Аврелий. Смотрите, как презрительно косится: „Это еще кто такая? Поэтесса? Сапфо, знаю, а Ахматова — слышу впервые...”

— Дали мне какой-то конверт. Положила на стол. А министр открыл мою сумочку и всунул его туда. Оказывается, чек на миллион лир...

— Устала смертельно, вернулась к себе в номер. Только бы добраться до постели. Прибежал Сурков. „Все наши собрались. Хоть на несколько минут”. Потащилась в другой номер; кажется, к Твардовскому. Там и Симонов был, и еще кто-то. А на столе — она, милая. П-ал-литра. И селедка. Ели по-студенчески, закуски чуть ли не на газете...

Рассказывает весело, с удовольствием.

Немецкий писатель Ганс Вернер Рихтер написал очерк для радио:

„...Знаете ли вы, кто такая Анна Ахматова? Нет, вы не знаете этого, а если скажете, что знаете, то... либо вы образованнее меня, либо хотите казаться образованнее... Мне позвонили из Рима как раз перед полуночью... Я должен немедленно прибыть в Таормину, это очень важно, сказал тихий женский голос... официальное приглашение... Господи, да что мне делать в Таормине? И тогда прозвучали слова: „Анна Ахматова”. Что ни говори, эти слова звучали неплохо. Пять „а” подряд, а я люблю „а”.

Рихтер шутливо-иронически описывает свой полет в Сицилию, ожидание и подготовку торжества. Но, постепенно, сквозь иронию пробивается восхищение.

„Анна Ахматова здесь, — услышал я. — Это было в пятницу, в двенадцать часов дня, и солнце сияло в зените. Здесь, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру, необходима

пауза, чтобы достойно оценить это счастье. Потому что из-за этого голоса, из-за всего этого облика, могла бы произойти первая мировая война, если бы для нее не нашлись другие причины.

Да, здесь восседала сама Россия посреди сицилийско-доминиканского монастыря, на белом лакированном садовом стуле, на фоне мощных колонн монастырской галереи... Великая княгиня поэзии давала аудиенцию в своем дворце. Перед ней стояли поэты из всех стран Европы — с Запада и с Востока — малые, мельчайшие и великие, молодые и старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой... Каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок, и многие — я видел — отходили, ярко раскрасневшись. Каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: итальянцы — обаятельно, испанцы — величественно, болгары — набожно, англичане — спокойно, и только русские знали тот стиль, который достоин Анны Ахматовой. Они стояли перед своей монархиней, они преклоняли колена и целовали землю. Нет, они этого не делали, но выглядело именно так, или так могло бы быть. Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы. Среди них только один был насмешником — я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, он сказал:

„А знаете ли, в 1905-м году, в пору первой русской революции, она была очень красива?“...

...Когда она, наконец, вошла в зал, все вскочили с мест. Образовался проход, и она шла сквозь строй рукоплещущих, шла, не глядя по сторонам, высоко подняв голову, без улыбки, не выражая ни удовлетворения, ни радости, и заняла место в президиуме. После пышной итальянской речи наступило великое мгновение.

Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза или только еще приближается. Первое стихотворение было коротким, очень коротким; едва она окончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ее языка. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, и закрыла книгу.

Не прошло и десяти минут, как ее чтение, — акт милости, оказанный всем, — закончилось. Взволнованно благодарил ее Вигорелли, взволнованно благодарил Унгаретти, взволнованно рукоплескали все остальные, аплодисменты долго не умолкали.

После этого присутствовавших поэтов попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу и читал стихотворение для нее и для публики, и каждый раз она поднимала голову, смотрела влево, вверх или назад — туда, где стоял читавший поэт, и благодарила его любезным кивком, каждый раз, будь то английские, исландские, ирландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало — пусть мне простят это сравнение — новогодний прием при дворе монарха. Монархия поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, причем выступавшим здесь дипломатам не требовалось предъявлять верительные грамоты. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходила — высокая женщина, на голову выше всех поэтов среднего роста, подобная статуе, о которую разбивались волны времени с 1889 года и до наших дней. Видя, как она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени могли править именно царицы”.

В Риме пришла к ней в гостиницу журналистка.

— Какая-то Аделька из „Иль Мондо”. И написала потом чушь и гадость. Она, видите ли, надеялась, что я останусь. Изберу свободный мир. И наврала же она! И про внешность. И будто я говорю только о себе. И все время: „Ах, Гумилев! Ах, Пастернак! Ах, Мандельштам!” Даже об этом халате написала: „времен русско-японской войны, все пережил”... А Рим не понравился. Он все время за вами гонится...

Она рассказывала, как ехала поездом через Венецию, ночью. Стояла у окна. Хмурый, туманный рассвет. Горбатый, покосившийся мост. Фонари. Цепочка фонарей, словно провода на кладбище. Подумала: о такой Венеции еще никто не писал. Еще час — наступит утро, и тогда Венеция станет жемчужной, какую веками воспевали поэты.

Она говорила — и ее слова были тоже предутренние, предрассветные. Слова еще до рождения стиха. Будто на миг приоткрылось тайное святилище.

На столе — письма, бандероли. Издатель Эйнауди телеграфировал: „Горд, что Италия достойно встретила Вас”. Приглашение из Англии. Пакет из Америки — там издали „Реквием” по-чешски.

— Никогда не думала, что над „Реквиемом” кто-нибудь будет смеяться. А вот вы сейчас — будете. Посмотрите, как они представляют себе нашу тюрьму.

На обложке — рисунок. В окне — редкая, совсем не тюремная решетка, „сочинский” ландшафт. Светлая, просторная камера.

— Ничего не понимают. И, должно быть, никогда не поймут...

Расспрашивает о переводчице Анатолии Гелескуле. Правда ли, что он собирается переводить Рильке?

— Дай Бог, теперь, может быть, наконец, будет русский Рильке. Он и сам, конечно, пишет стихи. Вы их знаете?

Мы не знаем его стихов, кажется, он их никому не читает, не показывает.

Она уверено:

— Все будет, все придет. Он полубог, он все может. Передайте ему, что он самый первый класс...

Бродский прислал написанные в ссылке новые стихи.

— Я однажды призналась Бродскому в белой зависти. Читала его и думала: вот это ты должна была бы написать, и вот это. Завидовала каждому слову, каждой рифме. Могла бы позавидовать и стихотворению „На смерть Элиота”, но все же не так.

Мы рассказали ей о воспоминаниях Зинаиды Николаевны Пастернак, — мы оказались среди нескольких слушателей этих воспоминаний в Переделкине. История ее молодости, любви, семейной

жизни, быта. И неожиданно откровенные и банальные, как в приемной у врача, описания заурядного секса. Нам, трем супружеским парам, между собою — давним друзьям — в иные минуты неловко было глядеть друг на друга.

Мемуаристка старалась прежде всего доказать, что прообразом Лары, возлюбленной Юрия Живаго, была не Ольга Ивинская, а она — законная подруга. И что Пастернак всегда оставался „настоящим советским человеком”, „беспартийным большевиком”. О Мандельштаме написано с нескрываемой злой неприязнью, как о назойливом попрошайке, который „подводил” Пастернака.

Анна Андреевна слушала раздраженно и сердилась не только на Зинаиду Николаевну, но и на Бориса Леонидовича.

— Обожеествлял он это мытье полов... И когда „Фауста” переводил, Гретхен получилась грубее, чем у Гёте, такая же мешанка, как Зинаида Николаевна. Но теперь ее надо охранять. Если молодежь узнает, что она там пишет о Мандельштаме, то ее просто разорвут.

Редакция „Иностранной литературы” просила ее написать о Данте — к юбилею.

— Но я ведь еще не Коненков. Нельзя обо всем писать, на все откликаться.

Упоминает о своей пьесе — трагедии. Должно быть, о той, которая была сожжена в Ташкенте, но, возможно, и о новом замысле. Мы не решились спросить.

— Она шебуршится только в Комарово. А в других местах молчит.

В тот послеитальянский день она была оживленней, чем всегда.

Говорит о своей книге „Бег времени”:

— Они опять перепутали строки в чистых листах. У меня просто предынфарктное состояние.

— Анна Андреевна, что же будет?

— Я составила телеграмму. Но они не посчитаются со мной. Они-то выйдут из положения: вклеют портрет Насера. Вы смеетесь, а надо плакать.

Но и сама смеется.

Мы вышли на улицу, словно в другой мир... Там, в комнате, остались Италия, ее трагедия, „Бег времени”, который уже сдается в производство, Пастернак, Бродский, Гелескул. И снова Италия. Нарядная тюрьма на обложке американского издания „Реквиема”. Письма.

Она жила всем этим. Жила в земных, повседневных заботах, спорах, страстях. Сегодняшних, сейчасных, сиюминутных. В них — и бесконечно далеко, вне, над. Во всегдашних. Вечных.

Радуюсь переводам Анатолия Гелескула, тревожась, напечатают ли ее стихи в „Юности”, она была рядом с нами, в нашем трехмерном мире. А когда внезапно замолкала, когда читала стихи, когда говорила о предрассветной, еще „не наступившей” Венеции, — уходила далеко, в недостигаемые сферы, в четвертое измерение.

Август 65-го года. Мы с Генрихом Бёллем в Ленинграде. Он тогда собирал материалы для сценария телефильма „Достоевский и Петербург”.

Владимир Григорьевич Адмони и Тамара Исаковна Сильман предлагают повезти его к Ахматовой в Комарово. Едем тремя машинами. По дороге я спешу рассказать ему про Ахматову. Он очень внимательно слушает, переспрашивает. Я пытаюсь объяснить особенности поэзии Ахматовой. Из этого воз-

никает вовсе „посторонний” разговор о том, почему в современной русской поэзии преобладают рифмованные мелодические стихи, а в немецкой они почти исчезли.

Приезжаем в Комарово. За деревьями маленький домик — „будка”. Через застекленную террасу-пелал — идем в комнату.

Нас много, едва уместаемся. Анна Андреевна говорит по-французски. Бёлль отвечает по-французски с трудом. Потом они переходят на английский, это ей нелегко. Тогда мы с Владимиром Григорьевичем становимся толмачами.

Анна Андреевна в нарядной шали, держится чопорнее, чем обычно, — „принимает” иноземного гостя.

Оказывается, Бёлль читал ее стихи и по-немецки, и по-английски. На обратном пути я упрекнул его: зачем он молча слушал мою „лекцию”? Он хитро улыбался: „Я услышал немало нового. А если бы я сказал, что кое-что знаю, ты не стал бы рассказывать, а принялся меня экзаменовать”.

Он сказал Анне Андреевне, что ему немецкие переводы нравятся больше, чем английские. Немецкий язык по духу, по степени свободы ближе русскому, чем английский.

Заговорили о Достоевском. Она живо одобрила замысел фильма „Достоевский и Петербург” — дать возможно больше текстов Достоевского и образы Петербурга, независимые от текста. Не иллюстрации, а самостоятельный фон. Короткие вставки от автора сценария — не комментарии, а конкретные сведения о местах, связанных с Достоевским, и размышления о непреходящем значении его творчества, его мысли для России, для всего мира...

Она спрашивала, что Бёлль видел, где побывал.

— И про Сенную площадь не забыли? Квартира Мармеладовых? Ну, это уже чистая выдумка!

Говорили о внуке Достоевского, ленинградском инженере, который, выйдя на пенсию, стал добровольным, азартным исследователем, неутомимым гидом по местам Достоевского. Он заставлял нас считать шаги от дома Раскольниковова до дома процентщицы, показывал дверь, за которой был спрятан топор. Сетовал, что несколько обнаруженных им квартир Мармеладовых не совсем соответствуют описаниям в романе, доверительно поведал свою „гипотезу“:

— Вероятно, в романе квартира, так сказать, синтетическая.

На это Бёльль вполне серьезно ответил:

— Вы, конечно, правы. Писатели иногда предпринимают такие синтезы.

Анна Андреевна смеялась.

Пора уходить. Бёльль поцеловал ей руку. Мы впервые такое увидели.

Так же необычно для него торжественны были прощальные слова:

— Я очень рад, очень горжусь, что увидел главу русской литературы. Достойную главу великой литературы.

Анна Андреевна говорила потом:

— А он, пожалуй, лучший из иностранцев, которых я встречала. Они ведь почти все — дикари. А он удивительно милый человек.

Орлова:

Ахматова попросила меня задержаться.

— Как наше дело?

То было дело Иосифа Бродского, отбывавшего ссылку „как тунеядец“.

Я рассказала ей о новых ходатайствах наших и зарубежных литераторов в защиту поэта.

Три недели спустя — в сентябре — его вернули из ссылки. В тот раз хлопоты, в которых Ахматова принимала самое деятельное участие, увенчались успехом.

Копелев:

Февраль 1966 года. Процесс Синявского—Даниэля начался 10-го февраля — в день гибели Пушкина, а закончился 15-го — в десятую годовщину XX съезда, с которого мы вели новое летоисчисление. Но вот опять — постыдное судилище. Хуже, чем травля Пастернака. И президиум Союза писателей одобрил приговор — семь и пять лет лагерей.

В те дни Анна Андреевна вышла из больницы после инфаркта. Она несколько раз звонила нам, приглашала. А я не решался, трусил из-за радиорепортажа Рихтера о Таорминском чествовании — брошюру он прислал нам, о чем Анне Андреевне рассказали общие знакомые. И она каждый раз говорила:

— Пожалуйста, не забудьте захватить с собой статью этого немца, говорят, она занятая.

Но как показать ей этот несколько развязный репортаж, с шуточками по поводу ее возраста, внешности? Я ссылался на какие-то срочные дела, оттягивал, авось, можно будет прийти и без злополучной брошюры.

Анна Андреевна звонила снова. Уклоняться было уже невозможно. Она сказала, что приготовила нам свои новые книги — „Бег времени” и сборник переводов.

25-го февраля мы пришли на Ордынку. Она была такой же, как и раньше, величаво приветливой. Казалось, нет и следов болезни.

— Врачи меня называют медицинским чудом. Когда привезли в больницу, считали, что я умру немедленно. А я обманула медицину.

Но через некоторое время стало заметно: устает, бледнеет.

Расспрашивала о процессе. Тогда мы еще надеялись на кассацию, на помилование, на предстоящий съезд партии.

— Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий ученый, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя ему подавать руку.

Когда узнала, что некоторые литераторы выступили в защиту арестованных, очень обрадовалась.

Взяла в руки темно-серую, толстую книгу:

— Вот, можете полюбоваться, как американцы издают Ахматову. Собрание сочинений, том первый. Возмутительно! В предисловии напутано и наврано. Всунули два стихотворения неведомо чьих. Я ничего подобного написать не могла. Везде ошибки. Множество опечаток.

Мы робко пытаемся возражать:

— Хорошо все-таки, что книга есть. Напечатан „Реквием”. Ошибки исправят во втором издании. А чужие стихи? Может быть, это стихи Журавлева, который украл два ваших? Вот американцы ему и „возместили” — око за око.

Смеется коротко и отмахивается.

— Нет, нет, возмутительная книга.

Показывает старые снимки.

— Здесь я в том же платье, что на портрете Альтмана, и поза такая же.

...Снимок тоненькой гимнастки, лежит на животе,

голова закинута, упирается в пятки. Сильные, красивые ноги.

— Вот кем бы я должна была стать — циркачкой.

..Снимок, полученный из ЦГАЛИ; там хранится книжечка из бересты — сборник стихов Ахматовой, записанных по памяти в женском лагере. Читаем отчетливо врезанные в бересту строки:

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Очертанья столицы во мгле.

Сочинил же какой-то бездельник,

Что бывает любовь на земле.

Заметив наши умоляющие взгляды, подарила снимок, написав на обороте дату и свою монограмму — „А”, пересеченное летучим росчерком.

А потом я переводил ей с листа Рихтера, разумеется, пропустив шутку о „красавице 1905 года”, пуганицу в перечислении мужей.

Она слушала с явным удовольствием. Несколько раз смеялась.

— Да, да, именно так было. Ах, этот смешной долговязый ирландец, никто не понял, что́ он читал... Прелестно. Вот как надо писать репортажи. Хоть бы кто-нибудь из наших у него поучился. Может быть, послать Рихтеру мою книгу? Или лучше снимок — ведь он по-русски не читает.

Мы боялись, что утомили ее, несколько раз порывались уйти. Но она не отпускала. Прочла несколько стихотворений. Тогда мы впервые услышали:

Другие уводят любимых,

Я с завистью вслед не гляжу,

Одна на скамье подсудимых

Уж скоро полвека сижусь.

Сменяются лица конвоя

В инфаркте шестой прокурор...

Когда мы прощались, она сказала:
— Оставьте мне, пожалуйста, эту книжечку Рихтера.
Хочу еще сама проглядеть.

Орлова:

Выйдя от нее, мы прочитали надпись на ее книге
„Бег времени”:

„Дорогому Льву Зиновьевичу Копелеву с уважением и
даже восхищением.

А. Ахматова.

27 февраля

1966

Москва”

Это одно из самых драгоценных наших сокровищ.
И эта книга последовала за нами на чужбину.

Копелев:

На следующее утро звонок. В голосе — улыбка.

— Я прочла репортаж и оценила ваше джентльменство. А теперь очень прошу — переведите весь текст. Полностью. Без купюр. Мы сегодня с Ниной Антоновой уезжаем в санаторий, но Виктор Ефимович и мальчики будут к нам ездить. Пожалуйста, пришлите перевод, как только закончите.

Это было 28 февраля — в последний раз я слышал голос Анны Андреевны. Переводил я старательно. Машинистка спешно перепечатывала. Ранним утром 5-го марта я позвонил Ардову, который в тот день должен был ехать в санаторий, — чтоб захватил перевод, все готово. А в полдень позвонил он:

— Анна Андреевна умерла. Примерно тогда, когда мы с вами разговаривали.

Записи в моем дневнике: „Растерянность. Горе. Ощущение великого перемещения сроков. Звоню друзьям. Нужно известить Лидию Корнеевну и Надежду Яковлевну. Нужно думать о живых. Позвонил в Берлин Рихтеру. Это ведь, как завещание...”

Аня* рассказала, что накануне Анна Андреевна просила прислать ей Новый Завет — хотела сличать тексты Евангелия с текстами кумранских рукописей. Утром пятого марта проснулась очень веселая. Но завтракать не пошла, чувствовала слабость. Сестра сделала ей укол. Она шутила с ней. И умерла, улыбаясь.

Седьмого марта утром панихида в церкви Николая в Кузнецях — заказала Мария Вениаминовна Юдина. Собралось человек сорок. Молодой священник служил серьезно, истово.

Дневник: „Двое певчих, причетницы в черных платках. Когда пели „Со святыми упокой...”, древние, печально утешающие слова, глаза намокали. Стояли с маленькими свечками. Хорист махнул нам — „Вечная память”. Все подпевали. Вечером у Ивана Рожанского поминки. Слушали голос Анны Андреевны. Грудной, очень низкий, усталый голос. Несколько стихотворений звучат, сопровождаемые перестуком дождя за окном. От сознания, что этот голос живет уже совсем отдельно, что ее уже нет, все значительнее, величественнее и печальнее. И становится слышимой, внятно слышимой отстраненная мудрость стихов. „Я” звучит уже как „Она”; и страстные признания — непосредственная действительность любви и тоска чувственных воспоминаний, пронизаны мыслью — трезвой, пронзительно ясной мыслью”.

* Дочь Ирины Пуниной, в те дни была с А. А.

Шестое, седьмое, восьмое марта: непрерывные телефонные звонки, долгие переговоры. Союз писателей поручил Арсению Тарковскому, Льву Озерову и Ардову сопровождать гроб в Ленинград. Но что будет в Москве? Руководители Союза явно трусят, боятся, чтобы не было „демонстрации”, хотят, чтобы все прошло возможно скорее. Седьмого позвонила Аня. Самолет с гробом должен вылететь 9-го марта в 15.15. Гроб нужно доставить на аэродром не позже 12-ти. А в Союзе объявили, что желающие проститься должны приходить 9-го в Дом литераторов к 10.00. Всех повезут автобусами в морг больницы Склифосовского. Но рабочие говорят, что запаивать гроб нужно не меньше часа. Выехать на аэродром необходимо в 11. Значит, в лучшем случае, автобусы с провожающими встретят закрытый гроб.

У Арсения Тарковского в голосе слезы. „Не знаю, что делать. Все говорят, что уже поздно. Ведь завтра восьмое марта. Некого просить, на аэродроме все работники багажного отдела — женщины. У них — праздник”.

Звонит Ардов — самоуверенно: „Все устроим, все устроим”. Но уже час спустя он убеждает, что ничего нельзя поделать.

Снова и снова звонят друзья, знакомые и незнакомые, спрашивают: „Неужели правда, что не дадут проститься?”

Когда-то Ахматова писала:

Какой-то сумасшедший Суриков
Мой последний опишет путь?

И получилось так, что не облеченный никакими полномочиями, я стал, не отходя от телефона, действовать от имени „комиссии Союза писателей по похоронам Ахматовой”.

Избрав давний и самый надежный способ, — обращаясь не к большим начальникам, а к малым исполнителям. Звонил на аэродром, в отдел перевозки грузов, бархатым голосом поздравлял девушек с наступающим праздником, объяснял, какой великой женщиной была Анна Ахматова, и в общем без особого труда добился разрешения привезти гроб на аэродром на два или даже на три часа позднее указанного срока, хотя Воронков и другие секретари Союза уверяли, что срок установлен непременно. Всем, кто нам звонил, мы говорили, чтобы шли прямо к моргу, минуя промежуточную „явку” в Союзе.

Девятое марта. На рассвете приехали Эткинд и Дудин. Я снова позвонил на аэродром, убедился, что новая смена будет выполнять вчерашнее соглашение. К десяти поехали в морг. Холодный дождь. Мокрый серый маленький дворик на задах больницы Склифосовского. В небольшой серо-белесой камерке, на постаменте, — гроб.

Платиновая седина. И розовое лицо, сглаженное, показалось даже — без морщин. Все черты скульптурно отчетливы. Не смерть — Успение.

У гроба стали Нина Антоновна Ольшевская, Аня, Надежда Яковлевна, Ника Глен, Юлия Живова. И все еще шли, медленно теснясь, задерживаясь, безмолвные люди. Много знакомых лиц, но больше незнакомых.

Суетился озабоченный, неизменный Арий Давыдович из Литфонда.

— Пожалуйста, друзья, проходите.

Рая поехала за Лидией Корнеевной. Очень тревожно было за нее, за ее сердце. Люди идут и идут. Несут цветы. Венков не видно — это не казенные похороны.

В тесноте, наполненной печальным шепотом, всхлипами, внезапное ощущение единства. Естественного, свободного и печального единства.

Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину,
И устремлюсь к желанному притину
Свою меж вас еще оставив тень.

Когда хоронили Пастернака, тоже не было извещения, тоже не хотели, боялись прощания. И тогда в жаркий июньский день многие приехали в Переделкино вопреки, назло его гонителям. Среди тысяч провожавших сновали десятки иностранных корреспондентов, топтуны и фотографы КГБ, метались чиновники Литфонда... У его гроба прозвучали не только печальные, но и гневные, обличительные слова...

Прощание с Ахматовой было иным. Только скорбным. И скорбь — тихая, смиренная и гордая. Все ей враждебное — трусливые происки, злые страхи — далеко от гроба, где-то там, за дверьми кабинетов Союза писателей и других учреждений.

У входа в морг на замызганные ступени вышел Ардов.

— Товарищи, начинаем траурный митинг.

Развязный эстрадник, нередко пошловатый, он произносил обычные слова надгробной риторики. Но в голосе — неподдельное горе. Потом говорил Лев Озеров:

— „...Ахматова! — Это имя — огромный вздох...” Эти слова пятьдесят лет назад вырвались из уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И будем повторять всегда — потому что у больших художников нет смерти, есть только день рождения... Завершилась большая жизнь и большое творчество

Анны Андреевны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие...

Последним выступал Ефим Эткинд.

— В статье о Пушкине Ахматова писала, что Николай Первого и Бенкендорфа теперь знают лишь как гонителей Пушкина, как его ничтожных современников... Мы живем в эпоху Ахматовой. И к гонителям Ахматовой будут относиться наши потомки так же, как мы сегодня относимся к гонителям Пушкина.

Орлова:

В тот же день было открытое партийное собрание в Союзе писателей... „Итоги литературного года”. Кто-то из президиума объявил:

— Умерла Анна Ахматова. Почтим ее память вставанием.

Тамара Владимировна Иванова говорила взволнованно и гневно:

— Во дворе морга мне было смертельно стыдно за нашу организацию. Ведь времени было достаточно. Митинг мог бы быть и не самостоятельным, мог бы быть и здесь.

Ей отвечал Михалков:

— Хочу дать справку: это закономерно, что в адрес президиума тут ряд записок о смерти Анны Ахматовой. Спрашивают, почему московские писатели не получили возможности проститься. Считаю долгом рассказать, чтобы не было кривотолков. Она умерла в санатории, оттуда, как положено, была доставлена в морг Склифосовского — накануне праздника 8 марта, тут уж ничего нельзя было поделать. По просьбе родственников, вчера была по русскому православному обычаю панихида. А через три дня в Ленинграде будет гражданская.

Тамара Владимировна с места, громко:

— Все неправда! Все не так!

Михалков:

— Я имею информацию от Союза писателей, от руководства, совершенно точную. Мы обращались в ряд инстанций, никаких препятствий нет. Меня самого многое удивило, но...

На этом собрании говорила и я. (Это оказалось моим последним выступлением в Союзе.)

Говорила о тех замечательных рукописях, которые все еще не стали книгами: „Реквием” Анны Ахматовой, „Крутой маршрут” Евгении Гинзбург, „Софья Петровна” Лидии Чуковской, „Новое назначение” Александра Бека, вторая часть романа „За правое дело” Василия Гроссмана („Жизнь и судьба”, но тогда я этого названия не знала). И тоже спрашивала: почему московским писателям, почему москвичам не позволили проститься с великим поэтом?

Отвечал Тельпугов:

— Два слова о похоронах. Михалков сказал правду. Регламент был такой установлен. Но, конечно, московскому отделению — и я себя тут не отделяю — надо найти возможность проводить Ахматову. Эту ошибку надо исправить, сделать большой вечер. А покойников бояться не надо!

На протяжении последующих пятнадцати лет никакого „большого вечера Ахматовой” не было. А покойников боялись по-прежнему. Даже тех, кого хоронили торжественно и пышно, — Эренбурга, Паустовского, Твардовского. Их гробы охраняли, сопровождали до могилы мундирные и штатские стражи, не подпускали никого „посторонних”...

В полночь девятого я уезжал в Ленинград вместе с Иваном Дмитриевичем Рожанским и Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. На вокзале толпились уезжающие и провожающие. Ардов с приятелями принес нам чемоданы Анны Андреевны, среди них главный — с рукописями, тетрадами, записными книжками. В последующие годы я с горьким чувством вспоминал, как мы своими руками отдали их в Ленинграде семейству Пуниных, которые потом торговали этим бесценным архивом, разбазарили его, постыдно судились с единственным законным наследником — Львом Гумилевым.

Из дневника: „Большой сине-белый собор. Внутри толчея. Обедня заканчивалась здравицей патриарху, поминаниями по спискам. Теснота все густела. Вижу много знакомых лиц ленинградских литераторов. Когда началось отпевание, только по движению митрополита (куда он шел) угадывается, где гроб. Люди с киноаппаратами снимают, подсвечивают, взбираются на табуреты. Внезапно пронзительный крик: „Хулиганы! Прекратите! Здесь храм”. Это Лев Гумилев... Пели, молились значительно дольше, чем в Москве на панихиде. Служили многословнее, велеречивее и казеннее. Пробивалось недоброе сознание: все это заученно, стандартно. Но, вопреки всему, или, может быть, именно поэтому поражали и сжимали сердце слова: „...идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная... презирая ея грехи вольные и невольные... И сотвори ей вечную память...”

Сотвори память!

Когда началось прощание, мы сперва протиснулись к выходу, уже оттуда пробирались к гробу. Юноши и девушки, сцепив руки, стояли живой оградой.

дой вокруг. Анатолий Найман заметил нас с Иваном, пропустил. У гроба Аня, в темно-лиловом шарфе, заплаканная, усталая. По-светски знакомит с нами Льва Николаевича: „Это московские друзья Акумы”. Он похож на мать лицом и какими-то интонациями, оттенками голоса. Но весь мельче. Не-высокий. Болезненно одутловатое лицо. Глаза тусклые. Сердито кивнул нам, отрывисто, словно отмахиваясь, торопливо пожал руки. Отдаю ему стихи Беллы Ахмадулиной, посвященные смерти Ахматовой.

— Никаких стихов у гроба не надо. Пошлость!

Вокруг много молодых. Бледный, взъерошенный Иосиф Бродский, угрюмо насупленный Толя Найман. Рядом с ними незнакомый нам парень, широколицый, волосы в кружок, рот стиснут болью.

Вдоль гроба идут и идут — петербургские старики, старушки в шапочках, повязанных шальями, нарядные девушки, парни в старых ватниках, интеллигенты, работяги и снова петербургские старушки. Они целуют лоб, покрытый белой полоской с черной славянской вязью. Некоторые плачут тихо, другие вслух причитают: „Боже, какая красивая”.

Распорядитель испуганно бормочет:

— Товарищи, пожалуйста, прошу поскорее, другие тоже хотят проститься. В Союзе писателей надо быть в два.

Голоса в толпе, несколько раз возникает шум:

— Не закрывайте гроб. Тут по второму разу проходят.

Кто-то сказал:

— Какая огромная ахматовка.

Молодые цепью оттесняют толпу. Выносим гроб к катафалку. Церковный двор запружен. На паперти — нищие, громко переговариваются.

— Она молитвенная была, прилежная... Завсегда подавала не меньше двугривенного, а то и по рублю на праздник. Хорошая была женщина, Царствие ей Небесное...

Пытаемся догнать катафалк на такси, на Литейном постовой милиционер задерживает:

— Въезда на Воинова нет. Правительственные похороны.

Еще недавно ее поносили, прорабатывали от Владивостока до Либавы, но похороны — „правительственные”.

У Дома писателей толпа. Очередь на несколько кварталов. Суюсь с писательским билетом сначала к лейтенанту, потом к майору, потом к полковнику, нас втискивают вне очереди в главный парадный вход. Сочувствующий милиционер — „Вы нажмите — утрамбуются”. Там давка. Движемся медленно, шагками, подолгу стоим. Скорость — одна ступенька за несколько минут. На втором этаже у гроба идет гражданская панихида. (Потом узнал, — говорили Берггольц, Дудин, Рыленков, академик Алексеев).

Добрался до гроба, встали в стороне. Просеменил Прокофьев — розоватый колобок без шеи.

В Комарово на кладбище двинулись несколько автобусов и множество легковых машин. У выезда из города внезапная остановка, все повернули обратно. Оказывается, забыли крест. Потом легковые машины обогнали катафалк. Большая толпа встречала его у входа на кладбище. Гроб выносили ленинградские писатели. Впереди шли Дудин и Эткинд. В Комарово еще настоящая зима. Топтались в глубоком снегу больше ста человек. К вечеру стало подмораживать. Олег Волков сказал, что я должен говорить у могилы: „Семья просит”. Речь у меня была подготовлена, впервые написал заранее. Вол-

ков несколько раз настойчиво называл мою фамилию ленинградскому литератору Ходза, деловито открывшему траурный митинг.

Первым говорил Юрий Макагоненко. Вместо меня назвали Михалкова. Он в толпе грелся, толкал соседей плечами, едва ли не хихикая. Достал из кармана бумагу с машинописным текстом и прочел нечто бесцветное, бездумное.

Потом Арсений Тарковский говорил, с трудом сдерживая слезы.

Последнее целование. Священник посыпал земли, положил листок с молитвой. Гроб забили. Когда забросали могилу, возник спор, куда ставить крест, в головах или в ногах. Спорили все более шумно, ссылаясь на обычаи и церковные правила. Высоким голосом сердился Лев Николаевич. Возражал ему священник. И опять кто-то сказал: „посмертная ахматовка”.

В ту же ночь мы уехали в Москву. В вагоне Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывала о поминках в комаровской будке: „Пунины ненавидят Леву, он их тоже. Теперь начнется с архивом. Ирина Пунина еще натворит...”

Она оказалась права.

*

Первый вечер памяти Ахматовой устроили студенты математического факультета МГУ 31 марта 1966 года.

За полчаса до начала Тарковского и меня пригласили в деканат. Секретарь парткома и заместитель декана, встревоженные и смущенные, спросили, о чем мы собираемся говорить. Не можем ли показать тексты или хотя бы „тезисы будущих выступлений”.

Мы решительно отказались.

Никаких текстов и тезисов нет. Будем говорить то, что знаем, помним.

— Но вы понимаете, не надо заострять, создавать политически сомнительные моменты. Среди наших студентов у некоторых есть нездоровый интерес... Ведь было известное постановление ЦК, оно еще не отменено. Но, с другой стороны, конечно, великая поэтесса... Это первый вечер, не надо, чтобы возникла нездоровая политическая сенсация.

Мы, с разной степенью раздраженности, отвечали по сути одно и то же. Что никто не собирается устраивать политических демонстраций, будут говорить о великом поэте.

Начал студент А. Гефтер.

— Анна Андреевна обещала нам в прошлом году, что в первый же приезд в Москву придет к нам и выступит. Это не вышло.

Председательствовал Арсений Тарковский. Говорили он, Маргарита Алигер, Семен Липкин, Лев Озеров, Вяч. Иванов и я*. Потом слушали голос Ахматовой. Магнитофон принес Иван Рожанский. В молитвенной тишине ее неповторимый голос звучал совсем по-иному, чем я столько раз уже слышал, — по-новому печально и по-новому торжественно...

*

Мы начали писать девять лет спустя после смерти Ахматовой. После тогдашних нескончаемых поминальных разговоров о ней, о ее стихах. Сейчас нам все труднее представить себе, что мы видели ее

* Выступление Л. Копелева на этом вечере было напечатано в „Гранях” № 63. — Р е д.

вблизи, что мы разговаривали с ней, приветливой, веселой, гневной, кокетливой, мудрой, шутили, чокались, слушали ее чтение...

Когда она только начала входить в нашу жизнь, мы стали различать ее стихи в разноголосом хоре: Цветаева, Пастернак, Берггольц, Твардовский, Слуцкий, Самойлов, Шаламов, Тарковский, Межиров, Мартынов, Ахмадулина. Несколько позже „услышали” Мандельштама. Тогда, на рубеже пятидесятих—шестидесятих годов, голос Ахматовой не был для нас ни самым звучным, ни самым важным.

Но постепенно мы стали все чаще, все отчетливее выделять именно ее. В этом сказывалось отчасти и влияние Лидии Корнеевны Чуковской, нашего близкого друга. Она боготворила Ахматову, знала наизусть тысячи строк ее стихов и сумела вдохнуть в нас свою любовь к ее поэзии, к ее судьбе.

Несколько лет голос Ахматовой звучал нам из хора. Ее поэзия воспринималась как одно из течений большого потока. И ее облик виделся где-то в глубине широкой панорамы...

Теперь, уезжая надолго, мы берем ее книги. Несколько раз брали сборники других поэтов, но снова и снова убеждались: всего нужнее — Ахматова.

Часто, после трудного дня, мы читаем друг другу стихи. И прежде всего, а в самые тягостные часы — единственно, — стихи Ахматовой.

...В каждом поэтическом творении скрыто чудо, волшебство, недоступное истолкованию. Но и восприятие поэзии тоже не поддается рассудочному исследованию.

И каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад...

Все же мы пытаемся объяснить себе, почему именно так, хотя и с огромным запозданием, но и необы-

чайно своевременно обрели каждый свою и вместе нашу Ахматову.

Орлова:

Лидия Чуковская в предисловии к „Запискам об Анне Ахматовой” говорит, что одна из особенностей ахматовских стихов — легкая запоминаемость. Я слишком поздно открыла ее поэзию — когда память уже стала непослушной. До сих пор помню сотни строк Северянина или Вертинского (даже ахматовское „Чернеют дороги приморского сада” запомнила искаженно, по Вертинскому). Но самые любимые сегодня стихи запомнить уже не могу. Хотя перечитываю сотни раз.

„Реквием” пришел ко мне одновременно с „Иваном Денисовичем”, „Кольмскими рассказами”, „Крутым маршрутом”. И у Ахматовой я услышала прежде всего „завывание черных марусь”, увидела ее „трехсотую с передачей”, ощутила жестокую иронию слов у тюремного окошка: „Гумилеву от Ахматовой”.

Мне прежде всего было важно — про что?

Но отдельно — еще долго оставаясь отдельным — звучал гул.

Стихи Ахматовой я поначалу воспринимала, как создания старинного зодчества. Их „мраморность” для меня была достоинством. Мне с юности было неловко слушать или читать безудержные излияния. Эмоциональная несдержанность, избыток бурных слов невольно — и часто несправедливо — порождали сомнения в искренности чувств.

Однако, называя поэзию Ахматовой „мраморной”, я заблуждалась. В ней огромная работа души, обуздавшей огонь.

Ни я, ни мои подруги никогда не любили „по Ах-

матовой". И сейчас я не нахожу у нее ни одной строки, родственной моему сердечному опыту. Должно быть, поэтому — уже зная, полюбив „Реквием”, „Тайны ремесла” — я долго еще не воспринимала „Чётки”, „Белую стаю”, „Подорожник”, даже „Трилистник московский”, „Шиповник цветет”.

Ахматова привлекла меня прежде всего как поэт трагедийного противостояния смерти, хаосу, мраку.

Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму,

молила она, обращаясь к своей поэме.

Она всегда жила на краю бездны, смертельно боялась тьмы и хаоса. Но преодолевала страх — поэзией.

Страхи были конкретны: Первая мировая война. Гражданская война. Голод. Мятежи. Гибель близких. Их уход в эмиграцию. Ежовщина. Лагеря. Снова война. Травля. Очереди у тюремного окошечка.

Это были разные воплощения вечного ужаса, угрозы человеку во все эпохи, во всех краях, даже при самых мирных обстоятельствах. Они и в трагедии любви. И в неотвратимости смерти.

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?

Ахматовское поэтическое восприятие ужаса магнитно влечет. Но еще больше пугает. Как обрыв над пропастью. Она глядит с головокружительной высоты на дольний мир, этот взгляд и гипнотически завораживает, и отталкивает. Иногда я ощущаю: нет, дальше я не в силах следовать за ней, это для меня — последний рубеж. И я отступаю. Бегу от неодолимого порога. Тогда необходимо возвратиться

к Пушкину, к Толстому. Не то моя жизнь потеряет смысл.

У Ахматовой мне бесконечно дорог не запечатленный, а преодоленный хаос.

В предисловии к „Реквиему” она вспоминает, как женщина в тюремной очереди спросила ее: „А ЭТО вы изобразить можете?” Она ответила „Могу”. И она изобразила ЭТО — грязный, кровавый хаос самых страшных лет России.

Это не летопись. Не вопль отчаяния. *Re Quiem*. За упокой. Поэт скорбит о жестоких страданиях. О своих страданиях — матери. О страданиях других матерей. О страданиях всей России.

Ужасен хаос этих страданий. Но в „Реквиеме” — величавый покой и гармония. Хаос преображен в космос.

Когда я в первый раз прочла „Поэму без героя”, я в ней ничего не поняла. Авторские слова в предисловии „...объяснять ее я не буду” меня даже кольнули. Мне бы надо, чтобы объяснили.

Но гул „Поэмы” не умолкал с первого чтения, а потом все нарастал. Прошло десять лет, пока гул и смысл встретились.

Я не знала ни тех людей, ни тех событий, которым посвящена Поэма. У меня она вызывала иные образы, иные чувства.

Разлучение наше мнимо,
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отражение мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах...

Она писала о своей разлуке с Ленинградом. А я читала про свою нерасторжимость с каналами ли, с обрывом ли над Москвой-рекой у деревни Жуков-

ка, с улицами моего детства — Тверской, Дмитровской, Петровкой...

У шкатулки тройное дно...

Мне начало открываться — второе. Я не могу воспринимать „Поэму”, как книгу с ключом, — я не знаю ни людей, ни отношений, в ней запечатленных. Но все ближе, ближе ликование карнавала, то шутовского, то торжественного, и почти всегда гибельного.

И бесконечные укоры совести за участие в этом карнавале.

Пласты неисчерпаемой Ахматовой меняются: одни приближаются, другие отдаляются. Сейчас мне важнее всего ее борьба с памятью. Нельзя, невозможно все помнить — иначе погибнешь, память затопит сегодняшнее существование. Но и нельзя забыть — это было бы предательством мертвых и живых.

Я не знаю в мировой поэзии ничего, сравнимого с шестой северной элегией. Это стихи не только о забвении, но и о забывании.

...И вот, когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,

...Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас...

Прошлое не уместить в границах нашей жизни.
Эта беспощадная истина высказана в элегии мужественно. Груз прошлого гнетет сегодняшнюю жизнь, мешает ей, душит ее. Но жизнь упрямо сопротивляется, и поглощает прошлое, обволакивает его, втягивает медленно, вязко, неотвратимо.

И строки элегии необычно для Ахматовой длинны, протяжны, медлительны...

Копелев:

Поэзия Ахматовой стала мне необходима прежде всего потому, что я боюсь черной пустоты, небытия, смерти. Так же, как этого боятся, вероятно, почти все люди, начиная с первых отроческих представлений о мире.

Стихи Анны Ахматовой излучают ту же благодатную силу, что и пушкинские стансы.

Брожу ли я вдоль улиц шумных...

Это я с детства воспринимал как молитву, как заклинание и как обещание бессмертия. Пусть бессмертна и равнодушна природа, но в ней — и жизнь *младенца милого*, и любовь к *милому пределу*.

Много лет спустя я услышал, прочел и с тех пор часто повторял:

Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.

В этих строках я ощутил прямое родство с царственным словом Пушкина, которое несло в себе, дарило миру и мне прекрасное бессмертие.

И Ахматова преодолевает смерть. И ее слово сегодня для меня — так же, как пушкинское, — немеркнущий свет, который „и во тьме светит”.

Когда она только начинала, Недоброво и Мандельштам писали, что ее поэзия растет из русской прозы. Ее стихи так емки, что иногда в двух-трех строфах как бы уплотнились новеллы, повести, романы. Должно быть отчасти и поэтому, я, хоть и с опозданием, но с готовностью принял Ахматову и она стала моим *главным поэтом*. Я долго не созна-

вал, что был подготовлен к этому русской словесностью от Пушкина и Тютчева до Толстого и Достоевского, которые необходимы нам, как воздух и хлеб.

Кто с детства их книгами вскормлен, воспитан, будет вопреки любой моде, любым злободневным увлечениям, снова и снова возвращаться к родникам. К свободной гармонии. К Пушкину и к Ахматовой.

Она помогла мне освобождать душу и разум от всяческих шлаков, от „идеологически обоснованной” безнравственности, от упрощенно целесообразного отношения к искусству как оружию и средству и, наконец, от простейшей безвкусицы. Она освобождала, покоря необычайной свободой своей поэзии.

И творила она свободно еще и благодаря исконной глубокой религиозности.

Она верила так истово и так интимно, что ей не нужно было поверять себя догматами. Она не боялась показаться еретичкой или богохульницей и не молилась о „помощи неверию”. Она хотела глаголом жечь сердца людей и не хотела, чтоб к штыку приравнили перо.

Обретя высочайшую степень свободы от внешних сил, от любого фанатизма, она смиренно, безраздельно и гордо отдавалась божественной силе своего дара.

*

Ахматова пришла к нам поздно. В юности мы жили без ее стихов. Это провал не только эстетический, но и нравственный. Общая беда нашего раздельного прошлого. Но когда мы уже были вдвоем,

то, в годы всех новых внешних и внутренних кризисов, мы — новообращенные — тем более свежо и глубоко воспринимали ее стихи и ее судьбу.

Ахматова пришла к нам, когда мы блуждали среди обломков разрушенных капищ и поверженных идолов, в чад испепеленных надежд и самообманов. Нам грозило полное отчаяние, либо новые иллюзии, новая „партийность”...

Поэзия Ахматовой никогда не служила тому злу, которое долго пленяло нас. Мы оказались в несметном числе тех, кто искал у нее „помощи душевной”. Она помогала глядеть в бездны, глядеть, не закрывая глаз, не отчаиваться и не смиряться. Она дарила нас радостью — словом, — но не дурманила, не усыпляла. Она помогала нам в трудных борениях с нашей памятью.

Ленинград, Переделкино, Москва.

Июнь 75 г. Янв.—февр. 76 г.

Батуми. Окт. 77 г.

ДИАЛОГ — ПОСЛЕСЛОВИЕ

Орлова:

Наша рукопись несколько лет пролежала в столе. Потом она вместе с нами переместилась в другую страну, в другой мир.

Перечитав ее, я испытала глубокую неудовлетворенность. Мне кажется, наша работа присоединяется к иконописной литературе об Ахматовой. Между тем, все твои (да и мои) восхваления мало помогают глубже понять и ее жизнь, и ее поэзию.

Мы смотрели на нее молитвенно, а такой взгляд не плодотворен. Когда пишешь об искусстве, о поэ-

те, обожествление даже опасно, оно мешает многое ощутить, понять.

Ты в последние годы много занимался темой „'Фауст' в России". Но, кажется, ни разу не назвал имени Ахматовой. А между тем и в ее поэзии вняты фаустовские мотивы. Я имею в виду и прямые многочисленные упоминания Фауста и Мефистофеля в ее творчестве, особенно в „Поэме без героя".

„...Козлоногая ...появляется в глубине зала, сцены, ада или на вершине гётевского Брокена..."

И, в другом месте, прямой повтор:

Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной, неслась...

Но не в прямых упоминаниях дело. А в том „зеленом, бесовском пламени" (Лидия Чуковская), которым пропитана не только „Поэма без героя", но и многие стихи Ахматовой:

Я пила ее в капле каждой
И бесовскою черной жаждой
Одержима, не зная, как
Мне разделаться с бесноватой...

В „Поэме без героя", в этой петербургской Вальпургиевой ночи, Ахматова — поэт русский и европейский. Она по праву наследует, „присваивает" „Фауста", так же, как героев Софокла, Данте, Шекспира.

Она конкретна и в своей поэтической бесовщине. Она же несется на Брокен, у нее же, „как копытца, топчут ножки..."

В мешанине ада и рая, добра и зла, конкретного и абстрактного, возникает и сам Владыка Мрака, которого привели с собой призрачные гости. Возникает призрачный город, „достоевский и бесноватый..."

Повторяю: мне в нашей работе не хватало хотя бы попытки понять эту одержимость, бесовщину.

Иронические строки

Я тишайшая, я простая
„Подорожник“, „Белая стая”...

— тут ясно. Не тишайшая и не простая. Но какова глубина подвалов памяти, неразрывно связанных с высотой небес?

Впервые я начала задумываться над тем, что скрыто в глубинных слоях ахматовской поэзии, когда читала ее работы о Пушкине. Я согласна с Лидией Чуковской: „Ахматова не рукопись пушкинскую расшифровала, а силою родства биографий *вспомнила* вместе с ним то, что и он, и она всегда носили в душе — казнь близких, и потому ясно увидела недописанное: запретную, пустынную могилу на диком берегу”.

Но не только в этом, не только в памяти о казненных ее внутреннее родство с „первым поэтом”. Ахматова писала: „Пушкин в зрелый свой период вовсе не склонен „обнажать раны своей совести” перед миром (на что, в какой-то степени, обречен каждый лирический поэт)... почему в рукописи остались „Нет, я не дорожу...” и „Когда в объятия мои...”

Это она писала о Пушкине, но и о себе.

Внутреннее родство влекло Ахматову к разным страницам пушкинской жизни и тайнописи. Ее интересовала, например, Каролина Собаньская, красавица-полька, шпионка Третьего отделения, любовница Пушкина. Ахматова знала, что в трагедии поэта повинны не только открытые враги, но и мнимые друзья-предатели. Пушкин сам знал об этом. Но все же не порывал ни с Раевским, которого называл своим демоном, ни с Каролиной Собаньской, — а она была, кроме того, еще и любовницей Раевского...

Кого из своих современниц вспоминала Ахматова, когда приближалась к загадке Собаньской, — не роковую ли куртизанку Надежду Пешкову?*

Мне кажется, так пристрастно писать об интригах столетней давности, так точно распознать их хитро-сплетения можно было и благодаря избирательному сродству с Пушкиным, жертвой интриги, и от острого интереса к интриганам, к их дьявольскому мастерству, к самой технике интриги.

Я спросила Эмму Григорьевну Герштейн, „перебесилась” ли Анна Андреевна к концу жизни. Она замахала руками:

— Что вы, она именно тогда стала прямо-таки одержима бесами!

Ахматова испытала вслед за Пушкиным и выразила соблазн, а временами и власть той дьявольской силы, что хочет зла, но творит добро... И в этом, а не только в божественной сути, — один из источников ее поэтического величия.

Копелев:

Ты права в том, что, когда мы начали писать, действовала инерция жанра — надгробной речи. Тем не менее, я не отказываюсь ни от одного слова из того, что писал и говорил раньше.

Но с тем, что ты говоришь о фаустовских чертах, я не согласен. Фауст сознательно и добровольно шел на союз с дьяволом. Фауст был *ослеплен* именно тогда, когда поверил, что этот союз привел его к плодотворной деятельности. Причиной или одной из причин трагической вины Фауста было, как справед-

* Надежда Алексеевна Пешкова (1901-1970), невестка Горького, по домашнему прозвищу „Тимоша”, была любовницей Ягоды, тогдашнего начальника ГПУ.

ливо писал Владимир Мейер, то, что он отверг первичность СЛОВА, то есть Духа, убедив себя, что „в начале было ДЕЛО”.

Вот у Горького — воистину фаустовская судьба. Он тоже был соблазнен и ослеплен, тоже верил в первичность деяния — и в скрежете лопат зловещих могильщиков слышал бодрые шумы социалистического строительства.

Я согласен, что наша великая государыня поэзии была отнюдь не ангельской породы. Некоторые люди полагают, что в мире есть одна истина, что действуют всегда и везде две взаимоисключающие непримиримые силы — метафизическое добро и метафизическое зло, а третьего не дано.

Ахматова думала и чувствовала по-иному:

И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих неутешная вдова...

Много тайн зашифровала она в своих стихах — „у шкатулки — тройное дно...”, много унесла с собой.

Однако и в том, что она поведала — открыто, лукаво, печально, весело, — высказано немало греховного, демонического, искусительного.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей...
Но больше нет ни слез, ни оправданий.

Размышляя о фаустовской проблематике в новейшей русской истории, мы говорим о Пастернаке

и Сахарове, которые отвергли соглашение с дьяволом. Пастернак не случайно сравнивал Юрия Живаго с Фаустом.

Ахматова также никогда не шла на соглашение с дьявольскими силами эпохи. Она отступала от них, пыталась „задобрить” их, когда, надеясь спасти сына, писала стихи о Сталине. Но никогда не была ни соблазнена, ни ослеплена.

Орлова:

Почему ты так политизируешь понятие демонизма, сводишь его к „злым силам эпохи”, к государству? Ведь нечто злое, бесовское таится, гнездится едва ли не у каждого в душе. Оно может остаться лишь „приправой”, может и вовсе не проявиться, но может стать страшным, губительным... Как у Достоевского, „здесь дьявол с Богом борются, а поле битвы — сердца людей”, или фаустовские „две души в одной груди...” В этом смысле фаустовское начало присуще и Ахматовой:

А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей...

Копелев:

Это не только фаустовское, это общечеловеческое. Своеобразие, единственность многоликого, многозначного Фауста именно в том, что он идет на договор с дьяволом, что — во всяком случае, на время, — торжествует злая часть его души. В противовес формуле Мефистофеля, он, желая добра, творит зло.

Демонизм Ахматовой был иной породы. Не благоприобретенный по договору, а врожденный, орга-

нически присущий, как демонизм Гёте и Пушкина, Блока и Булгакова.

Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам.
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих...

Она скорее сродни Мефистофелю, чем Фаусту. Точнее, сродни тому, кто создал и Фауста, и Мефистофеля.

Исследовать, изучать потаенные источники ее поэзии („когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...”) необходимо, чтобы приблизиться к пониманию ее, чтобы открывать в ней всё новые грани. И в таких исследованиях, в таких приближениях не может быть ни конца, ни края, никаких запретов для правды.

Орлова:

Никаких запретов. Левий Матвей у Булгакова говорит, что Мастер „не заслужил свет. Он заслужил покой”. Ахматова заслужила правду. И в стремлении установить правду, по-моему, больше любви к ее поэзии, больше уважения к поэту, чем в бесчисленных славословиях.

Копелев:

Она заслужила и свет, и правду. Свет бессмертия. А правда в той игре света и теней, без которой нет бессмертия.

1983

Дух противоречия как концептуальный синдром

Есть писатели, которые входят в литературу стремительно, как ракета. Именно так вошел своими „Зияющими высотами” Александр Зиновьев. В этой вещи, при всех ее недостатках, читатели сразу же оценили сатирический талант автора, силу гротеска, свободную манеру изложения в сочетании с глубоким проникновением в суть коммунистической системы и особенностей ее функционирования. Зиновьева даже сравнивали со Свифтом, Шедриным, Орвеллом. После перевода первых его книг на иностранные языки к хвалебному хору подключились и многие литературные критики других стран.

Однако — странное дело. После выезда Зиновьева в эмиграцию в 1978 году, после серии его выступлений, интервью, статей, создалось впечатление, что между ним и его читателями пролегла некая „полоса отчуждения”. И полоса эта довольно быстро расширялась — с каждой новой книгой Зиновьева, с новой серией его выступлений в печати или по радио.

Я говорю лишь о своем впечатлении, а также о впечатлениях некоторых моих знакомых. Однако такой вывод подтверждает и сам Зиновьев. И даже дает ему теоретическое обоснование. Основную причину он видит не в себе, а в нас, его русскоязычных читателях.

Вот один из ряда примеров. Выступая в августе 1979 года с интервью по радио „Свобода”, в ответ на констатацию (весьма, кстати, спорную), что „русская пресса старается делать вид, будто ваших книг вообще нет”, Зиновьев сказал:

„Меня эта реакция не удивляет, я ее ожидал. Если бы она была иной, я думал бы, что свое дело сделал плохо. Причин для такой реакции много. Положение мое здесь в русскоязычной среде очень напоминает мне мое положение в логике в Советском Союзе, а сама эта среда с социально-психологической точки зрения мало чем отличается от Советского Союза... Думаю, что и моя концепция советского общества вступила в конфликт с той концепцией, которая сложилась здесь в кругах русских и советских эмигрантов” („Год на Западе”, Сборник „Без иллюзий”, с. 121).

Вопреки (или благодаря?) боязни Зиновьева выглядеть банальным, обрисованная им ситуация выглядит как раз весьма банально: „Весь полк идет не в ногу, один поручик в ногу”... Как видим, Зиновьев не только признает „полосу отчуждения”, но даже как будто гордится ею. И косвенно противопоставляет „русскоязычной среде” остальной читающий мир.

Все это, мягко говоря, несерьезно. Не может быть русского писателя, который стал бы популярным на Западе в о п р е к и общему мнению своих соотечественников. Иноязычные читатели могут недооценивать его — скажем, из-за плохих переводов или мало понятной им специфики чужой жизни. Но они не могут лучше, правильнее, справедливее оценить русского литератора, пишущего на внутрисоветские темы. Взрыв популярности (как, впрочем, и ее угасание) того или иного писателя, „официального” или неподцензурного, может идти только ч е р е з родную ему языковую среду, но никак не помимо ее. И, тем более, не против нее. Если и су-

ществует некоторый диссонанс в восприятии Зиновьева русскоязычной и иностранной читающей публикой, то это чисто инерционная величина, и со временем она неминуемо угаснет. А может быть, уже угасла.

Ключевой же здесь представляется мне фраза о зиновьевской концепции советского общества, которая вступила в конфликт с концепцией эмигрантской. „Единой и неделимой” концепцией всех эмигрантов сразу.

Фраза довольно забавная. Сколько написано о проблемах советского общества, какие умы занимались ими, — а все, оказывается, не то. Пока не приехал настоящий специалист и не привез с собой истинную, оригинальную концепцию. Можно заподозрить здесь некий сатирический прием, когда юмористический эффект создается любой ценой, даже за свой собственный счет.

О какой же концепции советского общества — новой, оригинальной, отличной от всех предыдущих, — идет речь? При ближайшем рассмотрении — таковой не видно. Есть многочисленные высказывания о советском обществе, часто непоследовательные и противоречивые. Разбросаны они по разным книгам и статьям. Одни из этих высказываний — бесспорны и точны, с другими можно было бы и поспорить. Но есть и третьи, — мягко говоря, более чем спорные. (Может быть, именно их Зиновьев называет своей концепцией?) И эту „третью группу” обойти вниманием тем более невозможно, что за нею стоит авторитет все того же автора „Зияющих высот”.

Анализировать все высказывания Зиновьева, стараясь классифицировать их и привести в какой-то порядок, — нет никакой возможности; останавлиюсь лишь на тех, которые явно, на мой взгляд, относят-

ся к „третьей группе”. И, похоже, действительно составляют ядро новой зиновьевской концепции советского общества.

ВЕЛИЧИЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Коллективизацию сельского хозяйства не воспевают сегодня в Советском Союзе даже самые твердолобые трубадуры Агитпропа. И если ей еще нельзя дать полную оценку, то многие писатели-„деревенщики” умудрились показать читателю ее реальные плоды. Тем сильнее, видимо, у Зиновьева стремление идти против течения. Вот как выглядят его рассуждения на сельскохозяйственные темы в статье „Нашей юности полет” („Континент” № 35):

„Или возьмите, к примеру, коллективизацию. Чего только о ней ни наговорили! Ошибка! Преступление! Бессмысленная жестокость!.. И ни слова о ее великой исторической роли” (с. 198).

Хотя Зиновьев далее и говорит, что „великое — не обязательно хорошо”, но этот эпитет все-таки применяют лишь, когда имеют в виду хороший, положительный итог. Даже сегодня, по прошествии веков, русский историк не напишет о „великой исторической роли” татаро-монгольского ига.

В чем же величие коллективизации? В море пролитой крови? В миллионах умерших от голода? В том, что после коллективизации вся страна перешла на хронически полуголодный паек? В сегодняшних грандиозных закупках зерна по всему миру? Но пойдем дальше:

„Недавно прочитал я статейку. Автор поступает так. Берет продукцию с приусадебных участков, находящихся в

частном владении, и делит на общую их площадь. Затем берет продукцию колхозов и делит на площадь колхозных земель. И, естественно, получает, что первая цифра превосходит вторую — „намак” на то, что частное хозяйство продуктивнее колхозного. Но это — грубая ошибка. Надо полученные в обоих случаях цифры разделить на величины затрат усилий людей соответственно на приусадебных участках и колхозных землях. И тогда первая величина продуктивности будет много ниже второй” (там же).

Дадим оценку сразу: безграмотность здесь прямо пропорциональна самоуверенности тона.

Производительность сельскохозяйственного труда не измеряется количеством фактически затраченного времени. Его просто невозможно точно замерить, невозможно даже для однотипного производства, а тем более для хозяйств, стоящих на принципиально разных основах. Поэтому измерение производительности сельского хозяйства всегда ведется либо на единицу площади, либо на одного работника, если сравниваются единоличные хозяйства с коллективными. И это справедливо, ибо в сельском хозяйстве, как ни в какой другой области человеческой деятельности, количество трудовых усилий само по себе ничего не определяет, важно еще к а ч е с т в о усилий. Можно трудиться очень много, а результат (итоговый урожай) получить плохой.

Заявление Зиновьева нельзя, к сожалению, опровергнуть тотчас же, предъявив ему цифры трудозатрат и результаты деления, — таких цифр, точных и статистически упорядоченных, увы, не существует. Однако существует логика. (А Зиновьев ведь по специальности логик...)

Ни один советский колхозник не трудится только на своем приусадебном участке. Он обязан работать минимум в колхозе, а это, как правило, — полный рабочий день, особенно в сезон. Где же физически взять столько времени для своего личного

участка, чтобы мы могли потом беспристрастно высчитать разницу в величинах трудозатрат!

А разница, конечно, существует, и немалая. Только — обратная. Трудозатраты на личных участках много меньше, чем на колхозных. Частнику не нужен бригадир, распределяющий работу. Он сам себе нарядчик и учетчик, сам агротехник и зоотехник. Не нужны председатель колхоза и бухгалтер, секретарь райкома и многочисленные, один над другим, инструкторы. Он собирает урожай сам, без помощи мобилизованных горожан. А трудовые затраты всех этих „помогающих” крестьянину (или мешающих ему) тоже ведь надо учитывать?

Крестьянин не будет досрочно „выполнять сев” ради победного рапорта, чтоб потом пересеивать. Он постарается сразу убирать без потерь, а не гонять на подборку школьников и студентов, для него эта „рабочая сила” не бесплатна. Крестьянин не будет на своем личном участке делать массу ненужной работы — либо нужной, но плохо выполняемой, — для галочки, для отчетов райкому, облисполкому, областному управлению сельского хозяйства и еще чёрт знает кому. Но то, что нужно для оптимального результата, он будет делать наилучшим образом. Иначе не выдержит конкуренции.

Короче: как бы ни считать — на одного работника, на единицу площади, на единицу реально затраченного времени или даже на единицу пролитого пота, — производительность (продуктивность) частных крестьянских хозяйств будет выше, чем коллективных или государственных, — и много выше. Главное и верное тому доказательство — кто у кого хлеб покупает. А если бы стал вдруг возможным предложенный Зиновьевым подсчет по реальным трудозатратам, то он был бы наиболее невыгодным для колхозно-совхозного хозяйства, ибо

оно как раз неисчислимое количество труда тратит впустую.

Каков же вывод Зиновьева?

„Вот глубочайшая причина, почему теперь крестьян силой не заставишь отказаться от колхозов и вернуться к единоличному хозяйству” (там же).

Так и хочется воскликнуть: а вы пробовали?! А вы попробуйте! Только не силой, а создав необходимые условия. В первую очередь, крестьянин должен поверить, что это не временный паллиатив, не обман для выкачивания труда, а принципиальный и *необратимый* поворот. Что призыв „Обогащайтесь!” узаконен, наконец, „всерьез и надолго”.

Если Зиновьев хотел сказать, что в результате полувековой колхозной практики российское крестьянство утратило волю к напряженному конкурентному труду, то и эта мысль — тоже не бесспорна. Человек, занимающийся социальными проблемами, подобен врачу в отношении общества в целом. И это все равно, как если бы врач не рекомендовал пациенту вставать с постели, так как у него после тяжелой и продолжительной болезни кружится голова от слабости. Какова же альтернатива — лежать, пока пролежни не пойдут? Ведь еще 10-20 лет колхозно-совхозного загнивания — и психологическое состояние крестьянства будет еще хуже. У автора есть иной рецепт? Или остается единственное: продолжать колхозную практику, а хлеб покупать за границей?

„Сколько миллионов людей охотно бросило тупую и изнурительную крестьянскую жизнь и ринулось в города и на стройки?! А ведь это — тоже дело сталинизма!” (там же).

Навряд ли Зиновьев помнит это „охотное бросание”, он был тогда слишком мал. Но ведь есть мно-

гочисленные свидетельства, от которых кровь стынет в жилах. Читал ли он хоть некоторые из них? Если да, то его небрежное „охотно” — это ведь уже кощунственно перед памятью миллионов крестьян и их детей — замученных, расстрелянных, погибших от голода, холода, болезней. И если Зиновьев ставил себе цель высказать оригинальное суждение любой ценой, то в этом отношении он своего добился: цена действительно высокая.

В каких еще коммунистических странах, где коллективизация проводилась менее жестокими методами, чем сталинские, крестьяне „охотно” переселялись в города и на стройки? Может быть, Зиновьев укажет нам таковые? И что это вообще за „охотное” покидание своих родных мест, для которого надо применять насилие?

Может быть, Зиновьев говорит о сегодняшней *колхозной деревне*? Так ведь это совсем другое дело! Чтобы масса людей желала покинуть свои родные места, жизнь в них должна быть уж очень изуродована и абсолютно бесперспективна. „А ведь это — тоже дело сталинизма!” Правда, не одного Сталина. И до, и после него партийные вожди немало постарались в том же духе.

Но и в этом случае словечко „охотно” весьма неточно отражает ситуацию. Это все равно, как сказать „сотни тысяч эмигрантов охотно покидают Советскую Россию”. Противоестественные массовые миграции — это всегда трагедия, имеющая свои социальные причины. И они должны быть очень вескими. Ведь и эмигранты, по разным причинам покидающие Советский Союз, и колхозники, переселяющиеся в города, в массе своей отлично сознают, что на новом месте им будет несладко. У эмигрантов еще есть шанс прижиться в нормальной благоустроенной стране. А какие перспективы у вчерашнего

колхозника? Общежития, коммуналки, лимитная прописка, самая тяжелая и неблагодарная работа, городской воздух, пьянки у гастрономов, „козел” во дворе?.. Но все в мире относительно: в деревне сегодня и того хуже. Что же, крестьяне должны благодарить за эти „великие свершения сталинизма”? По Зиновьеву получается — не было бы счастья, да несчастье (коллективизации) помогло.

Над всей этой тирадой о счастье избавления от „тупой и изнурительной крестьянской жизни” незримо витает дух Маркса. Очевидно, долгое соприкосновение с „самыми передовыми” идеями наложило-таки отпечаток на мышление Зиновьева. Именно Маркс говорил об „идиотизме крестьянской жизни” и строил проекты ее переустройства.

Многие фундаментальные положения марксизма беспощадное время превратило в смешной, но вместе и зловещий анахронизм. Однако формула об „идиотизме крестьянской жизни” выглядит не только безнадежно устарелой, но и аморальной. Не могут быть идиотскими жизнь и труд того, кто кормит не только себя, но и весь народ, всех остальных жителей планеты. Они могут быть тяжелыми, плохо оплачиваемыми, но не идиотскими. Настоящий идиотизм — лишь в подобного рода определениях. И в стремлении на основе их искусственно „переустроить” крестьянскую жизнь.

В тех странах, где крестьянская жизнь развивалась естественно, не осталось и следа той картины, которую наблюдал Маркс. Особенно изменился крестьянский труд в последние десятилетия, в период так называемой „зеленой революции”. Механизация, специализация, новые достижения в химии, в агро- и зоотехнике коренным образом изменили этот труд, облегчили его, повысили производительность, „интеллектуализировали” его. Автотрассы,

автомобили, самолеты свели на нет географический отрыв крестьян от городов. Радио, магнитофоны, телевидение, возможность выписать любую книгу, журнал, пластинку — сократили культурный разрыв между городом и деревней. Своим детям фермеры могут дать образование ничуть не хуже (а зачастую — и лучше), чем городской средний класс.

Но никогда — ни сегодня, ни десятилетия назад, — крестьяне не уходили из деревни в город „охотно“. Уходили, потерпев поражение, не выдержав конкуренции, будучи „лишними“ детьми в семье. Но уходили всегда с сожалением — крестьянский труд давал им две вещи, которые не мог обещать город, особенно поначалу: чувство независимости и творческий, законченно цельный характер труда. Именно эти два фактора, как показало время, являются главными, а механизация и рост агротехнических знаний дают должную отдачу, лишь когда они прикладываются к здоровой основе. При ложной, порочной основе они не дадут и доли оптимального эффекта.

Колхозно-государственная структура крестьянского труда в коммунистических странах — и есть такая порочная основа. Крестьянский труд нельзя раздробить, подобно индустриальному, на отдельные, независимые друг от друга операции и поручить их выполнение разным людям. То есть осуществить это, конечно, можно — что и проделано, согласно марксистско-ленинским заветам, уже не в одной стране мира. Но результата хорошего при этом не будет. У крестьян неизбежно появляется отчуждение (по Марксу!) от своего труда, формальное и зачастую наплевательское отношение к нему. Чтобы заставить крестьянина работать больше и лучше, увеличивают армию надсмотрщиков и подгоняя, это, в свою очередь, еще усиливает отчужде-

ние крестьянина, административная армия вынужденно увеличивается — так этот снежный ком и растет.

Марксистские идеи искусственного переустройства крестьянской жизни, ленинский кооперативный план, сталинская кровавая коллективизация, хрущевские агрогорода, брежневский агропромышленный комплекс — все это ступени одной лестницы. Так сказать, „вверх по лестнице, ведущей вниз”.

Считать, что на этом ложном пути какой-то социальной группе — тем же крестьянам, — в итоге повезло, по меньшей мере наивно. Это все равно, что отрицать трагедию братоубийственной войны и миллионной эмиграции из ленинской России на том основании, что отдельные внуки „белых” эмигрантов прижились, мол, и неплохо поживают сегодня в других, вполне благополучных, странах.

Что подобная „сельскохозяйственная социология” отнюдь не случайна у Зиновьева, доказывает и его очередная книга „Гомо советикус”. Правда, аналогичное высказывание принадлежит здесь не автору, а его герою, некоему Типу. Но автор не только ничего не противопоставляет этому Типу, но явно, судя по контексту, с ним солидарен.

Цитируемая ниже тирада — можно сказать, социологическое возражение Зиновьева против действующих ему на нервы утверждений, что „частное хозяйство имеет неоспоримые преимущества перед общественным”. Прослушав банальные и ненаучные высказывания на эту тему некоего докладчика, автор, которому „стало тошно”, „потихоньку выбрался из аудитории”... Непонятно, что здесь так раздражает Зиновьева: банальность ли подобных утверждений или их суть? Похоже, что „банальность”, присоединиться к которой для Зиновьева — вещь не-

возможная. Но „социологически” надо ведь возражать по сути. И вот как это выглядит в устах Типа:

„Стоило эмигрировать, чтобы слушать таких идиотов... Они думают, что если на данном участке производится столько-то овощей, то будет производиться вдвое, втрое, вчетверо больше на вдвое, втрое, вчетверо большем участке. Силы человека ограничены. На участке вдвое больше он произведет, может быть, лишь в полтора раза больше. А начиная с некоторого момента увеличение обрабатываемой площади не будет играть роли или будет действовать в обратном направлении. С ростом участков должно возрастать число вовлекаемых в хозяйство людей. А проблемы хранения, сбыта, доставки, конкуренции?!” („Гомо советикус”, с. 171).

С благословения автора, Тип борется с фантомами. Никто и никогда не утверждал, что удельная производительность крестьянина будет одинаковой, вне зависимости от величины его надела. Любой человек, с нормальной логикой, понимает, что есть оптимальная величина обрабатываемого участка, с превышением которой удельная эффективность падает. Но любой нормальный человек, даже не профессор логики, понимает также, что этот оптимум — не есть раз и навсегда установленная цифра, и что в гораздо большей степени, чем от затрачиваемого времени, он зависит от общего уровня сельскохозяйственного производства в данный момент: от механизации, специализации, развития агрохимии и т. д. Именно потому, что оптимум этот не стоит на месте, а увеличивается, фермеры в США, составляя 3—4% от всего населения, и могут кормить не только свою страну, но и подкармливать многие другие страны мира.

Какой же вывод следует из социологического заявления Типа? Что частное хозяйство в действительности не производительнее государственно-колхозного? И ничего поэтому менять в СССР не нужно?

По такому важному вопросу корректнее все-таки высказать свое, авторское, мнение и обосновать его. Если, конечно, хватит аргументов.

МОЖНО ЛИ СУДИТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ?

„Великая историческая роль” сталинизма сказала не только в коллективизации, но и в победе над Гитлером. Вот как это излагается у Зиновьева:

„Общепринятое мнение: Сталин ослабил армию, и это было причиной поражения в начале войны. И Гитлер, помогая Сталину устранять „лучших” военачальников, думал, что ослабляет советскую армию. Да, в какой-то мере это ослабило Красную Армию и способствовало поражениям в начале войны. Но только ли это? И это ли главное? /.../ Не будь чистки, мы не имели бы таких поражений в начале войны, но мы проиграли бы войну. Сталин (инстинктивно или сознательно, не могу судить) поступал правильно, намереваясь обновить командный состав армии. /.../ Сталин не учел инерции огромного общества и не успел провести обновление командного состава до войны. Пришлось это делать в ходе войны. Но одно из условий нашей победы — именно это обновление, т. е. повышение образовательного и интеллектуального уровня командного состава” („Континент” № 35, с. 202).

Что довоенная чистка армии повысила образовательный и интеллектуальный уровень ее командного состава, это особенно ярко видно на примере высшего командования. Вместо Тухачевского, Егорова, Блюхера, Эйдемана, Якира, Белова на командных верхах появились (или остались) такие столпы интеллекта, как Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Щаденко, Голиков, Ока Городовиков и т. п. К сожалению, невозможно произвести сравнение и на остальных командных уровнях — между теми, кто погиб во время армейских чисток, и теми, кто продвинулся на их место. Однако, зная характер массо-

вых чисток вообще, а сталинских в особенности, можно не сомневаться, что суммарный образовательно-нравственный и интеллектуальный уровень армии к началу войны резко снизился. Как снизился и боевой ее дух. Массовые чистки не на профессиональной, а на идеологической основе *всегда* ведут к торжеству посредственности, к продвижению на командные посты наиболее послушных, серых и двоедушных командиров. Это, конечно, не могло не сказаться в войне.

Непонятно также, почему Сталин оказался столь непоследовательным в своем глубоком замысле обновления? Почему с началом войны возвратил недорасстрелянных командиров (Рокоссовский, Мерецков, Горбатов и др.) из тюрем и поставил их во главе дивизий, армий и фронтов? Уже не боялся опять понизить „образовательный и интеллектуальный уровень командного состава“?

Но главное не в этом. Рассуждения Зиновьева звучат так, будто бы исход войны целиком зависел от Сталина, от глубины его стратегической профилактики. Однако многочисленные исторические исследования показывают нам, что схватку СССР — Германия не так Сталин выиграл, как Гитлер проиграл. Проиграл, имея большие шансы выиграть.

Ведь катастрофические поражения первых двух лет войны совсем не были случайными. Дело, конечно, не только в ошибках высшего командования на уровне армий или фронтов. Ошибку, и капитальную, допустил сам Великий Стратег, сделав все возможное, чтобы война началась неожиданно для советской армии, а сама армия оказалась к войне неподготовленной.

Но и не в этом главное. Первый год войны — это явное нежелание воевать у очень многих, это массовое дезертирство, легкая сдача в плен, иногда це-

лыми соединениями. Впоследствии же — образование антикоммунистической армии генерала Власова из военнопленных, русских эмигрантов и граждан, оставшихся на оккупированной немцами территории. Причем, не только Русской Освободительной Армии, — практически представители почти всех народов, населяющих Советский Союз, создали свои антикоммунистические боевые или вспомогательные соединения. Исключение составляли разве что евреи — по понятным причинам. Но можно не сомневаться: не будь нацистского патологического геноцида по отношению к евреям, процент „предателей” среди них был бы ничуть не меньшим.

Можно ли вообразить сформированные из пленных англичан или американцев части, воюющие против своих? Не было и отрядов немецких антифашистов, сражавшихся против гитлеровского вермахта.

Может быть, в душах русских людей, вообще людей всех национальностей, населяющих Советский Союз, гнездится врожденная склонность к предательству? Не нужно даже делать экскурс в историю, чтобы с презрением отбросить такое предположение. Остается признать: у них была на то веская причина. Более чем веская: кровавый массовый террор Сталина и всей коммунистической камарильи против собственного народа. Террор в виде насильственной коллективизации, искусственно вызванного голода, унесшего шесть миллионов жизней, в виде массовых чисток, расстрелов, тюремных заключений и ссылок, в виде паспортной системы и драконовых „трудовых законов”. Ничего удивительного, что в сложных перипетиях Второй мировой войны на территории СССР повторились элементы войны гражданской. Замалчивать этот факт — значит извращать не только историю, но и социоло-

гию, значит заведомо выхолащивать попытки научно-социологического анализа военного периода.

Советская военная литература, художественная и мемуарная, замалчивает тот факт, что к РОА присоединялись советские люди даже, когда исход войны был предreshен. Что в последние месяцы войны и после войны наблюдалось весьма многолюдное дезертирство и бегство из армии-победительницы — факт вообще уникальный в истории войн. Молчит советская пропаганда и о поведении Власова и офицеров РОА на следствии и суде, — а оно разительно отличалось от поведения большевиков-ленинцев в сталинских процессах. С чего бы это? Если РОА — это горстка предателей, без корней и без причин, почему же такое трусливое замалчивание? О войне написаны в Советском Союзе горы книг, но эта тема — табу!

В схватке двух тоталитарных систем советская победила потому, что оказалась — без заслуги Сталина, но с помощью Гитлера — в союзе с демократическими странами мира. И пользовалась не только их военной, но и всевозможной материальной поддержкой. Не будь этого, не помогла бы Сталину его глубокая диалектическая предусмотрительность, приведшая к уничтожению командного состава собственной армии.

Советская система победила еще и потому, что намного превосходила нацистскую в жестокости и беспощадности к собственному солдату. Сталин и его ведущие полководцы (Жуков, Конев и др.) оказались достойными преемниками многих красных командиров Гражданской войны, во имя достижения „великой цели” ни во что не ставящих жизнь простых красноармейцев. В годы войны Сталин поднял на щит А. В. Суворова — как великого русского полководца, национального героя. Но вое-

вал он как раз вопреки известному суворовскому правилу — не умением, а числом. И если советская пропаганда не перестает козырять числом потерь в Великой Отечественной войне, то надо бы еще спросить: какая доля их приходится на сталинские методы ведения войны?

Выиграл войну весь арсенал тоталитарных средств и методов. На фронте — заградотряды, штрафные батальоны, СМЕРШ, военные трибуналы. В тылу — поголовная трудовая мобилизация, стройбаты, неограниченный рабочий день, насильственное переселение целых народов, широкое использование труда детей и подростков — „Все для победы!”. Многие из этих методов, особенно „тыловых”, пригодились и годы спустя, когда никакой войны уже не было, разве что с собственным народом.

И все-таки, несмотря на такое обилие средств и возможностей, которыми ни одна демократическая страна не располагает, Сталин наверняка бы эту войну проиграл, не прояви Гитлер тупого фанатизма, самоуверенной ограниченности, полного непонимания национального характера народов России, в первую очередь — русского, и не доведи он все эти свойства до высшей степени идиотизма, даже до потери инстинкта самосохранения. Попытка же убрать Гитлера немецкими силами была сделана поздно и неудачно. (Однако все-таки сделана. К нашему стыду, убрать Сталина не попытались ни до войны, ни во время нее.)

Конечно, доказательства в сослагательном наклонении („если бы”) стопроцентной убедительностью не обладают. Но существует много фактологических и объективных исследований, делающих следующее предположение весьма достоверным: если бы РОА была образована и начала действовать не в 1944 году, когда исход войны был уже определен,

а в 1941—42 гг., если бы немцы пошли на создание Русского национального правительства с большой степенью независимости, — сталинская власть была бы сокрушена.

Как в этом случае пошла бы история — вопрос абстрактный. Надо думать, что гитлеризм, даже удержав свою власть над большей частью Европы, долго бы не просуществовал. Слишком уж обнаженно его идеологическая основа — расовая теория — была направлена против всех „неарийских” народов и вызывала их естественную непримиримость. Гитлеровский национал-социализм не имел той демагогической привлекательности, какой изначала был наделен марксистско-ленинский социализм и которая помогает коммунизму, после стольких провалов и кровавых преступлений, посреди океана лжи и лицемерия, все еще собирать урожай (хоть и скудеющий) всепрощения и поддержки.

Зиновьевские рассуждения о войне и ее исходе очень напоминают поверхностные комментарии к шахматной партии, когда комментатор, будучи ослеплен конечным результатом, приписывает победителю несуществующую стратегическую глубину игры. На самом же деле играл тот из рук вон плохо, позицию имел проигрышную, а одержал победу лишь потому, что противник в лучшем положении упрямо осуществлял ошибочный план.

Первопричин оригинальности своих высказываний Зиновьев не скрывает. Бывшего антисталиниста — в годы культа Сталина — глубоко шокировало, что после разоблачительных докладов Хрущева антисталинистами стали многие, в том числе и те, кто до этого всячески пели Великому Кормчему „аллилуйя”. Теперь, заявил Зиновьев, „даже осел может лягать мертвого льва”. Психологически это весьма характерно. Антисталинист стал называть Сталина

львом реактивно, в большой степени в знак протеста против беспринципности многочисленных аллилуйщиков. Ну, а в чем же проявились „львиные” свойства товарища Сталина, помимо его любви к человеческому мясу?

Вот так, реактивным образом, и рождаются сталинские „великие исторические свершения”, будь то „диалектическая” польза коллективизации или „прозорливое” обновление армейского командования. Оценки звучат так, будто эти „мероприятия” не имеют объективного характера, а лишь реактивный, противоположный результирующему вектору общественного мнения, сложившемуся на сегодняшний день. Мне представляется, что Зиновьева грызет нестерпимый зуд противоречий, и для успокоения онго никаких преград не существует. Ни морали, ни логики. А лишь неодолимое стремление идти против течения, продираясь на литературный нерест.

Но почему бы тогда Зиновьеву не заняться реабилитацией Гитлера? При сложившейся шкале социально-исторических оценок „коэффициент противоречия” здесь будет еще выше, а нерест — еще плодотворнее...

НАРОДОВЛАСТИЕ — ИСТИННОЕ ИЛИ ПРИДУМАННОЕ?

Подобный же подход к делам и роли Сталина — в зиновьевской концепции народовластия. Что в Советском Союзе — подлинное народовластие, Зиновьев писал не раз. А наиболее подлинным оно было именно при Сталине. Вот одно из многих подобных суждений:

„Дело в том, что, несмотря на все ужасы сталинизма, это было подлинное народовластие, это было народовластие в

самом глубоком (не скажу, что в хорошем) смысле слова, а сам Сталин был подлинно народным вождем" („О Сталине и сталинизме", сборник статей „Мы и Запад", с. 8).

Отложим на время попытку определить понятие „народовластие" и посмотрим, чем и как Зиновьев свой постулат мотивирует.

„Почему моя мать хранила портрет Сталина? Она была крестьянка. До коллективизации наша семья жила неплохо. Но какой ценой это доставалось? Тяжкий труд с рассвета до заката. А какие перспективы были у ее детей (она родила одиннадцать детей)? Стать крестьянами, в лучшем случае — мастерами. Началась коллективизация. Разорение деревни. Бегство людей в города. А результат этого? В нашей семье один человек стал профессором, другой стал директором завода, третий стал полковником, трое стали инженерами. И нечто подобное происходило в миллионах других семей. Я не хочу здесь употреблять оценочные выражения „плохо" и „хорошо". Я хочу лишь сказать, что в эту эпоху в стране происходил беспрецедентный в истории человечества подъем многих миллионов людей из самых низов общества в мастера, инженеры, учителя, врачи, артисты, офицеры, ученые, писатели, директора и т. д., и т. д." (там же, с. 9).

Начать с того, что семья Зиновьевых, по всей видимости, счастливое исключение. Немного было таких крестьянских семей, где, несмотря на коллективизацию и голод, все дети уцелели, попали не в лагерь или ссылку, а в город, и почти все сделали карьеру. Ссылаться на статистические исключения — занятие малоубедительное, Зиновьев это должен бы знать.

Но допустим, что в какой-то многодетной семье, где половина детей погибла от голода и репрессий, родители все-таки повесили на стенку портрет Сталина. Что это доказывает? Хорошо известно, как силен был страх в те годы. Ну, а если даже не из страха? Люди могут быть настолько забиты, оболва-

нены массовой пропагандой, что никак не связывают гибель своих детей (или родителей) с виной всей системы и ее вождя.

Но в чем Зиновьев нас никогда не убедит, так в том, что у многодетной матери можно разорить семью, погубить часть ее детей, а она все равно будет и с к р е н н е чтить вождя — вдохновителя репрессий т о л ь к о п о т о м у, что оставшиеся дети сделали карьеру. Это уже патология, и никаким доказательством она быть не может.

Далее, что это вообще за критерий „истинного народовластия” — сколько людей из низов сделали карьеру? Причем, заметим в скобках, карьеру лишь по названию: ни материальным обеспечением, ни свободой действий, ни независимостью, ни просто уважением окружающих эта карьера, как правило, не сопровождается. Я не сомневаюсь, что, например, сам Зиновьев, человек незаурядный, мог бы сделать карьеру при любом общественном строе. С той лишь разницей, что ему не пришлось бы на вершине известности и успеха бежать из страны...

Основная причина такого „беспрецедентного в истории человечества подъема” ясна, как стеклышко. Уничтожили в Гражданскую войну всю интеллектуальную и профессиональную элиту, изгнали ее из страны, — естественно, чем-то же заполняется пустота. А только подросла новая интеллигенция — руби и ее под корень, уничтожай слоями! „Беспрецедентный подъем”, таким образом, продолжается, и не менее интенсивно...

Так это и есть — истинное народовластие? При такой критериальной шкале между степенью „кровавости” данной тирании и ее „народовластием” *par excellence* можно поставить прямой знак равенства. Чем режим кровавее, чем больше собственного народа при нем истребляется, тем истиннее народо-

властие. К иному выводу зиновьевские построения нас не подводят.

„Не играет роли проблема, — пишет он далее, — могло бы или нет нечто подобное произойти в России без сталинизма. Для участников процесса это фактически происходило во время сталинизма и, казалось, благодаря ему. И на самом деле во многом благодаря ему” (там же).

Почему же это „не играет роли”? Только сравнительные характеристики и играют какую-то роль, иначе можно жонглировать определениями, как угодно. Или социальный исследователь должен добровольно кастрировать у себя разум, память и стремление сравнивать? Добровольно уподобиться члену орвелловского общества?

Только в сравнении с другими странами и может для исследователя обрисоваться истина. Если уж он назначил в качестве основного (и практически, единственного) критерия истинного народовластия подъем „из самых низов общества в ...” (см. цитату), то нужно же распространить этот критерий и на другие, некоммунистические, страны. Хоть на ту же Россию — до прихода к власти большевиков. А на „беспрецедентность” — ввести поправку: ведь в странах некоммунистических карьера делается, увы, без предварительного образования вакантных мест путем массовых убийств, концентрационных лагерей и вынужденной эмиграции.

Возникает законный вопрос: что же такое „истинное народовластие” в представлении Зиновьева? Характеристика ли это данного общественного строя вообще? Или это меняющийся показатель, характеризующий данный строй в его разные периоды — в зависимости от субъективного восприятия большинством народа, как это видит (столь же субъективно) автор? Можно ли, к примеру, утверждать,

что коммунистический Китай с 1949 года стал и неизменно остается государством истинного народовластия? Либо степень этой истинности была, разумеется, очень велика во время гражданской войны, достигла пика в период „культурной революции“, а с тех пор медленно снижается?

Если „беспрецедентный подъем из самых низов общества“ и есть, по Зиновьеву, основной показатель истинного народовластия, то надо его брать в динамике, в развитии. Естественно, в первые годы и десятилетия коммунистической власти этот „коэффициент“ имеет самые благоприятные условия для бурного роста. Это, во-первых, искусственное создание массы „вакантных мест“, а во-вторых, идеологическая установка на продвижение людей с „хорошими“ анкетными данными, то есть из семей рабочих и крестьян. Ну, а как обстоит дело с этим показателем по мере стабилизации коммунистической власти и ее отхода от экстремной ситуации?

Здесь дело коренным образом меняется. Причем, в исторических категориях — стремительно. Об этом, кстати, писал и сам Зиновьев. Новые сословные барьеры воздвигаются настолько быстро и прочно, что страна победившего социализма в плане детерминированного воспроизводства себе подобных уже заткнула за пояс самые консервативные, традиционно элитарные страны мира.

Сегодня ни в одной свободной стране нет таких барьеров, которые препятствуют сельским юношам и девушкам выбиться и получить какую-нибудь городскую профессию, проникнуть в привилегированные слои общества нормально, без идеологического проституирования. И наоборот, отпрыски самых могущественных семей мира не имеют таких возможностей, без конкуренции и особых усилий, приобрести наиболее престижные, выгодные и перспек-

тивные профессии и должности, какими обладают дети советской партийной элиты. Кончает свою жизнь стереотип номенклатурных анкет: „Родился в бедной рабочей (крестьянской) семье”. Этот мандат первых послереволюционных лет пора уже вы бросить в мусорный ящик советской истории. Теперь пришлось бы писать: „Родился в известной партийной (номенклатурной) семье”.

Спрашивается, какова же цена „карьерному критерию”, если его показатели действительны лишь в узком историческом интервале, где были свои „специфические” причины? А вся тенденция развития дает как раз обратный итог? И какова цена такой, с позволения сказать, социологии?

Других критериев народовластия Зиновьев не выдвигает. Нельзя же, в самом деле, считать критерием то обстоятельство, многократно повторяемое Зиновьевым, что „миллионы простых людей принимали участие в репрессиях над миллионами других простых людей” не только из соображений страха, но и получая при этом какую-то мизерную выгоду, прямую или косвенную. Это — как раз обвинение режиму, а не его, режима, „народное” свойство. Тот же народ в условиях другой, нетоталитарной, системы отнюдь не вынужден ради мизерных выгод брать столь тяжкий грех на душу. Если следовать зиновьевской логике, надо и концлагеря считать не язвами и пороками режима, а естественными „народными” образованиями, соответствующими уровню морали и нравственности народа. Ведь в концлагерях целенаправленно стимулируются самый разнузданный антагонизм и озлобление друг против друга, вплоть до формулы: „Умри ты сегодня, а я — завтра”. Что же, на этом основании признаем и концлагерь истинно народным учреждением?

Подгонять под „народовластие” пороки системы становится, похоже, очень модным среди части нашей пишущей братии. Вот Ю. Мальцев, разбирая деревенские заметки Бунина 1917 года, перекидывает мост:

„Отсюда так и напрашивается параллель к нынешним утверждениям А. Зиновьева о народовластии сталинской эпохи” („Забывтые публикации Бунина”, „Континент” № 37, с. 355).

Параллель не только поверхностная, но и ложная. Бунин писал о том периоде, когда у народа (если уж, экстраполируя частные наблюдения, рассматривать его как нечто цельное) был выбор, когда он, народ, был еще субъектом истории. Но мышеловка захлопнулась, и в сталинские годы этот народ был уже безоружным и бессловесным объектом партийного произвола. Можно винить народ в том, что он так легко, бездумно побежал на запах социалистической приманки. Но можно ли ставить ему в вину кровь и грязь мышеловки, то бишь органические пороки коммунистической системы?

И позволительно спросить: какой народ из двух десятков стран „реального социализма” выглядел иначе? Различия тут количественные, а не качественные. Выходит, все они были предрасположены к коммунистическому „народовластию”?

Что говорили бы сегодня о немецком народе, не будь Федеративной Германии, а одна лишь коммунистическая ГДР? Какие прекрасные самообличительные цитаты о немецком народе можно насобирать у немецких же писателей или историков и выстроить их в единый обвинительный ряд! „Народ, созданный для истинного народовластия гитлеровского или ульбрихтовского образца!”. Вот только

куда девать нынешнюю ФРГ с ее, одной из самых лучших в мире, демократической системой?

Любителям исторических параллелей — хотя бы на примере „разделенных” стран — стоило бы усвоить мысль о *безусловном примате системы* над национальными, исторически обусловленными особенностями того или иного народа.

Да, народ как целое, как экзистенциальное и юридическое понятие, отнюдь не всегда прав. И никто не призывает всегда и во всем кадить ему и воздвигать на пьедестал непогрешимости. Наоборот, социальный исследователь, писатель, политик должны обладать мужеством и говорить то, что они о данном народе в данной, конкретной ситуации думают. И не бояться непопулярности таких высказываний, — как это делали библейские пророки, а по отношению к русскому народу, например, Чехов или Бунин. Но одно дело критиковать народ за проявленные пассивность или фанатизм, бездумную жестокость или всепрощение, анархию или чрезмерное послушание. И совсем другое — взваливать на него пороки режима.

Пусть даже народ сам виноват, что попал в тоталитарную мышшеловку, — он все равно обманут. Обманут теми, кто совратил его идеологическими догмами, добившись бесконтрольного произвола. Поэтому утверждение Зиновьева „Народ не был обманут” („Мы и Запад”, с. 9) *неверно в принципе*, и не может быть верным ни для какого периода *после захвата власти*. Даже если этот народ добровольным большинством проголосовал за партию, которая затем установила свою тотальную неограниченную власть, он все равно обманут: у него отнята возможность исправить свою ошибку. Поэтому даже в Германии 1933 года был *обман* немецкого народа нацистами, и неверно говорить об истинном народо-

власти, хотя картины массовых нацистских празднеств и парадов куда как ближе к такой формулировке, чем то, что происходило в Советской России после захвата власти большевиками.

Обмануть народ — это не только лишить его возможности исправить свою ошибку демократическим путем. (Кстати, в России народ такой ошибки не совершал: большевики никогда не получали большинства на выборах.) Лишить народ возможности объективно *сравнивать* свою жизнь как со своим прошлым, так и с жизнью окружающего мира, — это тоже обманывать народ. А именно это большевики и делали со дня своей победы — путем жестокой цензуры, преследований за свободное слово, тотальной, начиная с детского сада, пропаганды, все более непроницаемых барьеров, воздвигаемых между Россией и окружающим свободным миром. Так что не стоило бы Зиновьеву столь безапелляционно утверждать, что „народ обманут не был”. Если это не обман, то где же тогда примеры действительного обмана?

Если народ не был обманут сталинским режимом, любым коммунистическим режимом вообще, почему же этот народ бежит из страны, где коммунизм приходит к власти? Бегут сотнями тысяч и поодиночке, на судах и украденных самолетах, на самодельных шарах и в байдарках, пешком и вплавь, через вспаханные полосы и Берлинскую стену, путем фиктивных браков и невозвращения, путем „объединения семей” и жертвуя семьей, бегут без имущества и с риском для жизни. Кто они, эти беглецы? Может быть, это отдельные отщепенцы, как внушает миру коммунистическая пропаганда? Почему же их так много поначалу, пока власти еще не успели закрыть границу? И для чего коммунистической власти закупоривать наглухо свою страну,

если народ она не обманывает? Для чего совершенствовать и ужесточать методы изоляции? Очевидно, если бы не драконовы меры коммунистических властей по закупке своих владений, народное бегство стало бы массово-паническим. Когда Фидель Кастро объявил „неделю открытых дверей” в перуанском посольстве, то за эту неделю Кубу покинуло 100 000 человек, то есть больше 1% населения, почти 3 млн. в переводе на советский масштаб. А до этого Кубу уже покинуло 1—2% населения, отдельные же случаи бегства не прекращаются и по сей день. Афганистан уже покинула пятая часть населения страны. А сколько миллионов убежало из Вьетнама, Эфиопии, Никарагуа? Кто они — народ или отщепенцы? А если народ, то почему он бежит, если его никто не обманул?

Зиновьев великодушно соглашается, что „истинное народовластие — это не всегда хорошо”, но миллионы людей голосуют ногами за то, что это всегда плохо. Если, конечно, согласиться, что именно то, от чего они бегут, это и есть истинное народовластие.

И тут встает законный терминологический вопрос: как же назвать те страны, куда они бегут? Сложных исследований проводить не нужно: бегут они, если возможно, в демократические страны. Но ведь „демократия” — это тоже народовластие, правда, в греческой транскрипции. Значит, какое-то народовластие не истинное, а термин — неправомерный. Если в СССР и других коммунистических странах — истинное народовластие, то демократические страны Запада должны быть как-то переименованы.

Дело, конечно, не в терминологии, а в сути. Можно было бы, допустим, согласиться с Зиновьевым и „поменять концами” оценочную терминологию, как электрики меняют полюса. Именно в ком-

мунистических странах — истинное народовластие, и его „истинность” тем выше, чем больше жертв и лишений. В свободных же странах народовластия нет, и правильнее было бы их переименовать, придумать для них какой-нибудь обратный термин, например, „элитократия”.

Только я не сомневаюсь, что, если б такая фантастика стала реальностью и мир согласился бы с новым термином, именно Зиновьев, с его духом противоречия, наверняка первым бросился бы в спор. „Как? Это в странах Запада — элитократия? Совсем наоборот, это в Советском Союзе — истинная элитократия, истинная власть несменяемой партийной элиты!”. И в свете хорошо известных номенклатурно-иерархических аксессуаров советской жизни без труда этот спор выиграл бы.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ САМОМУ СЕБЕ

Не было бы обидно, если бы все, цитированное выше, написал человек, чей уровень мышления соответствует уровню приведенных цитат. Но это не так, мыслить Зиновьев умеет глубоко и нестандартно. Доказательств этому предостаточно. Беда в том, что творчество Зиновьева крайне неровно. Рядом с отличным анализом порой уживается заумный пассаж, в котором не видно никаких достоинств, кроме желания эпатировать читателя, поразить его парадоксальностью суждений. И особенно это ощущается в „чистой” публицистике, где эти малопонятные парадоксы не маскируются необычной формой произведения и количеством разнохарактерных персонажей.

Представляется, что в основе этой неровности — не только дух противоречия, не только желание

быть всегда оригинальным, особым, непохожим на других, не только озорное стремление к эпатажу. Здесь еще и неумение (а скорее, нежелание) подвергнуть свой творческий поток критическому отбору. Зиновьевский „поток сознания” явно нуждается в отстойниках, в фильтрах грубой и тонкой очистки. Однако создается впечатление, что весь его „бурный поток” идет без остатка в производство. Все капли и брызги бережно собираются если не в новую книгу, то, по крайней мере, в сборники („Без иллюзий”, „Мы и Запад”) и статьи в журналах. Публицистикой тут становится все — доклад, радиоинтервью, предисловие к чужой книжке...

В одном из своих интервью Зиновьев сказал, что он уже за границей перечитал „Зияющие высоты” и не видит там абсолютно ничего лишнего. И это говорится о книжке в 600 страниц убористого шрифта, которую мало кто прочитал от корки до корки! О книжке, в которой была пропущена целая глава, и никто, кроме автора, этого и не заметил. (Впрочем, автор, верный принципу „безотходной” технологии, издал найденную главу отдельной книжкой.)

Зиновьеву-литератору явно не хватает Зиновьева-редактора. Конечно, быть строгим редактором собственных произведений — нелегко, это, может быть, потруднее, чем быть параллельно еще и поэтом, и художником-иллюстратором. Но без этого — писателя или даже серьезного публициста не существует.

В зиновьевской „безотходной” продукции можно без труда найти множество высказываний, положений, полностью или в главном противоречащих друг другу. Однако в таком поиске даже нет необходимости, сам Зиновьев говорит о своем творчестве:

„Я могу в одной ситуации высказать и обосновать одно суждение, а в другой — нечто противоположное ему. Это не

беспринципность. Это — желание взглянуть на дело с другой точки зрения, рассмотреть другой аспект проблемы. Иногда — просто из духа противоречия" („Без иллюзий", с. 17).

Не буду говорить о всех многочисленных компонентах творчества Зиновьева. В своих книгах он выступает не только как писатель, но и как поэт, и как художник-иллюстратор, его произведения наполнены философскими или социологическими отступлениями, анекдотами и смешными историями. Не будучи специалистом во всех этих областях, я не берусь судить о каждой из них. Но многолетнее служение музе публицистики (если таковая уже выделилась) дает мне некоторое моральное право высказаться о „публицистической составляющей" творчества Зиновьева. Так вот, процитированное кредо Зиновьева, на мое ощущение, полностью расходится с принципами публицистики.

Разумеется, публицист может (и должен) смотреть на любую проблему с разных точек зрения и в разных аспектах. Но в итоге он также должен — если он серьезный и самостоятельный публицист — прийти к какому-то конкретному *своему* выводу. И этот вывод не может меняться кардинально от книги к статье или от статьи к радиоинтервью. Никакая ситуация не оправдывает коренного изменения позиции. Если же позиция — по какому-то конкретному вопросу — изменилась, это изменение должно быть мотивировано, по возможности, убедительно. Серьезный публицист отвечает своей репутацией за все, под чем стоит его подпись. Он должен быть сам убежден в том, что старается внушить читателю. Если же публицист пишет не по убеждению, а из духа противоречия, он должен считаться с тем, что рано или поздно читатель перестанет принимать его всерьез.

В этом, быть может, коренная разница между положением публициста и писателя, разговаривающе-

го с читателем языком образов. Если герои „социологического романа” проповедуют явную чушь, мы не виним за нее автора. Автор не отвечает за то, что городят какой-нибудь Шизофреник или Болтун. Строго говоря, авторская позиция видна и здесь, но „юридически” она неподсудна. Публицист не может себе позволить такой роскоши. Чем парадоксальнее его постулаты, тем тщательнее они должны быть доказаны. Остроумие и сарказм здесь не имеют самодовлеющей ценности, они „работают” только вкупе с главной задачей: доказать читателю правоту своих мыслей. Утрирование или гиперболизация вообще же противопоказаны публицистике — социологической, научной или политической.

Создается впечатление, что в экстазе самовыражения Зиновьев вообще не желает считаться со спецификой жанра. Да, собственно, он и сам не единожды провозглашал, что для него законы жанра не писаны. Но если „социологические романы”, действительно, неподвластны законам или канонам, ограничивающим буйную фантазию автора, то принципы публицистического жанра однозначны.

Можно, конечно, написать один раз так, а другой раз — совсем наоборот, можно выдать себе индульгенцию, заявив, что движет тобой не беспринципность, а дух противоречия — как будто сие допустимо для публициста! Но нельзя при этом претендовать на серьезное к себе отношение. К чему вникать в суждения автора, если к следующему вторнику они коренным образом переменятся?

При чтении творческой продукции Зиновьева, особенно в большом количестве сразу, охватывает ощущение, что автор не так озабочен правотой своих суждений, как их оригинальностью и непохожестью на других авторов. Такое всепоглощающее стремление не может ограничиться формой, но обя-

зательно переходит в суть. Демонстрация полемических способностей становится самоцелью. С читателем Зиновьев обращается, как весельчак-гроссмейстер с неумелым игроком: „Ах, вы считаете, что ваша позиция хуже? Давайте повернем доску, и я вам докажу обратное. Вот видите! А теперь опять повернем, и я вам покажу, что у вас был шанс!“. Но Зиновьев заблуждается, если думает, что с читателем можно обращаться подобным образом. Тем более, что он явно склонен переоценивать силу своей „игры“. Кончится это тем, что читатель будет игнорировать его книги и пропускать его статьи в журналах. Разве что перелистывая их в поисках смешных историй и анекдотов...

Владимир КОЗЛОВСКИЙ

Заморозки между сверхдержавами

О, сладкие грезы ноября 1982 года... В тот месяц многие американские кремленологи, от профессионального обелителя советских намерений Джерри Хоу до автора „Блокады Ленинграда” Гаррисона Солсбери, писали оптимистические статьи о либерализме нового генсека, выводя этот либерализм из его близости к будто бы прогрессивному Куусинену, из его лингвистических способностей (Андропов может слушать по-английски „Голос Америки” и сравнивать его с „Правдой”, многозначительно указывал Солсбери) или из его пристрастия к дешевым американским романам, к шотландскому виски и к Глену Миллеру с его шумным оркестром. Упвали в связи с этим на потепление атмосферы между Москвой и Вашингтоном. Будущее казалось светлее, чем оно представилось год спустя автору этих строк, когда он увидел в витрине нью-йоркского хозяйственного магазина совковую лопату за десять долларов с надписью: „Купите себе лопату на Рождество. В будущем году может пригодиться”.

Судя по всему, хозяйка магазина г-жа Зискинд намекала не на снежные заносы, сильно обременившие жизнь нью-йоркцев в прошлом году, а на радиоактивные развалины: в городе все чаще поговаривают ныне о войне, хотя, в отличие от пятидесятих годов, не роют убежищ. С другой стороны, американские корреспонденты сообщают из СССР, что

и в советском народе заходят разговоры о неминуемом военном бедствии. „Зачем вы хотите нас всех уничтожить?“ — спросили у корреспондента „Нью-Йорк таймс“. В такой атмосфере 16 ноября прошлого года отмечалось 50-летие дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Через два дня после того, как исполнилось полвека с исторического обмена письмами между президентом Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым, в открытом море столкнулись советский эсминец „Разящий“ и американский фрегат „Файф“. Пострадавших не было, и столкновение обошлось американцам лишь в пятиметровую царапину на борту, однако этот инцидент лишний раз показал, что отношения между сверхдержавами совсем не так хороши, как еще три года назад, и уж тем более во время войны, когда Рузвельт предрекал вечную дружбу между двумя народами.

После соглашения 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море военные корабли сверхдержав вели себя много учтивее, но осенью 1983 года, во время поисков обломков южнокорейского самолета в Японском море, Вашингтон не раз сетовал, что советские суда мешают поисковым работам и неоднократно создают угрозу столкновения.

В середине ноября в Центре им. Вудро Вильсона в Вашингтоне состоялся обед по поводу пятидесятилетия дипломатических связей, и выступавший на нем посол СССР А. Добрынин, впервые приехавший работать в США еще в 1952 году, заявил, что дела обстоят „мрачно“, что внучка его обратила внимание на „растущую ненависть и враждебность“ между сверхдержавами, и что отношения между ними напоминают сейчас эпоху холодной войны. По словам Добрынина, ныне впервые всерьез поговарива-

ют о ядерной войне между СССР и США, а женевские переговоры зашли в тупик. Посол СССР заявил, что Вашингтону следует принять во внимание чувства советских людей, взволнованных установкой в Западной Европе американских ракет, которые могут достичь Москвы, Киева или Ленинграда за восемь минут.

Сенатор-демократ Патрик Лихи заметил Добрынину, что задолго до „Першингов-2” СССР нацелил на Западную Европу ракеты СС-20, у которых время полета составляет тоже восемь минут, и столько же понадобится для приземления на американской территории ракет, установленных на советских подводных лодках у восточного побережья США.

Сенатор мог бы добавить, что развертывание „Першингов” рассчитано на несколько лет, и даже после его окончания их будет меньше, чем уже находящихся на вооружении СС-20, что Советский Союз может размещать новые ракетные системы куда быстрее американцев и что „Першинги” — это не оружие первого удара. Но, так или иначе, их размещение подрубило под корень американско-советские отношения, и без того уже непрочные после Афганистана. СССР ушел не только из Женевы, но и из Вены, где много лет великие державы безуспешно договаривались о сокращении обычных сил в Европе (дело уперлось в нежелание Варшавского пакта сообщить, сколько же у него войск). Впервые с 1969 года между сверхдержавами прекратились регулярные переговоры о сокращении вооружений и войск.

Показательно, что пятидесятилетие отношений между Москвой и Вашингтоном, по поводу которого еще два-три года назад здесь трубили бы в большие трубы, было отмечено в США без помпы. Репортаж о вышеупомянутом юбилейном обеде в

Центре им. Вильсона был напечатан в „Вашингтон пост” лишь на 33-й странице. Законодательница американских мнений „Нью-Йорк таймс” отозвалась на юбилей чуть более пространно и, кроме заметки об этом обеде, поместила репортаж своего московского корреспондента Сергея Шмемана (сына покойного о. Александра Шмемана), взявшего интервью у Роя Медведева и американиста Г. Арбатова.

Арбатов произнес свою обычную речь, выполненную, как всегда, в экспортном варианте (речи его пользуются в США неизменным спросом), а Медведев, среди прочего, заметил, что президент Рейган „вышел за границы риторики и стал на уровень политики”, когда назвал СССР „империей зла”. „Это была уже не критика, а оскорбление, — сказал советский историк. — Как же может Андропов встречаться с Рейганом после такого заявления?”

Как и диссидент Медведев, советские комментаторы нашли выражение „империя зла” весьма обидным и начали в ответ проводить аналогии между рейгановским Белым домом и гитлеровской Рейхсканцелярией. Столь же обидным показался им призыв президента США отправить коммунизм „на пепелище истории”. Советская печать склоняет эту формулировку на все лады уже много месяцев, хотя Рейган ни разу не обмолвился о „пепелище”, а сказал всего-навсего „на свалку истории”. Слова его нарочно перевели в СССР неправильно, потому что от „пепелища” уже пахнет ядерной войной, а именно ее, по словам советских авторов, готовит нынешняя американская администрация.

О том, что нынешний президент относится к советскому руководству без обожания, можно было догадаться уже после его первой пресс-конференции, состоявшейся в январе 1981 года.

„Забывать ее трудно, — писал 29 октября прошлого года политический обозреватель „Известий“ С. Кондрашов. — На ней отношениям с Советским Союзом сразу же был задан вызывающе жесткий тон неприязни, вражды, конфронтации. Американский президент не руку протянул ради общей цели — мира на земле, а бросил камень — и какой! — в сторону другой ракетно-ядерной державы. Он обрушился на нас с преднамеренно оскорбительными нападкамии, не обременяя себя доказательствами, утверждал, что с коммунистами нельзя иметь дело, поскольку они могут лгать и обманывать, не следуют принципам общепринятой морали и не блюдут достигнутых договоренностей. Тогда много писали о холодных ветрах из Вашингтона, и это были, по существу, ветры возобновившейся „холодной войны“.

Эта первая пресс-конференция должна была показать советским лидерам, что они активно не нравятся новому президенту США, и с тех пор отношения между сверхдержавами чаще всего колебались где-то возле точки замерзания. С начала работы нынешней вашингтонской администрации политика США в отношении СССР выказывала, однако, известную двойственность, ибо исходила из двух соперничающих мировоззрений. С одной стороны, на эту политику влияли консерваторы, в принципе отвергающие идею каких-либо существенных компромиссов с Москвой. Например, главной ниточкой, связывавшей СССР и США целое десятилетие, были переговоры о сокращении ракетно-ядерных вооружений, и вот консервативный „Уолл-стрит джорнэл“ помещал одну за другой передовицы, ставящие под сомнение саму идею соответствующих соглашений с Москвой: по разумению этой (самой многотиражной) газеты Америки, вряд ли имеет смысл доверять государству, которое нарушает договоры о химическом оружии (что наверняка), да и те же самые соглашения об ОСВ (что почти наверняка). Рейгановская администрация с самого начала исхо-

дила из посылки, что перед тем, как вести переговоры, Америке следует основательно перевооружиться, и что в любом случае такие переговоры — не самоцель. Есть они — хорошо, нет — обойдемся.

С другой стороны, в формулировании внешней политики участвовали сторонники „прагматического” курса (это кодовое американское обозначение для всяческих поблажек оппоненту), тянувшие если и не в сторону новой разрядки, — термин этот скомпрометирован здесь надолго, — то в направлении большей „гибкости” (еще один эвфемизм для потакания противнику). Первые называли вторых пораженцами и умиротворителями агрессора, вторые отзывались о первых как о доктринерах и рыцарях холодной войны, а либеральная пресса Америки (в первую очередь „Нью-Йорк таймс” и „Вашингтон пост”) обвиняла и тех, и других в неадекватности, твердолобости и самоубийственных построениях, однако так или иначе во внешней политике США при Рейгане отразились обе эти тенденции, и после трехлетних трений с советской властью показалось, что берет верх вторая точка зрения.

Ситуацию, сложившуюся летом прошлого года, в США окрестили даже „мини-оттепелью”, настолько многообещающей казалась она. Еще 24 мая в „Нью-Йорк таймс” была напечатана большая статья, в которой картина отношений между Москвой и Вашингтоном рисовалась самыми черными красками. „Я не припоминаю периода, когда наши отношения на официальном уровне были бы столь плохи, — сказал корреспонденту газеты непоименованный советник президента. — Очень усилилась взаимная подозрительность. Настоящего диалога почти нет”. „Атмосфера весьма скверная”, — вторил ему главный советолог никсоновской администрации Хельмут Сонненфельдт. Тревожнее всех вещал бывший

посол в Москве Джордж Кеннан, после войны придумавший знаменитую теорию сдерживания коммунизма, но теперь в ней покаявшийся: немудрено, что Кеннан, особенно в последние годы, нередко цитируется в советской прессе как „трезвомыслящий американец“. По словам Кеннана, американо-советские отношения пребывают в „ужасном и угрожающем состоянии“, и если чего-нибудь спешно не предпринять, то „движения к войне“ уже не остановить.

8 июня в „Нью-Йорк таймс“ появилось письмо обозревателя АПН А. Мальшкина, назвавшего вышеуказанную мрачную статью „погребальной песней“ и заявившего, что „рейгановская администрация собирается отвергнуть даже сам принцип мирного сосуществования между странами с различным общественным строем“. Однако уже 30 мая в журнале „Ю. С. Ньюс энд Уорлд репорт“ была напечатана маленькая заметка о готовящейся встрече между Рейганом и Андроповым, и в воздухе повеяло весной. А 13 июня подзаголовок статьи в еженедельнике „Ньюсуик“ гласил: „После месяцев гневной риторики сверхдержавы обмениваются примирительными сигналами“. Началась мини-оттепель, продолжавшаяся почти три месяца.

Рейган встретился с группой репортеров и заявил, что теперь, когда у западных союзников сложился „более реалистический взгляд“ на советских лидеров, можно ожидать улучшения отношений с ними. А у Андропова побывал вечный друг Советского Союза Аверелл Гарриман и сообщил, что, как поведал ему бывший начальник КГБ, советское руководство „заинтересовано в поисках совместных инициатив“ с Вашингтоном. Госдепартамент приветствовал эти слова генсека.

Государственный секретарь Дж. Шульц, выступивший 15 июня в одной из комиссий Сената, ска-

зал, что „мы не считаем приемлемой перспективу бесконечной, опасной конфронтации с Советским Союзом”. „Теперь мы стремимся побудить советских лидеров к конструктивному диалогу”, — добавил он. К августу слова „мини-оттепель” печатали уже без кавычек.

Американские энтузиасты потепления к СССР указывали на известное смягчение советских позиций в Женеве, где Москва пошла на определенные уступки, пусть минимальные, или на отмену военного положения в Польше, хотя Вашингтон, вполне справедливо, счел этот шаг символическим. Куда большее значение придавалось новому соглашению о советских закупках американского зерна. Соответствующее сообщение получило 30 июля в „Вашингтон пост” подзаголовок: „Зерновая сделка рассматривается как миролюбивый шаг в сторону Рейгана”. Московский корреспондент этой газеты Душко Додер писал, что СССР принял решение не мутить воду во время американской предвыборной кампании 1984 года, придя к выводу, что Рейган скорее всего будет баллотироваться и почти определенно попадет в Белый дом на второй срок. Москва также дала Рейгану возможность сказать американским фермерам, что он не только отменил картеровское зерновое эмбарго, но и на 50% повысил уровень гарантированных советских закупок.

Этот советский жест связывали, кроме того, с компромиссом, достигнутым на Мадридской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, и с туманными обещаниями Москвы отпустить к концу года несколько посаженных диссидентов.

Московский корреспондент „Нью-Йорк таймс” Джон Бернс писал 31 июля в статье, озаглавленной „Кремль тоже пользуется кнутом и пряником”, что

в Москве, очевидно, решили договариваться с Белым домом именно сейчас, пока Рейгану связывают руки обстоятельства предвыборной борьбы, нежели после его переизбрания, когда президент сможет нестесненно пойти на поводу „у своих более консервативных инстинктов”.

Рейган, со своей стороны, тоже сделал дружелюбный жест — отменил запрет на продажу СССР нефтегазового оборудования, введенный президентом Картером в 1978 году. Реакция американских обозревателей на это решение, как всегда, отразила диаметрально противоположные мнения о том, как следует строить отношения с Москвой. Либеральная „Нью-Йорк таймс”, например, поместила передовую статью, называвшуюся „Реквием по эмбарго”, приветствуя его отмену как „проявление американского реализма” (это условное обозначение следует поместить в одном ряду с „прагматизмом” и „гибкостью”). Консервативный комментатор Патрик Бьюкенен, со своей стороны, писал, что в свете этого шага Белого дома Джимми Картер начинает выглядеть образцовым поборником холодной войны, хотя до выборов Рейган обвинял его в мягкотелости по отношению к Москве.

Нельзя сказать, чтобы президент вдруг возлюбил советских руководителей. Объявляя 19 июля начало очередной Недели поработенных наций, посвященной советской аннексии Литвы, Латвии и Эстонии, Рейган заявил, что будет и в дальнейшем высказываться о коммунизме нелицеприятно. С другой стороны, американские обозреватели отмечали, что в последнее время тон этих высказываний ощутимо смягчился. И все чаще говорили уверенно о грядущей встрече на верхах, назначая ее на следующую весну, а то и раньше.

Одна из особенностей американской политичес-

кой жизни состоит в том, что, если президент встречается в предвыборном году с советским генсеком, он приобретает немало голосов, ибо такая встреча автоматически окутывает Белый дом ореолом миролюбия, пусть даже и незаслуженно. На сей раз в намерении Рейгана встретиться с Андроповым также сыграла роль выросшая в Конгрессе оппозиция военной программе президента. Многие конгрессмены обусловили свою поддержку этой программе более активными усилиями Белого дома по достижению соглашений с Москвой. Советскому Союзу, со своей стороны, тоже надо было выказать Вашингтону миролюбие, чтобы подорвать в Конгрессе поддержку военной программе президента. Иными словами, прошлым летом обе стороны были заинтересованы хотя бы в символическом сближении, пусть часто и по диаметрально противоположным причинам.

Однако от СССР всегда можно ждать, что в последний момент он все испортит, и намечавшееся сближение утонуло 1 сентября в Японском море вместе с южнокорейским авиалайнером, сбитым ракетами советского истребителя. Вместе с ним ушли на дно встреча на верхах и противодействие рейгановскому перевооружению. Разумеется, не навсегда, но на несколько месяцев. Поднявшуюся в США бурю возмущения трудно представить со стороны. Помимо всего прочего, она объяснялась тем простым обстоятельством, что американцы много летают, и каждый из них мог вообразить, что чувствовали пассажиры сбитого самолета в свои последние минуты (газеты писали тогда, что южнокорейский „Боинг” падал довольно долго, не менее 12 минут).

Газеты бушевали, а публика выражала гнев своими способами. Уже к 9 сентября, через неделю пос-

ле уничтожения самолета, девять штатов приняли решение бойкотировать советскую водку, и она потекла по американским мостовым. Любители видеоигр в Остине (штат Техас) начали сражаться на светящихся экранчиках не с зелеными марсианами, а с чудищем по имени „Андропов — коммунистический мутант из космоса”. Другую игру перепрограммировали так, что раздавался голос: „Россия, мы требуем ответов и извинений”. Хор радиостанции в Солт-Лейк-Сити исполнял сочиненную местным диск-жокеем песенку со словами „Русские — лгуны, и они знают, что мы правы” (увы, „русский” и „советский” в США до сих пор часто взаимозаменяемы). В первый же день на станцию позвонили 600 человек и выразили свое восхищение.

Уже 12 сентября „Вашингтон пост” поместила статью Джона Гошко, в которой говорилось, что Белый дом неожиданно оказался нос к носу с СССР в трех горячих точках планеты: на Ближнем Востоке, где поддерживаемые Москвой и сирийцами фракции обстреливают американскую морскую пехоту; в Мадриде, где долгожданная встреча между А. Громыко и Дж. Шульцем вылилась в словесную перепалку по поводу воздушного инцидента над Дальним Востоком; и в Центральной Америке, где США начали большие маневры, чтобы показать Кубе и Советскому Союзу серьезность своих намерений в этом регионе. Такого набора кризисов Рейган за первые три года своего президентства не видел, и с тех пор отношения между сверхдержавами покатались под откос, пока не осталось даже переговоров о сокращении вооружений.

Прекратились разговоры о новом культурном обмене и об открытии консульств в Нью-Йорке и в Киеве, министерство торговли США вспомнило о стародавнем законе, запрещавшем импорт из СССР

товаров, изготовленных с применением принудительного труда, Вашингтон запретил закупку советского никеля, поскольку Москва берет его на Кубе, и в странах Запада одна за другой таможи начали захватывать направляемые в СССР американские компьютеры.

Американского негодования по поводу уничтожения гражданского самолета хватило ровно на четыре месяца: в конце декабря 1983 года Рейган уже сказал в интервью журналу „Тайм“, что больше не станет величать Советский Союз „империей зла“, а госсекретарь Шульц получил инструкции встретиться в Стокгольме с А. Громыко и обсудить с ним все взаимноинтересные вопросы (в сентябре ему было велено говорить с советским министром иностранных дел только о воздушном инциденте и больше ни о чем). Маятник потихоньку качнулся обратно, чего в предвыборном году следовало ожидать. Специалисты, впрочем, предсказывают затяжные заморозки между сверхдержавами, и не исключено, что они правы.

Нью-Йорк

Одноэтажная Америка полвека спустя

Репортаж из нью-йоркской квартиры

Зимний вечер. В квартире новых эмигрантов две пожилые пары ожидают гостью — американку. Хозяйка накрывает на стол. Идет общий разговор, тот самый „интеллигентский трép“, который составлял немалую прелесть нашей прошлой жизни. Мы говорим об Илье Ильфе и Евгении Петрове. Дамы ахают: „Боже, как мы их любили!“ И действительно, трудно представить себе нашу юность без „Двенадцати стульев“ и „Золотого тельца“, без Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова, мадам Грицацуевой, Элочки-людоедки. Забавные шутки и комические ситуации из книг Ильфа и Петрова были светом и теплом нашей до крайности скудной жизни. А мистер и миссис Адамс из „Одноэтажной Америки“! Кто в Советском Союзе не знал этих милых чудачков в выпуклых очках! Мистер Адамс — символ рассеянности, мистер Адамс со своей утерянной шляпой...

Вспомнив чету Адамс, что сопровождала двух советских писателей в их путешествии по Америке в 1935 году, мы умолкаем. Вот-вот раздастся звонок, и в дверь войдет, кто бы вы думали? Да-да, та самая миссис Адамс, вернее женщина, которую писатели вывели под этой фамилией в своих путевых очерках. Именно ее мы ждем, для нее испечен пирог, поставлено на стол вино. Ведь это чудо, что нам удалось разыскать ее спустя полвека и позвать в гости. В ожидании ее рассказа о путешествии с Иль-

фом и Петровым в магнитофон вставлена новая кассета и на сегодняшний вечер отменены все другие свидания.

— Во-первых, я буду рассказывать не обо всем, — начинает наша гостья, усаживаясь на диван. — О многом я говорить не хочу. Например, о моем муже. Он умер 15 лет назад. Но о нем по некоторым причинам — ни слова. Во-вторых...

Флоренс Трон (таковы настоящие имя и фамилия миссис Адамс) невысока ростом, одета скромно, но держится с достоинством. В свои 80 лет она полна сил. Серые глаза ее устремлены на собеседника прямо и решительно. Нет, она не страдает возрастными провалами в памяти. И тем не менее беседовать с ней нелегко. Дело в том, что Флоренс (так она разрешила себя называть) интересуется не прошлое, а настоящее и будущее. В настоящем ее более всего поражает реакционность недавних эмигрантов из Советского Союза. Эти русские готовы поддерживать политику Тэтчер, которая захватила Фолклендские острова, и этого мерзкого Рейгана, который напал на маленькую Гренаду. Откуда у новых эмигрантов такие правые взгляды? Новоприезжим следует знать, что либеральная интеллигенция Америки и Европы думает иначе.

Мы несколько смущены ее атакой. У нас действительно нет политических претензий ни к госпоже Тэтчер, ни к господину Рейгану. Впрочем, интереснее было бы потолковать об Ильфе и Петрове. Как супруги Адамс-Трон познакомились с советскими писателями? Флоренс снисходит к нашему любопытству.

— У Ильфа и Петрова была проблема, — говорит она, — они решили проехать по всей Америке и собрать материал для книги, но не умели водить машину и не знали ни слова по-английски. Они искали

человека, который мог бы править автомобилем и знал бы русский и английский. У них была куча рекомендательных писем. Среди тех, к кому они обращались, были писатели, художники, режиссеры театра и кино, масса людей, которые уже побывали там (в СССР. — М. П.). Но все люди были заняты. А мы были в другом положении. В 1932—33 годах мы были в Европе: в Германии, в СССР. Мой муж был инженер, но перед поездкой в СССР он отказался от службы. Неважно, почему. Это другая история. Ильф и Петров пришли к нам. Мы с мужем оба говорили по-русски. Обеспечены мы были в те годы скромно, но для мужа и для меня деньги не были главным в жизни. У нас не было никаких финансовых отношений с Ильфом и Петровым. Мы просто решили помочь им. Нас интересовала реакция русских на американскую жизнь.

— Ваша семья интересовалась Россией? Почему? Может быть, вы все-таки расскажете что-нибудь о себе и своем муже?

— Я не хочу об этом говорить. Это очень сложный вопрос. Да, мы американцы, хотя он родился в Митаве (ныне Елгава Латвийской ССР. — М. П.). Но важнее другое, вы не можете себе представить, какой интерес был в те годы в Америке к России, к революции. Это не было мимолетное увлечение. Это было слишком серьезно для всех нас. Американские и европейские интеллигенты были захвачены русской революцией. Мы надеялись на ее развитие, на ее влияние на остальной мир...

— Вы говорите, что бывали в СССР в 1932 году. Что вам удалось тогда повидать?

— Мы были в Москве, а потом на пароходе спустились по Волге до Нижнего Новгорода.

— Вы знали, что в СССР в те годы миллионы людей умирали от голода?

— Да, знали.

Опустив подробности своего путешествия по СССР, г-жа Трон рассказывает, как в Нью-Йорке в 1935 году они вместе с Ильфом и Петровым купили новую машину „Форд”. Она, собственно, не была куплена, был внесен только задаток. Позднее, уже в дороге, писатели снова и снова обсуждали эту тему: удастся или не удастся выкупить машину, хватит ли им денег на эту пленившую их игрушку. („Форд” в те годы стоил 600 долларов.) Они надеялись, что в Голливуде у них купят сценарий и щедро заплатят за него. Но хотя они привезли в мировую столицу кино кучу рекомендательных писем, со сценарием ничего не вышло. Машину тем не менее по возвращении в Нью-Йорк удалось как-то выкупить. Но пока ее доставляли в Москву, умер Ильф, а затем на войне погиб Петров, так что получил в конце концов этот знаменитый „Форд” Валентин Катаев.

Сколько-нибудь значительных эпизодов, которыми сопровождалось путешествие по Америке, Флоренс не упоминает. Рассказала только, что Петров рвался сесть за руль, хотя управлять машиной не умел. Когда однажды его допустили к управлению, он погнал машину и „Форд” оказался в канаве. Ильф всю дорогу кашлял и скверно себя чувствовал. Туберкулез, который свел его в могилу полтора года спустя, обнаружили у него в советском посольстве в Вашингтоне, незадолго до окончания путешествия.

Как же писатели познакомились с жизнью Америки? Они просили супругов подсаживать в машину случайных попутчиков (хичхайкеров). В этих случаях Флоренс приходилось совмещать роль водителя с обязанностями переводчика. Большинство хичхайкеров были люди бедные. Они рассказывали

истории о своих житейских тяготах. Эти рассказы и были для Ильфа и Петрова главным источником познания Америки. Кроме того, в Чикаго, Детройте и в Калифорнии, пользуясь своими рекомендательными письмами, они добивались встреч со знаменитостями.

— Когда вы прочитали книгу „Одноэтажная Америка“, показалось ли вам, что она отражает реальную картину той жизни, которую вы видели вместе с авторами?

— Это была лишь отчасти реальная картина, — говорит Флоренс. — Это не было неправдой, это была жизнь, какой ее увидели люди, выросшие в СССР, с теми взглядами, какие они приобрели в СССР. Они не знали английского и потому не имели доступа к нашим газетам и журналам. Они не имели понятия о реальной жизни, они изучали Америку у себя дома по книгам Марка Твена и Джека Лондона. А той Америки к 1935 году уже давно не было.

— В Советском Союзе считали „Одноэтажную Америку“ книгой очерков, то есть документальным отчетом...

— Это не отчет, а роман. Ильф и Петров не умели писать иначе. Они хотели забавлять публику. В этом они были похожи на Марка Твена. Для юмора им были нужны смешные факты. Так под их пером мы стали смешными. Нет, мы не обижались. Ведь это был роман, где мы были укрыты под чужой фамилией. Мой муж не был комичным человеком, каким его изобразили. Он никогда не был рассеянным. Он был занят серьезными большими проблемами: экономическими, политическими, историческими, литературными. Правда, однажды в гостинице в Грэнд Каньон он забыл под подушкой часы. Мы вернулись назад, но часов не нашли. Нет, я не дарила ему эти часы, как было написано в книге.

И эпизодов с потерянной шляпой, которую якобы пересылали по почте вслед за нами, тоже не было. Он не носил шляп. И внешность его была другая, и поведение другое. И жили мы не на Централ Парк Вест, а на Риверсайд Драйв...

— А другие аспекты жизни, которую вы им показывали в Америке, Ильф и Петров описывали так же неточно, как и вашего мужа?

— Кое-что они описывали близко к тому, что видели, другие эпизоды преувеличивали. Повторяю: Ильф и Петров написали роман, в котором события происходили в Соединенных Штатах; описали нашу жизнь, какой она представлялась советскому человеку 30-х годов.

— А как отнеслись ко всем этим неточностям и преувеличениям другие американские знакомые Ильфа и Петрова?

— Книгу нашли очень забавной. Американские читатели понимали, откуда эти оценки, учитывали взгляды и убеждения авторов...

— Рассказывали ли вам Ильф и Петров о том, что творилось в это время в СССР: о коллективизации, раскулачивании, об арестах?

— Мы старались избегать этих тем. Мы знали, откуда эти люди приехали, знали патриотический накал тех лет. Мы их не дразнили. Мы знали многих людей, которые приезжали из СССР. И надо было быть дипломатами с ними. Когда мы сами приезжали в СССР, мы тоже не спорили и не настаивали на своем мнении, потому что это не имело смысла. Или человек будет откровенен и расскажет всю правду, или замкнется...

— Почему же вы, люди свободной страны, избегали столь важных тем?

— Не стоит говорить человеку неприятности...

— Вы тогда были настроены просоветски?

— Да. Вы даже не можете себе представить, какая тогда в Америке была волна просоветских настроений. И во время Второй мировой войны это продолжалось. В 30-е годы находилось много американцев, которые продавали все свое имущество и ехали в СССР помогать строить социализм. И сейчас в Москве живет журналист Познер. Его отец отвез его туда мальчиком. Я знаю много таких людей...

Хозяйка приглашает нас к столу. Разлили вино. Флоренс не отказалась от бокала шамбли. За пирогом я позволил себе спросить, сколь изменились взгляды Флоренс на советскую действительность за последние полвека. Как реагировала их семья на разоблачение злодейств Сталина и другие события в СССР того же рода?

Г-жа Трон произнесла в ответ страстный монолог. Нет, не о себе, а о той либеральной интеллигенции, к которой она себя всегда причисляла:

— Всякий раз, как в Советской России происходили процессы (политические процессы 30-х годов. — М. П.), когда Россия заключила сепаратный мир с Германией Гитлера (1939), атаковала венгров (1956) и чехов (1968), большие группы, целые массы сторонников СССР отпадали от нас. Либеральная интеллигенция Запада не могла согласиться с такими методами советской власти. Но даже отвергая политические методы Советской России, либералы не превращались в реакционеров. Они понимали и понимают, что есть Африка и Южная Америка, где людей тоже расстреливают и сажают в тюрьмы незаконно. Есть много других стран, где один разбойник отнимает власть у другого разбойника. Либералы Америки не хотят видеть мир только в черно-белом цвете, мир для них выглядит значительно сложнее. Когда Солженицын приехал на Запад, он ужасал (своими рассказами. — М. П.) многих. И мы все со-

чувствовали ему в его страданиях. Но теперь мы видим, что не ему читать нам проповеди. Он ошибается на каждом шагу.

Покончив с Солженицыным, г-жа Трон снова обратилась к возмутительному поведению „третьей волны”.

— Боже мой, что за реакционеры эти эмигранты из России! Я стараюсь понять, откуда у них эта реакционность. Мое заключение: вы остаетесь реакционерами потому, что после того, что вы пережили, вы устали и вам трудно думать о положении мира в целом и о том, что происходит тут, в Америке. Вы не хотите оглядеться вокруг, вы слишком легко выражаете свое мнение, которое нас, либеральных интеллигентов, отвращает. Я говорю это ради вашей же пользы. Одни мои знакомые, занятые шоу-бизнесом (актеры), ищут сейчас в Америке возможности выступить. Я вынуждена была их предупредить, чтобы они держали язык за зубами. Они не должны отталкивать своими реакционными репликами тех, кто может быть им полезен. В ушах американских либералов высказывания советских эмигрантов часто звучат, как заявления черносотенцев из старой России.

Должен признаться, в этом месте я дал волю эмоциям и выключил магнитофон. Это было неразумно. Ибо в разговоре возник еще один пассаж, который следовало бы записать дословно, он как бы завершил встречу с Флоренс Трон. Продолжая диалог, один из нас заметил, что снисходительное и даже любовное отношение западных либералов к советскому режиму во многих случаях приводит к предательству демократии, даже к преступлениям против демократии. Таковы действия супругов Розенберг в Америке и британских шпионов Филби, Маклейна и Бержеса, передававших советским властям

военные и политические секреты Англии. Г-жа Трон была обижена. По ее мнению, вина супругов Розенберг не доказана, а либералов-шпионов из Великобритании и вовсе не в чем обвинить. Ведь они передавали британские секреты в СССР не за деньги, а по убеждению. „Неужели вы думаете, что двоюродный брат королевы стал бы что-то делать за деньги? — возмущенно воскликнула Флоренс. — Это люди глубоких убеждений. Таковы их политические взгляды...”

На минуту за столом воцарилось неловкое молчание. Мы несколько растерялись, а гостя, по-видимому, решила, что сразила хозяев силой своих аргументов. И в эту тягостную минуту мне вдруг совершенно ясно стало, кем был „мистер Адамс”; почему осенью 1935 года, бросив все свои дела, инженер Трон на два месяца отправился в поездку с советскими писателями. Мне стало ясно, зачем этот квалифицированный американский инженер и интеллектуал метался полжизни по планете, оказываясь почему-то в самых горячих ее точках: в 1933-м — в Германии, вскоре после Второй мировой войны — в кипящей Индии, в конце 40-х — в только что советизированном Китае. Кто его посылал туда? Впрочем, Флоренс права: это уже другая история...

И еще одно понял я в минуту затянувшегося молчания: за минувшие полвека люди вроде миссис и мистера Адамс мало что поняли и мало чему научились. Обитатели одноэтажной Америки, они в своем взгляде на мир так и не поднялись выше первого этажа. Они и сегодня видят планету с ее проблемами с высоты низкорослой постройки образца 1935 года. И взору их предстает нереальный, плоский мир, в котором Гитлер и Рейган, Фолкленды и Польша, Гренада и Афганистан — суть одно и то же...

«Тайна» Беллы Ахмадулиной

Для разбирающегося в советской „символике” и имеющего глаза — все в СССР носит характер знака: так, тираж книги, престижность ее оформления и т. д. — ясно свидетельствуют о „ранге” поэта в глазах властей.

С каждым разом богаче, например, издается Юнна Мориц: долго ее маринвали, а вот под пятьдесят кто-то спустил „добро” и — пошла в гору. „Почвенные” И. Шкляревский или С. Куняев хоть и издаются не столь помпезно, как литературные бонзы вроде Вознесенского или Евтушенки, — но вполне добротны и часто. Ахаешь на последние тиражи любимица читающей публики Фазиля Искандера после массовых — прежних книг: теперь 25 или 50 тысяч экземпляров... Зато тираж повестей и романов Б. Окуджавы — за его спокойное поведение — чуть не в десять раз выше.

В этом смысле — еще до начала чтения — новый стихотворный сборник Беллы Ахмадулиной (по общей популярности сейчас сравнимой лишь с тем же Б. Окуджавой) — вызывает ощущение некоего шока: словно Ахмадулина „по иерархии” пролетела сразу „двадцать три ступени вниз”. Даже первый (двадцатилетней давности) ее сборник „Струна” производит впечатление какого-то полиграфического пиршества — по сравнению с нынешним, а тираж „Тайны” (название новой книги) — 25 тысяч экземпляров — меньший, чем у любой смазливой выпускницы Литинститута...

И участие в альманахе „Метрополь”, и независимость поведения, и, наверняка, не те дружбы — все отозвалось на тираже и полиграфии.

Зато существенно — вверх — ушла поэтическая тема Беллы Ахмадулиной: по новому сборнику очень ощутимы ее рост и видоизменение лирического диапазона.

Белла Ахмадулина. „Тайна”. Москва: Изд-во „Советский писатель”, 1983.

От редакции. Публикуя этот отклик, „Грани” намерены в ближайших номерах вернуться к творчеству Беллы Ахмадулиной.

С Ахмадулиной произошло то же, что с каждым русским поэтом, когда из блестящей столичной и дачной круговерти он вдруг вырывался (иногда, как Пушкин, вовсе и недобровольно) — в свое... „поэтическое имение” и его обступала нутряная Россия во всем своем многоголосье и мощи. Таким „имением” оказались для Ахмадулиной окские места под Тарусой, и в прошлом касаемые ее поэзией, но лишь в последние годы властно ею завладевшие и ставшие „многосюжетной” темой „Тайны”.

Что ж... Таруса — место в русской культуре XX века особое (и не только Таруса, а и весь „регион” от Подольска — через Бежово и Поленово — к Велегожу). Здесь сплав первородного российства, настоящей глубинки с... рафинированным надгробием Борису-Мусатову, отрочеством Цветаевой, послелагерной зрелостью Заболоцкого и — с многим чем еще.

...Образ Марины Цветаевой постоянен в творчестве Ахмадулиной, наряду с образом Пушкина, хотя, собственно, от поэтики цветаевской лирики Ахмадулина не взяла ничего, а благодаря Пушкину архаизировала (увы, подчас эклектично) свой словарь. Но, очевидно, биография Цветаевой — для Ахмадулиной чуть не имманентный источник неизбываемого трагизма, питающего ее Музу.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепию цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нем Марины.

Окская тема у Ахмадулиной многообразится жанрово: от маленького „кладбищенского этюда” — до вполне „эпических” сюжетных повествований и пантеистических ощущений-пейзажей. В этих последних — есть пастернаковское по духу растворение, но еще нет христианизирующей тенденции позднего Пастернака. Природа у Ахмадулиной — как бы последняя инстанция, откуда мы все вышли и куда — уходим. И тут, будем надеяться, ей предстоит еще путь, традиционный для русского лирического движения в целом: от культурно-языческих интуиций — к Христианскому истоку и основанию...

Последняя треть новой книги — возвращение к привычному: Ленинграду, Москве, переделкинской дачной местности — пейзажу, давно уже ставшему легендарным:

Темнела долгая загадка,
и вот сейчас блеснет ответ.
Смотрю на купол в час заката,
и в небо ясный вход отверст.

А каждый, кто побывал в гостеприимно огромной мастерской художника Бориса Мессерера на чердаке дома на Поварской, будет интимно обрадован точностью и проникновенностью описания в стихотворении „Приметы мастерской” —

где быт — в соседях со вселенной.
(...)

...Последние стихи „Тайны”, посвященные Станиславу Нейгаузу (скоропостижно скончавшемуся четыре года назад) и „Памяти Генриха Нейгауза”, — уже этими своими посвящениями вносят завершающий трагический аккорд в книгу, впрочем, просветляющийся в заключительном стихотворении, властно адресующем наше нынешнее будничное течение жизни — к и с т о к у — Пушкину.

Как Пушкину нынче луна удалась!
Но слава мутна и огромна, к морозу, должно быть!

Так новый поэтический сборник Беллы Ахмадулиной „Тайна” одновременно и — итог (итог, в основном, совершенно определенной ахмадулинской поэтики — с переизбыточностью эпитетов, чрезмерной растяжкой стихотворного повествования, подчас доведенной до рискованности новизной рифм и т. д.), и окно — в нечто новое, чему соответствуют и куда зовут Ахмадулину ее честные судьба и натура.

Одно время ей явно грозило „заклишироваться” в том образе, который ей наметила советская „фабула” (что охотно и сделало большинство ее современников). Но талант, а в конце концов, и просто подлинная человеческая порядочность вывели Ахмадулину из проторенной колеи советской литературы. Впереди — н о в ы й путь, требующий несравненно большего мужества (вовсе не только гражданского), но — в первую очередь — мировоззренческого и, соответственно, стиливого, литературного...

И верится, что Ахмадулина найдет в себе это мужество.

Ю. К.

«Квадратная капля»

О повести Бориса Можаева „Полтора квадратных метра”

Невзирая на все камни преткновения, подводные и надводные, литература в Советском Союзе еще не утратила пульса. Нет-нет да выгащит некто из журнальной редколлегии, явно обладающий искусством фокусника, нечто такое на страницы „родного органа”, что только ахнуть!..

Так повелось со времен оттепели, с эпохи обновления „Нового мира”. И даже по сей день (теперь-то уж все реже) вдруг в толстом журнале появится роман ли, рассказ или повесть, от которых ощущение как бы кислородной струи.

К такого рода журнальным сенсациям последних лет относится повесть Бориса Можаева „Полтора квадратных метра”. Приютивший ее журнал „Дружба народов” — на общем фоне чуть прогрессивнее других и отчасти продолжает традиции того „Нового мира”. Стремится, во всяком случае...

Борис Можаев — автор многих книг прозы: вспомним „Власть тайги”, „Полушко-поле”, „Мужики и бабы”, знаменитейшего Федора Кузькина, прозванного на селе „Живым”.

Читатель уже по этим названиям поймет, что Борис Можаев — „деревенщик”. Таким неуклюжим неологизмом помечены сегодня писатели, которые как бы отвели себе в литературе автономный участок, вроде приусадебного. И, разрабатывая свою мызу, пусть вполголоса, пусть с оглядкой, но умудряются сказать то, о чем на самом деле думают и размышляют люди в стране. Но, разумеется, это определение — в самых общих чертах; на самом деле, о „деревенской” прозе, с ее попытками правдоискательства, заштрихованными необходимым лицемерием, — разговор особый.

Повесть „Полтора квадратных метра” в Советском Союзе была нарасхват. До дыр зачитанный номер журнала переходил из рук в руки, на него была очередь в библиотеках. Нечто необычное выявилось в этой повести для изжаждавшегося читателя. Начать с того, что автор-„деревенщик” выступил на сей раз в новом качестве: показал быт и нравы не села, а райцентра — городишки Рожнова, сродни щедринско-

Журнал „Дружба народов” № 4, 1982.

му городу Глупову. В повествовании об „одноэтажной жизни” российской глубинки предстал перед читателем современный „маленький человек”, ведущий родословную свою от Акакия Акакиевича и Макара Девушкина.

Малая по своим габаритам повесть, с подзаголовком „шуточная”, рассказывает о крупномасштабной и вовсе не шуточной войне, о разгуле злых страстей, разгоревшихся вокруг и по поводу незначительного, на взгляд разумного человека, события, а именно того, что зубной техник Павел Семенович Полубояринов переставил дверь. Злосчастная эта дверь выходила в коммунальный закуток, который облюбовал для сна сосед — алкаш и вор Чиженок. Дверь открывалась наружу, и бесчувственное тело Чиженка блокировало ее, так что и в туалет не выйти. Выход, однако, нашелся — открывать дверь внутрь, — надо было только перенести ее. Но таким образом к владениям семейства Полубояриновых прирезался коммунальный закуток в полтора квадратных метра. Кажется, о чем говорить?

Но это — на разумный взгляд. Ведь клочок-то — общественный! Закуток-то — социалистический! И таким протуберанцем взрывается коммунальная баталия, захватившая вскоре соседей, дом, городишко и уж вовсе заоблачные областные пределы! Цепь непредвиденных событий навлекла на голову Павла Семеновича Полубояринова и его супруги неприятнейшие последствия. Она и случайна, эта цепь, и — не случайна.

... Боже ты мой, сколько подлинной страсти в коммунальной перепалке! Сколько грязи в квартирной войне! А ведь стратегический план Павла Семеновича поначалу казался ему безобидным и всех устраивающим. Со спокойной душой идет он на дипломатические переговоры с представителем власти — управдомом Фунтиковой. У Павла Семеновича — козырная карта: сноха — бывшая гражданка ГДР. Следует диалог „высоких договаривающихся сторон на международном уровне”:

„— Этак мы с вами попадем в международное положение”, — предупреждает наш герой.

Должностное лицо тоже не без понятия:

„— Международного положения, конечно, допускать нельзя ... Иначе скажут, у нас все взаимно обусловлено.

— Вот именно! Взаимно обусловлено! — радостно подхватил Павел Семенович. — Как же, мол, они живут в своем Рожнове, если у них все взаимно обусловлено?”

Эта галиматья устраивает обе стороны. Все „взаимно обусловано“. Дверь переставили. Но известно — ход с козыря не из лучших. И Павел Семенович, волею судеб и фактора случайности, оказывается втянутым в войну против целого города. Страшно сказать — против власти.

Сюжет, казалось бы, разворачивается по канонам бытовой фантазмагии: ничтожность (на разумный взгляд) повода в сравнении с грандиозными последствиями конфликта. Однако ничтожно это лишь на первый, некомпетентный взгляд. Маленький коридорный клочок — часть огромной (и общей, и ничьей) советской территории. И поднявшаяся волна, в которой тотчас забарахтались людишки, топящие ближнего, подчиняется непреложному закону этой территории: „Чужой земли мы пяди не хотим, но и свою нипочем не отдадим“. А уж где своя, где чужая, — поди разберись.

А тут и упомянутый уже фактор случайности, водевильный скандал. Когда переставляли дверь, в комнате у соседки оказался заблокированным Чиженок, тот самый алкаш и вор, из-за которого все и началось. Его у соседки „застукала“ жена, — и вскипела злоба против ни в чем не повинного зубного техника...

А впрочем, почему же не повинного? Павел Семенович, с одной стороны, вроде и „свой“, но в некотором роде „белая ворона“: все чего-то пишет в местные газеты, порою даже в центральные, предлагает какие-то „проекты“ для оживления жизни в родном городе Рожнове. А предлагать новшества значит проявлять вольнодумство; кто ж это любит? Власть хоть и местная, маленькая, но — власть. Часть общей, огромной власти. И в завязавшемся конфликте она, то есть власть, принимает сторону врагов Полубояринова.

В местной газете появляется статья, смешивающая Павла Семеновича с грязью. Как знаком нам втирающийся в дом к Павлу Семеновичу автор статьи, все вынюхивающий „работник местного органа“ диффаматор Витя Сморгчов!

Павел Семенович требует опровержения. Вместо этого — и разумеется, по причине этого, — из газеты волею главного редактора Федулеева, увольняют жену Павла Семеновича.

Чем дальше в лес, тем больше слез...

Название городишки — Рожнов — ассоциируется с известным: „не при на рожон“. Какого рожна было скромному человечку всерьез „искать правду“?! Кто надоумил его бороться не только за маленькое коммунальное удобство, но и за поправное человеческое достоинство?

Однако ж война, всколыхнувшая весь городишко, всколыхнула в душе обывателя — человеческое. И он уже говорит: „Пока я отстаиваю правду, я уважаю себя”.

Дойдя до этой черты, он уже обречен увязнуть в непролазной трясине; он уже похож на муху, попавшую в полон лент-липучки. Одна из центральных, узловых сцен повести — ночная рыбалка, когда милиционеры браконьерски ловят рыбу для „отцов города”. Тут заходит разговор о Полубояринове, и следует резолюция: стереть в порошок! Начинается настоящее, „законное”, глумление. Дверь, в отсутствие хозяев, переставляют на старое место, причем вверх ногами, оставив большой зазор, сквозь который проникают воры. Затем комиссия, под предлогом противопожарной инспекции, окончательно разоряет хозяйство Полубояринова. А все почему? „Не надо писать жалобы выше головы”.

Для нас, читающих все это, очевиден бред происходящего. Но ведь и герой понимает „реальную нереальность” того, что творят с ним, с другими:

„Я вот о чем подумал. Живем мы вроде понарошке. В игру какую-то играем. И все ждем чего-то другого. Будто она, эта разумная жизнь, за дверью стоит. Вот-вот постучится и войдет”.

И она как будто входит в повесть, эта разумная жизнь. Появляется „большой начальник”, улаживает конфликт. Все стало на свое место, злополучная дверь в том числе. Начальство прямо-таки воскрешает героя — Полубояринова, — которого в присутственном месте хватил инфаркт. Спасение свыше, „хэппи-энд”. Все как в сказке.

На первый взгляд, такой благополучный исход — необходимое условие, чтобы повесть „пропустили”. Но сама эта концовка настолько выглядит притянутой, что напрашивается вывод: только чудо может спасти героя от ужаса бессмыслицы. Да только ли его одного?

Чудо и в том, что автору, Борису Можаяву, пришлось в голову написать все это, а у кого-то достало смелости „протолкнуть” его повесть в печать. Читаешь ее — и смеешься драгоценным „смехом сквозь слезы”. В этой небольшой повести, смешной, щемящей душу, отразилась вся беспросветность, вся мутная фантазмагория нынешней российской действительности — и внизу, и наверху.словно в капле воды — мутной и, вопреки законам природы, квадратной...

Кира Сангур

«Книгоноша»

„Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею.

— Дурал — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ”.

А. И. Тургенев. „Порог”.

А святых, между тем, на нашей земле много. Только живут они неизвестные и в неизвестности гибнут. Но иногда судьбе бывает угодно, чтоб имя кого-нибудь из них вдруг выплыло из мрака, чтоб кто-то о них вспомнил и написал, и тогда с удивлением и восхищением об их делах и подвиге узнаёт мир. Так сложилась судьба скромной учительницы из провинциального советского городка Людмилы Магон, которую знали, любили и с которой несколько лет переписывались Раиса Орлова и Лев Копелев. Здесь, на Западе, они издали ее письма, а также „Начало повести”, прерванное преждевременной смертью. Надо сказать, что повесть эта рядом с письмами явно проигрывает, и не потому, что Людмиле Магон не хватало литературного дарования, а потому, наверно, что в письмах раскованней и свободней изливалась душа.

Эту невысокую, с очень светлыми глазами и порывистой походкой женщину знал не только весь городишко Маркс, но, пожалуй, и вся Саратовская область. Хотя добрая слава в сравнении с худой, как известно, тянется медленно, тем не менее ее слава шла из дома в дом, из семьи в семью, и люди рассказывали друг другу про неумную книгоношу-учительницу, у которой вся квартирка битком набита книгами, и очень хорошими, и каждую она дает почитать другим, чтоб прочитало как можно больше народу. С утра до ночи в этой квартирке-библиотеке толпятся люди. Выбирают книги, обсуждают, высказывают мнения. Иногда — опасные и неугодные для начальства. Кроме того, рассказывали, что учительница она была редкостная. Она и сама не могла жить без детей, и дети не могли без нее, любили порой боль-

Людмила М а г о н. Письма, „Начало повести”. Публикация Р. Орловой и Л. Копелева. „Ардис”, Анн Арбор, 1983.

ше матери, отчаянно плакали, когда приходило время расстаться. Все — и взрослые, и дети — звали ее „Книгоноша”.

Для людей такого склада существует точное определение — „просветители”. Во тьму невежества они несут свет знания, мрак лжи разгоняют истиной, работают неутомимо и непрерывно и часто умирают до срока, изнуренные, так и не увидав плодов своего труда. Но плоды эти всегда остаются. Незримые поначалу, они в какой-то срок вдруг проявляются, вспыхивают, живут, когда, казалось бы, источник света давно угас и все следы стерлись. Для Людмилы Магон просветительство было важнейшей, насущнейшей миссией на земле: „Учительство — такая же корневая профессия, как земледелие, лесоводство, врачевание... Я чту просветителей всех времен и народов и верю в их неодолимость”, — пишет она.

Феномен Солженицына был воспринят Людмилой Магон как откровение. Сама проникшись силой и светом его произведений, она, по свойству своей натуры, не могла не рассказать о нем ученикам. И не только рассказывала. Летом 1967 года, отправившись с детьми в поход „по есенинским местам”, она заезжает в Рязань и посещает Солженицына. Это немедленно становится известным начальству. Надо сказать, что и вся прежняя деятельность Л. Магон была для него, как кость в горле. Последняя „выходка” переполнила чашу терпения. На „Книгоношу” завели „дело”, прогнали с работы и дали ей место учителя-воспитателя в колонии для малолетних преступников.

Она пишет, что подобную немыслимую каторгу для детей могли придумать либо чиновники, лишённые всякого воображения, либо, наоборот, люди, обладающие дьявольской фантазией. Страдания диккенсовских детей-страстотерпцев меркнут перед муками маленьких советских каторжан, патриарху советской педагогики Макаренко не приснилось бы такое и в самых страшных снах. В этой школе-колонии детей, прежде всего, непрерывно били: их били плетками и ремнями, палками и кулаками. В воспитатели нанимали самых изощренных садистов. Естественно, что, попав в это заведение, Людмила Магон стала бороться. Она пишет: „Моя теперешняя работа оставляет ощущение дела, уже потому все можно выдержать. Она дает весьма ощутимый материал по человеко- и обществоведению, будит размышления, часто полосует по самому живому. Это тяжело, но это же и хорошо... Живая плазма”. Ей хочется „детству вернуть детство”,

и она приносит в свой отряд любимые с детства книжки, берет с ребятами свои любимые песни, читает с ними Пушкина и Лермонтова. О Лермонтове, кстати сказать, она всю жизнь мечтала написать научную работу, но, как видно, сам Лермонтов, вживе прочитанный, оказался для нее важнее „лермонтоведения“. Постепенно ребята словно бы очнулись от мороки. Живое слово стало сильнее битья, муштры, диких привычек и первобытных инстинктов.

Но так продолжалось недолго. Администрация колонии очень скоро пришла в себя и со всею силой ледяной ненависти обрушилась на „Книгоношу“. Началась травля. Детей, которых и она полюбила и которые полюбили ее, отняли, злобно растасовали, распихали по другим отрядам. „Расхищены, распроданы по одиночке“, — с мукою рассказывает об этом Людмила Магон. А начальство не останавливается — пишет по всем направлениям жалобы, не допускает к детям в классы. Надорванное непрестанной борьбой и страданиями здоровье не выдерживает. В марте 1974 года Людмила Борисовна Магон умирает от кровоизлияния в мозг.

Людмила Магон относилась к редкой породе людей, у которых нет адаптации к привычному злу. „И колется, и жалит, а кожа, вместо того, чтобы задубеть, становится все чувствительнее“, — коротко замечает она об этом свойстве своего характера. С такой же лаконичной сдержанностью рассказывает она, как на бесконечных „проработочных“ собраниях выступала в защиту Солженицына: „Я бы не могла вести себя иначе... Ничего не вижу особенного в такой линии поведения: естественная реакция человека...“. О детской каторге-школе она мечтала написать книгу, да такую, чтобы „выговориться сполна, точно и честно... ибо о впечатлениях такого рода утаивать преступно“. Не довелось — не дотянула, не успела, и повезло лишь в том, что умерла не в тюрьме и не в ссылке.

Р. Орлова и Л. Копелев в своем предисловии пишут: „То была трагическая гибель одинокой подвижницы. Несмотря на множество друзей, приятелей, добрых знакомых, любящих учеников, она оставалась одинокой там, где начинался ее подвиг, — отчаянный поединок с бездушными силами зла и мрака“. Об этих силах Людмила Магон пишет в письмах особенно часто, со страстью и болью, порой — с тяжелым отчаянием, жалуясь на беспросветность и духоту провинциальной обывательской жизни. „Невозможно привыкнуть к тому, в каком мерзком мире мы живем. В Марксе почти нет

лиц... подобие жалких лачуг". Она рассказывает и о стандартизации жизни, и об удручающей бездуховности, и о „желудочном азарте", поголовно охватившем захолустный городок.

Оглядываясь на прошлое провинциальной России, отметим, что все это, как будто бы, было и там, понагляделись мы и у Гоголя, и у Щедрина, и у Чехова на скопища „свиных рыл", заселявшие просторы Российской империи. Что ж, провинция есть провинция, в ней высокие порывы души никнут, она кого хочешь задушит. Однако у советской провинции появилось особое свойство, чутко замеченное учительницей Людмилой Магон: из спокойной и в общем-то добродушной она превратилась в беспокойную и озлобленную. Интеллигенция советской формации прониклась насквозь не только Идеологией, но и страхом перед нею. В нынешних „интеллигентных" обывателях Людмила Магон увидела неведомые доселе „черты высокой биологической приспособляемости" и гнусную привычку „к пустому кружению слова". В Марксе живут настороженно и угрюмо. „Все притихли. Каждый прячется в свою норку и выставляет оттуда длинные усики-локаторы". Все боятся и ждут, „кабы чего не вышло".

Но самые тяжелые ее впечатления — от аудитории учительской. На конференции сидели люди, наиболее глухие к слову, самые тупые и необразованные из всех, кого она знала. Самое страшное началось, когда она заговорила о Солженицыне, — возникла „разъединяющая тишина и молчание минного поля... Лиц не было". Затем посыпались реплики, в которых чувствовалось единственное желание прикрыться щитом идеологических клише, набором общих фраз из партийных учебников: „Если он не партиен в творчестве, то как может быть талантливым?" Одна особенно ретивая чиновница из РОНО крикнула на весь зал, адресуясь к началству: „Не беспокойтесь, Иван Иванович! Нас никакой Солженицын не перевоспитает!"

Портрет за портретом, живо и точно рисуются образы этих советских чиновниц, по натуре схожих с гестаповками и составляющих оплот нынешнего руководства в нашей стране. Школа — одно из важнейших звеньев в системе, формирующей печально известного всему миру „гомо советикуса", и если судить по школьной среде, обрисованной в письмах Людмилы Магон, то и будущие поколения советских людей система цепко держит в руках.

Единственная надежда — люди, подобные самой Людмиле Магон. Они создают вокруг себя особое магнитное поле. Какой бы дикой ни была среда, она все же способна к просвещению и тянется к живому слову. Такие, как „Книгоноша“, необходимы миру, без них он бы давно забыл, что имеет человеческий облик и Божью душу. Поклонимся же им низко, до земли.

Майя Муравник

Демоны прошлого

„На кой они нужны, фронтовые воспоминания, какая от них польза? — спрашивает себя — и читателя — Антон Максимович Дударев, герой маленькой повести Даниила Гранина „Еще заметен след“. — Много лет как я запретил себе заниматься этими цацками“. И добавляет — коротко и не ясно: „Были тому причины“.

В самом деле, замученному хозяйственными заботами инженеру, руководителю группы „с зарплатой сто девяносто рэ“, покажутся непозволительными „цацками“ регулярные сборища ветеранов, „медные трубы похвальбы“ (в которые всех энергичнее дуют тогдашние трусы), осмотры „школьных музеев боевой славы“, затверженные шаблонные выступления перед пионерами, вся та казенщина, в которую выродилась печальная, но и благословенная, память о войне. Однако, это еще не причины — гнать от себя свои, истинные, воспоминания. Чем тогда жить Дудареву, если „остальное, послевоенное, житье скомкалось в монотонное существование. Не то что годы, десятилетия неразличимо слиплись“.

Дударев оправдывается „сопротивлением памяти, ее инстинктом“, называет „проклятым беспамятством“ известное свойство, спасительное и угодливое, — задвигать, упрятывать в дальние закоулки все неприятное, „лишнее“, несовместное с желаемым нами представлением о себе. „Так забывают то, от чего хотят избавиться“.

Тридцать с лишним лет это счастливо удавалось ему. Но вот его настигла, застала врасплох незнакомая женщина, за-

Д а н и и л Г р а н и н. „Еще заметен след“. Повесть. „Новый мир“, № 1, 1984.

тем и приехавшая в Ленинград из далекой Грузии, чтоб пробудить в его памяти образ, давно и надежно упрятанный, — однопольчанина, исчезнувшего из его жизни еще там, на войне: „Волков Сергей Алексеевич — повторяла она упрямо, как гипнотизер”.

Дударев никакого Волкова не помнит. Но Жанна, так зовут женщину, не отступает, настаивает: „Может, вам неприятно вспоминать то время?” И Дударев, запретивший себе „цапки”, сопротивляется: „Как так неприятно? Это наша гордость. Только и делаем, что вспоминаем”. Однако, чуть позже, спешит вернуться в привычную спасительную колею: „Что за страсть оглядываться назад? Там нет никаких указателей, оттуда нет помощи... Не ворошите. Не настаивайте... Как сказал один мудрец: не надо будить демонов прошлого”.

Подходящие к случаю мудрецы все же не помогут, поскольку Дударев — человек совестливый. Еще немного сопротивления, и он оглянется, он вспомнит — голодный Ленинградский фронт, странного лейтенанта Волкова, свои отношения с ним, трудные, всегда натянутые, однажды едва не разрешившиеся пистолетной дуэлью, и полученный от него на всю жизнь урок: „Читать чужие письма, лейтенант Дударев, это подлость!”

Однако ж, не следует уроки понимать буквально. Именно эти письма теперь приходится Дудареву читать. Они-то и составляют стержень сюжета. Да, „было такое движение” — романтическая переписка между фронтом и тылом, в большинстве — не завершенная встречей, оборванная пулей или иными привходящими обстоятельствами; не все „романтические незнакомки”, вступив в замужество, сохранили те письма. Жанна — сохранила. И оказалось, они адресованы не ей одной, даже не столько ей, сколько теперь — Дудареву: „Какие каверзы подстраивает жизнь! Зачем ей понадобилось через столько лет подsunуть мне его письма?.. Кроме той несостоявшейся драки было потом куда более серьезное. Не за этим ли пожаловала ко мне Жанна? Потребовать ответа! Все же существует, значит, закон возмездия”.

О да, он существует, но, к сожалению, лишь для тех, кто готов его принять. Для какого-нибудь Хвата, лубянского следователя, который погубил академика Вавилова, гордость российской науки, возмездия нет, он же ни за что не скажет: „Я виноват”. Не сказали этого и подсудимые в Нюрнберге, принявшие повешение как участь побежденных,

но не как торжество правосудия. Дударев, конечно, не из этого числа. Он читает эти письма, уличающие его, и ему в голову не приходит попросту уничтожить улики. И то сказать, главная из них — личность Волкова, в которой лишь сейчас довелось разобраться. Прежде чем мы, вместе с Дударевым, доберемся до „куда более серьезного“, ему — пожившему, польсевшему, — предстоит понять, чем же его так раздражал этот Волков, откуда взялась неприязнь, вражда, ненависть.

Впрочем, только ли у Дударева? Сам Волков свидетельствует в письме, что некий Левашов — „единственный здесь мой товарищ“; старший из всех по возрасту, 35-летний, он признается 19-летней незнакомке: „Никого ближе Вас у меня нет. Так получилось. Ни здесь в части, нигде в другом месте“. Отчего же получилось? Разбросанные по тексту замечания передают нам характер этого закономерного одиночества: „Мы считали его кичливой зазнайкой... такой эрудированный... манера цепляться, не соглашаться ни с кем, обо всем у него было свое мнение... позволял себе поучать и старших по званию... Мы не хотели слышать критику нашей жизни, не желали видеть плохого в ней... Волков же говорил: радио изобрели у нас, почему же мы сидим без радики? И вот этот его вполне логичный довод был неприятен. Почему не сообщают, сколько людей умирают с голоду в Ленинграде, допытывался он у комиссара, упрямо набычив голову...“ Наконец, из волковского же письма: „Мне б еще научиться помалкивать и соглашаться“. И далее он язвительно описывал, как всюду он суется со своей правотой, всех поучает, и хотя то, что он требует, правильно, это почему-то всех обижает... Оттого, что так оно и было, его терпеть не могли“. Это уже какой-то зловещий рефрен, сопровождающий все его доводы: „Убедительно и опять почему-то неприятно“. И вот оно, вырвавшееся наконец из души: „Он... строил из себя интеллигента“.

По понятиям быдла, к которому принадлежал тогдашний Дударев, строить из себя интеллигента — предосудительно. Наверно, еще того хуже — быть им. А Волков, несомненно, был. Опытный профессионал, Гранин избавил его от всех примелькавшихся признаков этого неприкаянного племени — худого здоровья, близорукости, рассеянности и стеснительности, неумения постичь глубинную мудрость уставов. Перед нами интеллигент иной информации, интеллигент в первом поколении, родом от весовщика и прачки, отличаю-

щийся и физической крепостью, и точным пытливым умом. Он, кто „карабкался изо всех сил” и докарабкался до изобретателя, имеющего патенты, он „боялся, что не сможет соответствовать званию инженера. Инженер обязан знать и Овидия, и созвездие Ориона, и историю Исаакиевского собора”. Вероятно, мог бы стать и писателем, само название повести взято из его стихов:

Еще заметен след, еще нас могут вспомнить...

Но вот как сам он себя ценит: „Средним писателем я мог бы стать... Модным, преуспевающим... Но ничего среднего я не приемлю. Кому нужен средний писатель?” Недаром же Левашов (тот самый, „единственный здесь товарищ”) считал, что „у Волкова талант сомнения — вымирающее качество”. Жаль, если б то было так, ведь известно: сомнение — начало философии. Можно отнести ненасытную жажду познания к максимализму молодости — и самого Волкова, и всей страны, интеллигентность — не багаж формальных сведений, но несомненный неотъемлемый ее признак был ему присущ — умение видеть себя как бы „в третьем лице”, слышать со стороны и требовать — лишь от себя самого: „Требовать от жизни толку мало... Жизнь нам ничем не обязана”. Осознавая „свой жребий” он пишет девушке, с которой не суждено было когда-либо увидеться, одновременно и с горечью, и с гордостью: „Я сам творил свою судьбу”. Это не так, не сам, точнее слова — о жребии. Потому что интеллигентность выпадает человеку не в виде желанного облегчения, но как дополнительный груз нравственности, невесть откуда взявшееся бремя. Он принял на себя заботу о душе юной корреспондентки, которой „писал в полную силу уважения... Он взвешивал каждое ее слово, и, видно, ей это нравилось. Никто еще с ней так уважительно не обращался”. Надо полагать, не обращались и после, ибо все другие мужчины, побывавшие в ее жизни, не заставили ее забыть о Волкове.

Его письма говорят за себя сами, и, пожалуй, не было нужды сравнивать их с письмами другого однополчанина, лейтенанта Лукьянова, адресованными той же Жанне и в которых Дударев теперь обнаруживает и „налет пошлости”, и „писарский почерк”, и что он „не вкладывал ни души, ни трепета”. Нужны они разве что для сравнения нынешнего Дударева с тогдашним, принимавшим в этом соперничестве сторону неудачливого Лукьянова: „Сердца наши привлекали герои, которые терпели унижение за свои подвиги, которых преследовали клевета, наветы, козни, от которых отворачи-

вались любимые". Кто лукавит здесь, герой или автор? Ни литература, ни кино тех лет не навязывали нам в пример таких „ущербных" персонажей, они предлагали стереотип удачника-сердцеда, „парня из нашего города", который и на гармошке горазд, и план перевыполняет, и за словом в карман не лезет. Не там, не там ищет Дударев оправдания своей неприязни к Волкову и своей подлости — когда не что иное, как та же интеллигентность, вынудила Волкова совершить свой главный — и гибельный — поступок.

Была операция — и как будто удачная. Генерал из армии вручал награды. Был фронтовой банкет, Волков пить отказался, генерал заговорил с ним — и он сказал, что форсировать реку и выйти к железной дороге можно было без таких потерь. И еще „Бог знает что наговорил — что мы заработали ордена на трупах". Оттого ли, что сорвался, потеряв в том бою единственного товарища, или оттого, что „к опасности относился как к неизбежному злу, как бы заранее принимал беды, которые грянут над ним", — но надавил на любимейшую мозоль, затронул вопрос самый страшный — почему мы потеряли столько? Почему наши потери в минувшей войне — втрое большие, чем у немцев, которые были нападающей стороной и по всем уставным выкладкам должны были потерять — втрое больше. Стало быть, истинный счет — один к девяти. И не объяснили нам этого соотношения до сих пор ни отцы нашей победы, ни отечественная литература.

„На следующий день, — вспоминает Дударев, — нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова — и за прошлые разговоры, и за этот".

Итак, пушечное мясо, наделенное речью и затвердившее, что „не наше дело думать о потерях, наше дело выполнять приказ", не пощадило того, в ком оказалось столько чувства человеческого долга и просто офицерской чести, что он оскорбился за других, за них же — завтрашних напрасных мертвецов. Не пощадило и „за прошлые разговоры", то есть, по-видимому, за поучения старших, за то, что сидим без раций, за то, что не знаем, сколько гибнут с голоду в Ленинграде, а заодно наверное, и за Овидия, и за созвездие Ориона, и за излишние познания в истории Исаакиевского собора...

Дальнейшие пути не в меру пытливого лейтенанта вполне представимы и не составляют для нас секрета. Он должен был помереть в лагерном бараке, и только идя навстречу пожеланиям цензуры, которая страсть как не любит, когда

гибнут герои, а тем более — в местах заключения, только потому вспомнил автор о командире полка, который доселе на сцене не фигурировал, произвел его в генералы и сподобил — спустя годы — что-то понять и замолвить словечко за Волкова. Словечко, разумеется, было услышано; Волков, само собою, освобожден — и умер уж вовсе по неизвестной причине.

К сожалению, повесть Гранина временами — и чем ближе к концу, тем больше, — живет не по законам прозы, а по законам философского трактата в диалогах и — увы — беллетристики. Есть вещи, которые особенно чувствительны к беллетристике и не переносят ее — среди них война, больница, тюрьма, смерть.

Казалось бы, если женщина пускается в далекий путь, чтоб узнать — через столько лет! — о человеке, никогда ею не виденном, это ситуация литературно рискованная, она нуждается в скрупулезной точности психологического рисунка. Но автор еще нагружает свою героиню раскаянием, которым ей хочется хоть с кем-нибудь поделиться. В свое время она не ответила на письмо Волкова из лагеря, на его просьбу прислать мыло, кусок сала, свитер. Этот кусок сала, так деликатно упрятанный межды мылом и свитером, бьет по сердцу, так говорит истинный голод, которого человек еще стыдится. Но Жанна, не ответившая ему, не виновата, что письмо до нее дошло, когда Волкова уже не было в живых. Просто — „я хочу, чтоб вы знали“. Пусть так, но ведь сказать: „И я виновата“ — можно и себе самой, этого достаточно. Ей, платонической вдове Волкова, не Дудареву же это говорить, о котором ей уже ясно, что он был не другом Волкову и приложил руку и язык к его гибели.

Не станем говорить о финале повести, полном кокетливых околичностей, пустых и суетных деталей, благостного сияния и даже — с робким предложением Дударева Жанне. Это уже и не на уровне беллетристики, которая все же признает и трагические концы.

Воздадим должное тому, что сказано автором на лучших его страницах, сказано по-своему, определенно и вразрез с нынешней модой. Как прежде, когда сие диктовалось государственными соображениями, взывала наша литература к „твердости“ и „беспоощадности“, так теперь напоминает она о всепрощении, о терпимости, о забвении прошлых обид — о, сколько музыки сочинено, сладостной для уха палачей! Они, пожалуй, и христианство готовы терпеть — за одну

лишь заповедь Распятого подставлять левую щеку, когда ударили по правой.

К счастью, Даниила Гранина эта музыка не сбила с толку, напротив — надоумила петь на иной мотив. Ибо он знает: „Прощать тоже надо уметь”. То есть, знать надо, кого простить, а с кем и повременить до выяснения. Он говорит — устами героя, переоценившего всю прошлую свою жизнь, — внятно и недвусмысленно: „Рано или поздно зло должно наказываться. Не всегда воздается виновнику, может воздаться его детям, потомству, но какое-то равновесие природа должна восстановить. Если справедливость не сумеет восторжествовать, тогда она зачахнет, тогда человеку не на что надеяться”.

Истинно так.

Наталья Кузнецова

Б о р о д и н Леонид Иванович род. 14 апреля 1938 г. в Иркутске в семье учителей. После школы поступил в Иркутский ун-т, был исключен за участие в студенческом кружке „Свободное слово”, также исключен и из комсомола. В 1962 году окончил пед. ин-т по отделу истории. Работал над диссертацией „Философские взгляды Бердяева”. По окончании ин-та был директором средней школы в Серебрянске Ленинградской области.

В 1964 г. создал „Демократическую партию”, а в 1965 г. вступил в ряды ВСХСОН — Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа. Создателем и руководителем этой организации был Игорь Огурцов, ныне отбывающий ссылку. Мировоззренческие основы этой организации были: персонализм, любовь к России, построение общества на социал-христианских принципах.

В 1967 г. ВСХСОН был разгромлен КГБ. Л. Бородин был арестован вместе с другими членами организации. В Мордовских лагерях Л. Бородин принимал участие в борьбе политзаключенных за свои права.

Освободившись в 1973 г., начал сотрудничать в самиздательском журнале „Вече”, который до 1974 г. выходил под редакцией В. Осипова. После разгрома журнала органами КГБ Бородин начинает издавать самиздательский „Московский сборник”, который должен отражать национально-религиозные проблемы. Ему удалось выпустить три номера этого журнала.

Еще в заключении Л. Бородин начинает писать стихи. Впервые они появляются на Западе в журн. „Грани” (№ 105). Также в „Гранях” (№ 96) опубликованы его публицистическая статья — „О русской интеллигенции”, повести „Третья правда” (№ 119) и „Гологор” (№ 124). Эти повести и повесть „Год чуда и печали”, а также сборник рассказов „Повесть странного времени” (1978) вышли отдельными книгами в изд. „Посев” и переведены на иностранные языки.

13 мая 1982 г. Л. Бородин арестован вторично по статье

70, ч. II. 19 мая 1983 г. Московский гор. суд приговорил его к 10 годам лагерей строго режима и пяти годам ссылки.

Леонид Бородин — лауреат „Премии Свободы” французского ПЕН-Клуба за 1983 г.

Роман „Расставание” был вывезен друзьями Бородина из Москвы после его ареста.

В е с ё л ы й Артём (Николай Иванович Кочкуров) родился в 1899 г. в Самаре в семье грузчика. С 14-ти лет работал на заводе, извозчиком на пристани, плотником. Окончил 4-классное городское училище. С весны 1917 года принимал активное участие в революционных событиях. Занимался агитработой в самарском горкоме РКП(б), воевал на разных фронтах гражданской войны, сотрудничал во фронтовых газетах, служил матросом на Черноморском флоте, работал в ЧК.

С 1919 г. занялся литературным трудом, поступил в Высший литературный институт им. Брюсова. Участвовал в литературной группе „Перевал”, вышел из нее в 1926 г., позднее вступил в РАПП (1929). Основные произведения: пьесы „Разрыв-трава” (1919), „Мы” (1921), повесть „Страна родная” (1926), „Дикое сердце” (1925), исторический роман „Гуляй Волга!” (1932). Главный труд его жизни — монументальная эпопея о гражданской войне „Россия, кровью умытая” — остался незавершенным из-за ареста в 1937 г. и гибели (1939).

Повесть „Реки огненные”, создавшая писателю имя, выходила в 1924 г. в изд. „Молодая Гвардия”, но в связи с постигшими автора репрессиями не сохранилась для сегодняшнего читателя, разве что в тюремных библиотеках НКВД—КГБ.

К о п е л е в Лев Зиновьевич (род. в Киеве в 1912 г.). Был рабочим, журналистом, учителем. 1933—35 философск. фак. Харьковского ун-та. 1935—38 немецкий фак. Моск. Ин-та ин. языков. 1938—41 аспирантура ИФЛИ (одновременно преподавал в ИФЛИ и в Ин-те ин. языков). 1941—45 — действующая армия: офицер-пропагандист среди войск противника (последнее звание — майор). Апр. 1945 — арестован. Обвинение: „Пропаганда буржуазного гуманизма, жалости к противнику, клевета на командование Советской армии”.

В заключении до декабря 1954. Реабилитирован осенью 1956. Восстановлен в кандидатах КПСС. Вторично исключен из КПСС в 1968. Член Союза писателей с 1959 по 1977.

Написал более 300 статей, предисловий, послесловий, главным образом на темы нем. литературы прошлого и современности, а также несколько книг: „О бравом солдате Швейке“, сборн. статей о зарубежной литературе „Сердце всегда слева“, „Брехт“ и др.

Написал книги воспоминаний (изданы на Западе): „Хранить вечно“ (1975), „Вера в слово“ (1977), „И сотворил себе кумира“ (1978), „Утоли моя печали“ (1981). Изданы также на иностранных языках. По-немецки им написаны книги: „Поэт с берегов Рейна“ (о Г. Гейне), „Святой доктор Федор Петрович“ (о Ф. П. Гаазе) и др., а также в соавторстве с Генрихом Беллем „Почему мы стреляли друг в друга“.

В 1980 г. выехал по личному приглашению в ФРГ, в январе 1981 г. лишен сов. гражданства. 1981 г. — проф. ун-та в Геттингене, с 1982 г. — проф. ун-та в Вуппертале. Статьи, лекции в печати, по радио, по телевидению в ФРГ, Австрии, Швейцарии, США и др. странах.

К у б л а н о в с к и й Юрий Михайлович — родился в 1947 г. в Рыбинске, окончил искусствоведческое отделение истфака Московского университета. После того, как в 1976 году в зарубежной прессе было опубликовано его открытое письмо „Ко всем нам“ (к двухлетию высылки Солженицына), работал сторожем в подмосковном храме и на Антиохийском подворье.

Его стихи печатались в альманахе „Метрополь“, в „Гранях“ (№ 127), в „Вестнике РХД“, в „Глаголе“ и „Континенте“. Автор двух поэтических книг: „Избранное“ (Ардис, 1981) и „С последним солнцем“ (La Presse Libre, 1983). В „Гранях“ № 128 напечатан его этюд „Ферапонтово“.

Л и п к и н Семен Израилевич (род. в Одессе в 1911 г.) — поэт и переводчик. С 1928 г. живет в Москве. Окончил инженерно-экономический институт (1937). Выступил со стихами в конце 20-х годов. Был членом СП с 1934 г. Перевел калмыцкий эпос „Джангар“, киргизский — „Манас“, кабардинский — „Нарты“, поэмы А. Навои, А. Фирдаси, Лутфи.

Заслуженный деятель культуры многих среднеазиатских и кавказских республик.

Во время войны 1941—45 гг. служил во фронтовых газетах на Северном флоте и в Сталинграде.

Издал сборник военных очерков „Сталинградский корабль”, повести для детей по мотивам народных сказаний, в 1967 г. — сборник лирики „Очевидец”. В 1981 г. в изд-ве „Ардис” (США) опубликовал сборник „Воля”.

Один из авторов альманаха „Метрополь” (изд. „Ардис”). В 1980 г. вместе с женой — поэтом Инной Лиснянской — вышел из Союза писателей в знак протеста против преследования молодых участников „Метрополя”.

О р л о в а (Копелева) Раиса Давыдовна (род. в Москве в 1918 г.). Окончила литературный факультет МИФЛИ (Московского института истории, философии, литературы) в 1940 г. Преподавала литературу в школе и в пединститутах Таллина и Москвы. 1947—51 — аспирантура ИМЛИ АН СССР. 1955—61 — сотрудник редакции журн. „Иностранная литература”. Член Союза писателей 1959—1980. Написала более 200 статей, предисловий и послесловий, главным образом о литературе США, и несколько книг: „Потомки Гекльберри Финна”, „'Мартин Иден' Джека Лондона”, „Гарриет Бичер Стоу. Очерк жизни и творчества”, „Поднявший меч” (Исторический роман о Джоне Брауне), „Воспоминания о непрощедшем времени” (русс.-англ. изд.).

Член КПСС с 1942 по 1980 г., исключена из КПСС и из СП за выступление в защиту А. Сахарова. С ноября 1980 г. вместе с мужем живет в Кёльне. В январе 1981 г. лишена советского гражданства.

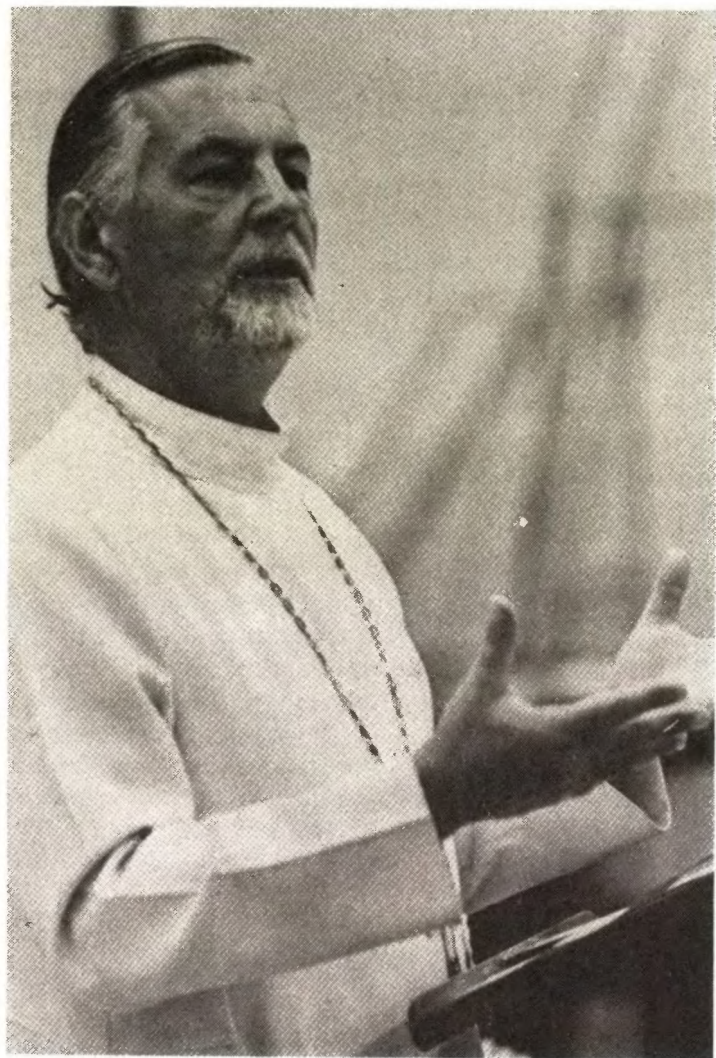
Ю г о в Александр Михайлович (род. в Москве в 1931 г.). Окончил Одесский политехнический институт в 1954 г. Работал на инженерных, административных и научно-исследовательских должностях ряда заводов и НИИ страны. Эмигрировал из СССР в конце 1971 г. С января 1972 г. сотрудничает в журнале „Посев”, где за 12 лет опубликовал несколько десятков статей, преимущественно на социально-экономические темы. С 1974 до 1982 г. работал ответственным секретарем журнала „Посев”, в настоящее время член его редколлегии.

К кончине о. Александра Шмемана

Александр Дмитриевич Шмеман родился 13 сентября 1921 года в Таллине. Его родители покинули Петербург после революции 1917 года. Его отец, Дмитрий Николаевич Шмеман, был гвардейским офицером Семеновского полка. Мать — Анна Тихоновна — происходила из старого дворянского рода Шишковых. В 1927 году семья переехала из Эстонии в Париж.

В ранней юности о. Александр увлекся движением „младороссов“, но впоследствии говорил, что очень благодарен матери, умолившей его в эту партию не вступать. Впоследствии о. Александр ни к какой из русских эмигрантских партий не примыкал и к эмигрантским политическим спорам относился иронически. Но он глубоко уважал тех русских политических эмигрантов, которые стремились способствовать развитию российского освободительного движения. Отец Александр твердо верил в национально-религиозное возрождение русского народа. Непримируемость по отношению к советской власти он сочетал с глубокой любовью к России, к ее культуре, которую он, после Церкви, любил превыше всего.

Отец Александр окончил русскую гимназию, а затем сдал еще экзамен на аттестат зрелости при Сорбонне. В 1940 году стал студентом Свято-Сергиевской Духовной Академии в Париже. Среди профессоров Академии были выдающиеся православные богословы. Особенное влияние на молодого



богослова оказали о. Георгий Флоровский, о. Сергей Булгаков, о. архимандрит Киприан (Керн) и проф. А. В. Карташев, библеист и историк Церкви.

Своей первой специальностью о. Александр избрал историю Церкви византийского периода. Еще на студенческой скамье написал он свою кандидатскую диссертацию на тему „Судьба византийской теократии” (1946).

В 1945 году молодой ученый начал свою преподавательскую деятельность в Свято-Сергиевской Духовной Академии, а в 1946 году он был рукоположен в священство архиепископом Владимиром. Первоначально о. Александр преподавал историю Церкви — как ранней, так и византийского периода. Тогда же родился замысел книги, которую о. Александр написал уже в свою бытность в США.

В 1951 году о. Александр с женой и тремя детьми переселился в США, приняв приглашение Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Начался новый, блестящий период в жизни о. Александра — не только как богослова, но и как очень значительного церковного деятеля. Он скоро стал деканом семинарии (в США это высшая школа, имеющая право присуждать ученые степени), сменив на этой должности о. Георгия Флоровского.

Богословские школы и университеты США наперебой приглашали о. Александра читать лекции и вести семинары. Смеясь, о. Александр говорил, что потерял счет почетным докторским степеням, которые присуждали ему университеты Америки.

Более 30 лет он был членом Митрополичьего Совета Русской Православной Греко-Кафолической Церкви Америки, бывшей американской епархии Русской Церкви, ставшей после революции самоуправляющейся, а в 1970 году получившей от Русской Церкви автокефальность.

Отца Александра все более привлекало литургическое богословие — наука о церковном богослужении. В Америке он через некоторое время отказался от преподавания истории Церкви и полностью посвятил себя литургическому богословию: „Богословие нужно пить со дна Евхаристической Чаши”, — говорил учитель о. Александра прославленный богослов и великий пастырь о. Сергей Булгаков. Вслед за Отцами Церкви о. Александр неизменно повторял, что „закон веры” неотделим от „закона молитвы”, вероучение Церкви, ее Благая Весть о спасении человека и мира как новом усыновлении Богу, совершаемом во Христе Духом Святым, с наибольшей полнотой выражает себя в литургическом, богослужебном предании Церкви. Христианское богослужение, таинства Церкви — не символы, которые отражают некую высшую, но остающуюся нам недоступной духовную реальность. В богослужении открывается нам новая жизнь, которую принес в мир Христос, та жизнь, о которой апостол Иоанн говорит, что она была у Отца и явилась нам.

Но богослов, который во всеоружии научных и исторических методов подходит к литургическим традициям Церкви, вступает на очень опасный путь. Еще в XIX веке митрополит Московский Филарет (Дроздов) советовал богословам не касаться богослужебной жизни Церкви методами критического анализа. К привычным с детства формам богослужебной жизни обращена вся любовь верующего народа, и мощные силы стоят на страже их неизменности. Реформы обряда, а отнюдь не сущности вероучения породили русский раскол... Разумеется, о. Александр был слишком образован и укоренен в жизни Церкви, чтобы на манер недоброй памяти „обновленцев” звать к каким-либо поспешным „реформам” литургической традиции Церкви. Ме-

нять нужно наше восприятие и понимание богослужения, — говорил он.

Богослужебная традиция Церкви складывалась веками. Упрощая, можно сказать, что эта традиция есть „сплав” богослужений времени (вечерня, повечерие, полуношница, утренья, часы) с венчающей ее „трапезой Господней” — существующей с апостольских времен евхаристией-литургией, „редакторами” которой стали, в ранневизантийский период, св. Иоанн Златоуст и св. Василий Великий. Вошедшие во все наши богослужения псалмы — из „келейных” молитвенных правил монашествующих, для которых Псалтырь была и остается „книгой книг”.

Об этом развитии нашего богослужения о. Александр подробно говорит в своей докторской диссертации „Введение в литургическое богословие”: эту диссертацию он защитил летом 1959 г. в Париже, а два года спустя она вышла отдельной книгой. Книга о. Александра „Исторический путь православия” вышла в 1954 г. в нью-йоркском издательстве им. Чехова, а другие его книги — такие, как „Великий Пост” (1981 г.) и готовящаяся к изданию его большая работа об Евхаристии, которую он писал последние восемь лет своей жизни — в парижском издательстве ИМКА-Пресс. В 1983 г. нью-йоркское издательство „Религиозные книги для России” выпустило по-русски книгу о. Александра „За жизнь мира” — объяснение таинств Православной Церкви. Книга эта, написанная первоначально по-английски, была переведена на одиннадцать языков, включая японский и финский.

Наделенной на редкость живым умом и неиссякаемой энергией, о. Александр никогда не ограничивался только богословием и церковной работой. Его знали и любили в русских литературных кругах Парижа и Нью-Йорка, и у его могилы его друзья бу-

дут не только молитвенно и с благодарностью вспоминать его, но и читать стихи русских и французских поэтов, стихи, которые он так любил. Когда дошел до нас изданный на Западе, но составленный в Советском Союзе независимый альманах „Метрополь“, о. Александр с энтузиазмом отозвался на мое приглашение участвовать в обсуждении этого сборника. Запись нашей беседы „за круглым столом“ была напечатана в 118-м номере журнала „Грани“.

Какой радостью был для о. Александра могучий, очищающий гром книг А. И. Солженицына! Встреча о. Александра с А. И. Солженицыным состоялась еще в Цюрихе, вскоре после того, как писатель и его семья были высланы из СССР, и их дружба продолжалась до самой кончины о. Александра.

Хорошо знали о. Александра и радиослушатели в Советском Союзе — он более 30 лет выступал по радиостанции „Свобода“ — писал он не только для воскресных бесед, но и на литературные темы. О его религиозных передачах с благодарностью говорил о. Сергей Желудков, ныне покойный.

Болея о. Александр долго и тяжело. Но само умирание его было светлым, вдохновляющим подвигом для его близких, учеников, друзей. Уже тяжело больной, он писал по несколько часов в день — заканчивал свою книгу о евхаристии, редактировал, переделывал русский перевод своих написанных по-английски книг. „Это — дань моей благодарности России и русской культуре“, — говорил он. Когда он настолько ослабел, что лекций читать уже не мог, он заходил в аудитории и, хоть коротко, беседовал со студентами. „Ваши американские качества — оптимизм и активность — прекрасные вещи, — говорил он им, — но Церкви нет без подвига, без поста,

без молитвы. И дьявол не только существует, он — опасный и страшный враг”.

Скончался о. Александр 13 декабря 1983 г. Через два дня его отпевание в храме Св. Владимирской семинарии было совершено сонмом иерархов не только Православной Церкви в Америке, но и архиереями греческой, сирийской, сербской Православных Церквей и многочисленными священниками, из которых почти все были в прошлом его учениками. Погребен о. Александр на кладбище Св. Тихоновского монастыря в Пенсильвании, который был создан в начале этого века архиепископом Североамериканским и Алеутским Тихоном, ставшим впоследствии всероссийским Патриархом и исповедником веры.

Те, кто имели счастье знать о. Александра, те, кто видели его светлый лик, когда предстоял он Престолу Божьему, не забудут его никогда.

Прот. Кирилл Фотиев

Главный редактор Г. Н. Владимов
Ответственный секретарь М. Рубцова
Зав. редакцией Д. Мусина

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (0611) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- ☐ Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 56 н. м.
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке:
непосредственно в издательстве — 60 н. м.
через представителей — 72 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.
НАДЕЖДА“ — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.